

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ

РОМАН

# РУКА





**Обложка работы  
Вагрича БАХЧАНЯНА.**

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ

# РУКА

(ПОВЕСТВОВАНИЕ ПАЛАЧА)

Р о м а н

RUSSICA PUBLISHERS, INC.  
NEW YORK • 1980

The author would like to thank the Howard Foundation  
whose support helped him  
in the final stages of writing this book.

ALESHKOVSKY, Iuz.

**RUKA. Povestvovanie palacha.** (Roman).

© 1980

All rights reserved.

Library of Congress Catalog Card Number:  
80-51176.

ISBN # 0-89830-015-0.

Cover design by **Vargich Bakhchanyan.**

RUSSICA PUBLISHERS, INC.

799 Broadway.

New York, N. Y. 10003.

*Моей жене*



Они говорили: один человек не может рассказывать так долго, а другие так долго слушать. Это, утверждали они, маловероятно.

**Дж. Конрад.**



Итак, гражданин Гуров, главное теперь для вас не вертуться. Во-первых, это бесполезно: дачка ваша красавица — оцеплена, показания вы будете давать здесь, расколется тоже здесь и здесь же выложите вот на этот стол все нахапанное у советской власти и у советского народа-строителя коммунизма, в гробу бы я видел и коммунизм, и вас, гражданин Гуров. Не каждому, кстати, нашему «Круппу» или «Рокфеллеру» выпадает такая фартовая масть — предварительное следствие на дому. Но таков уж мой стиль. Я люблю брать вас в ваших домах и не выходить из них несколько суток, чтобы вы подольше да посильнее прочуяли, с чем вы расстаетесь на время или же навсегда. Чтобы, выйдя за порог, оглянулись вы, а я с удовлетворением отметил бы в душе, что глаза у вас гаснут и мертвеют от невыносимой тоски, сердчишко обрывается, коленки белеют, и одна только мысль, как пуля, просверлив в тот миг вашу башку, летит в пустоту. Просверлит, гражданин Гуров, и вылетит. Какая же это будет мысль, знать мне не дано. Однако догадываюсь, что или же вы проклянете день, когда родились, или искренне удивитесь, за что вам послана такая мука отрыва от родного крова, от близких и от телевизора «Рубин». Возможно, я ошибаюсь, и вы всего-навсего мизерно пожалеете, что взяли с собой не то бельишко, свитерок не тот, в общем, что-нибудь в этом роде. Говорю я сейчас не о вас именно; таких, как вы, прошло через мои руки огромное количество за сорок с лишним лет работы в органах. Я уж считать перестал вас, хотя первое время держал в памяти всех своих гавриков наподобие того, как плохие и хорошие ёбари ведут счет десяткам и сотням отхаренных девиц и дам. Вижу, что не терпится вам перейти ближе к делу. Перейдем. А может быть, и не перейдем вовсе. Посчитаем дело закрытым, и точка. Это в наших силах.

Что скажете, гражданин Гуров? Вижу: заблестели ваши глазки. Ну? Сколько предложите?.. Лимон? Новыми или старыми?.. Широко! Нормально! За свободу и жизнь вполне можно отдать лимон. Ну, а если каратиков эдак пятьдесят... шестьдесят впридачу?.. Тоже согласны. Молодец! Однако я пошутил и смею заверить вас, гражданин Гуров, что я палач неподкупный. Ибо в отличие от вас считаю свободу, жизнь

и массу всяких мелочей вроде покоя вещами бесценными. Ваш брат расплачивается со мной только свободой или же только жизнью.

Вы правы. Есть у нас и следователи, и судьи, и прокуроры, которых не то что за лимон с каратиками впридачу купить можно, но и за комбайн «Грюндиг». Я лично знаю таких и не презираю. Советская власть давно отучила меня удивляться коррупции на всех уровнях государственной и общественной жизни. Как говорят урки, на том месте, где была пресловутая ленинская простота, скромность и честность, хуй вырос.

А вот признайтесь, гражданин Гуров, не официально, а по-житейски, по-дружески, дорого бы вы сейчас дали за то, чтобы записывались мои речуги? Догадываюсь: дорого. Но опять же, как говорят шакалы-урки, это дело вам не проханже. Вот, вот. Клянусь, что вы уже ничего не слышите, вы представляете, как в начале судебного заседания или даже в начале следствия стучите на меня господам прокурорам. Антисоветчик... Скрытый враг... И так далее. Верно? Но и это вам не про-хан-же! С самого начала считаю своим долгом вас обезоружить, хотя было бы для меня известным удовольствием дать вам поверить в какую-либо мою слабинку, чтобы затаили вы в себе надежду на отыгрыш или же хотя бы на мелкую пакость. Бессчетное количество раз так я и поступал, гражданин Гуров, до полковника дослужился, на счету хорошо нахожусь в самых верхах, но надоело мне играть со своими врагами в кошки-мышки. Надоело. Дело ваше считаю закрытым, хотя кое-какие вопросы иногда у меня к вам будут... Будут! Так что располагайтесь удобнее, насчет пожрать, оправки и прогулок не беспокойтесь, наберитесь терпения, привыкните к тому, что ни в какие дискуссии с вами я вступать не намерен, даже если почвы для них будет навалом, и слушайте. Можете при этом ходить, лежать, пить кофе, чай — пожалуйста. Говорить наконец буду я, и услышите вы то, чего ни одно рыло ни до вас, ни после вас не услышит. Вы поняли меня, гражданин Гуров? Повторяю: показания буду давать я, и по ходу дела прояснится постепенно то, что сейчас смутно и хмуро берedit вам мозг и вашу душу. Впрочем, в наличии ее я сильно сомневаюсь. А по-вашему, есть она у вас? Вы уходите от ответа и финтите.

Договоримся заранее: вам не дано определять, что является сущностью Дела, а что нет. И вопрос мой имеет непосредственное к нему отношение. Ну, так что? Есть у вас, по-вашему, душа? Хорошо. Согласен. Оставим вопрос открытым. Не забудьте: дача оцеплена моими ребятами, детками моими, волкодавами. И каждый из них такой волкодав, что скажи, например, я: «Рябов! Фас!» — тыкнув пальцем в папу

Рябова, и зашевелится загревок у Рябова, и клацнет его пасть на горлянке родимого папеньки. Кстати, кем был ваш родитель?.. Мелкий служащий. Так, так. Давно он умер?.. Погиб при бомбежке... Мирная смерть... Очень мирная и достойная смерть. Романтическая, более того, смерть, в которую мне, палачу, вообще очень трудно поверить, чисто психологически. Ваша бородатая жопа — Маркс называл этот психологический моментик профессиональным идиотизмом. Не так ли? Договоримся еще об одном: не удивляйтесь, когда я буду называть вещи своими именами. Нет, я не претендую на объективность своих характеристик. Наоборот: в разговоре нашем, гражданин Гуров, каждая моя мысль, каждое отношение, каждая характеристика, каждое настроение будут до последнего предела субъективными, и не вздумайте, пожалуйста, ебать мозги лекциями о субъективном и объективном. Не глупите. Я всю эту безграмотную чушь наших философских гунявых шавок давно наизусть знаю. Более того: на моих глазах была она прямо из первоисточника... Поясню. Одно время работал я в охране Сталина. Не охранял, а работал. Я извиняю вашу несносность, ибо где уж вам знать, что «охранять» и «работать в охране» разные вещи. Позже расскажу об этом подробней. Напомните, пожалуйста. Сейчас мне хочется еще раз попросить вас не пытаться в одно мгновение постигнуть все происходящее. Слишком многого вы захотели. Хотя, если задуматься, в принципе сделать это все же иногда удается или очень низким, или очень высоким высоким душам. Вы ведь мгновенно постигли однажды все происходящее? Не правда ли?

Мы, гражданин Гуров, никогда не кончим *моего* дела, если вы будете изворотливо и тупо брякать мне насчет голословности, предвзятости, гипотетичности, умозрительности, априорности, намеков провокационных, взятия вас на удочки, пушки и так далее. Я знаю о вас все! Вы слы-ши-те? Все-е-е!! Падла гнусная! Сучара! Представь, что я знаю о тебе все, все, все, а ты действуешь на нервы, пытаешься доказать и мне, и самому себе, что ты это не ты! Я профессионально ненавижу ложь и не выводю меня, тварь, из себя! Может, тебе в институте Сербского захотелось экспертизы на предмет раздвоения личности? Не про-хан-же, блядюга!.. Извините, гражданин Гуров, за вспышку, но ведь действительно не корректно в такой необыкновенной ситуации, как наша, предполагать, будто я не знаю о вас все. Тем более, речь в общем идет и пойдет дальше исключительно обо мне, и я не скрою от вас при большом шмоне моей души ни мыслишки! Малюсенькой даже мыслишки не скрою. И вы тоже будете знать обо мне так же, как я о вас, все. Все!

Для разрядки, так сказать, напряга, пожалуйста, анекдотик. Вернее, не анекдотик, а быль. Но быль до того неве-

роятную, что она, паскудина, сама себя осознает вдруг легендарной и берет кликуху Анекдот, чтобы таким хитроумным способом продлить на какое-то время свою жизнь. Да и само время, гражданин Гуров, само наше анекдотическое времечко недаром окрестили не столько вожди, сколько их плюгавые шестерки из поэтов и композиторов, временем легендарным.

Короче говоря, приводят к Буденному перебежчика. Белого. Так, мол, и так, Семен Михайлович, постиг я в мгновение ока происходящее, дошла до меня безысходность белого движения. Чуть начинаю за три версты красоту ваших кавалерийских идей, возьмите к себе воевать. Хорошо. Переодели, переобули, дали красавца-гнедого. Повоевал немного белый, но вдруг показалось ему, что снова постиг он в мгновение ока происходящее и слинял к Деникину. Мужественно явился и говорит Самому: так, мол, и так, ошибся я. Буденный — полное говно, вокруг него мерзкий плебс, большей вони и совершенней лжи, чем советская власть, вообразить себе невозможно, и лучше уж, ваше превосходительство, смерть в наших безысходных рядах, чем торжество в смрадном каре обманутых маньяками плембеев. Простите великодушно. Время у нас смутное, возможен, согласитесь, поиск душой верного пути. Деникин не стал дискутировать на эту тему. Он отдал дважды перебежчика обратно Буденному. Белый стал втолковывать этой тупой усатой мандавше, что он не подлец, а человек ищущий, и наконец, в последней попытке спасти шкуру, брякнул что-то насчет раздвоения личности. Буденный вынимает саблю, пробует отточку клинка на коготище и врезает красно-белому по темечку. До самой жопы его расколочил, а дальше тот сам рассыпался. «Мы — большевики, — говорит Буденный, — проблему раздвоения личности решаем по-своему: сабелькой!»

Ну, вот, мы и успокоились малость, расслабились. Вы, очевидно, недоумеваете, почему я частенько пользуюсь феней — жаргоном блатным — и матюкаюсь. С блатными я одно время работал. Осуществлял секретнейшую акцию, идея которой принадлежала якобы самому Ленину. Я снова отвлекаюсь, но вам придется потерпеть. Вы первый человек, повторяю, на белом свете, который услышит многое из того, что я узнал за свою жестокую и проклятую жизнь. Грех было бы подохнуть и не выговориться. А поскольку я не писатель, и в голове моей каша, пардон, информации, то и выкладывать я ее буду безалаберно. С планом ни хуя не получится. План меня только раздергает, подчинит, а я этого ужасно не люблю.

Теки, теки, река воспоминаний, мы посидим на берегах твоих... Песня есть такая у урок. Терпите, гражданин Гуров.

Матюкаюсь же я потому, что мат, русский мат, спасителен для меня лично в той зловонной камере, в которую попал наш могучий, свободный, великий и прочая и прочая язык. Загоняют его, беднягу, под нары кто попало: и пропагандисты из Цека, и вонючие газетчики, и поганые литераторы, и графоманы, и цензоры, и технократы гордые. Загоняют его в передовые статьи, в постановления, в протоколы допросов, в мертвые доклады на собраниях, съездах, митингах и конференциях, где он постепенно превращается в доходягу, потерявшего достоинство и здоровье, вышибают из него Дух! Но чувствую: не вышибут. Не вышибут!

Бывало, сижу я на партсобраниях, а партсобрание в НКВД или в КГБ это такой шабаш, гражданин Гуров, что с ума сойти можно от тоски и зловонья. Сижу я, значит, слушаю очередную мертвую чушь, а сам думаю, аплодируя Ягодам, Бериям, Ежовым и прочей шобле: «Сосали бы вы тухлый хуй у дохлого Троцкого, ебали бы вы свое говно вприсядку и шли бы вы со своей здравицей в честь вождя и учителя обратно в мамину пизду по самые уши... Ура-а-а!» Вот поэтому я матюкаюсь, и чувство языка таким наилучшим образом сам для себя спасаю. Но я для русского языка — полный мертвец. Жизни он от других, от свободных людей набирается, и нам их не переловить, хоть пройди мы с железным бреднем от Черного моря до Тихого океана...

На чем мы остановились? Да... Вызывает меня один гусь на Старую площадь и говорит: «Товарищ Ленин, как известно, был гениальным диалектиком. И в панской Польше, в эмиграции, сказал жене Надежде: «Верь, — сказал, — Наденька — если мы придем к власти, то преступный мир всенепременно сам себя уничтожит! Всенепременно!!!» «Ясна задача?» — спрашивает меня тот гусь. «Ясна», отвечаю. «Выполняйте!». Вот тут и пришлось мне работенку провести большую и ответственную, пришлось поволочь несколько месяцев и в камерах, и в бараках, и на пересылках. Немало повидал я царей блатного мира, таких «родичей», «паханов», что искренне я думал: мое начальство, пожалуй, повшивей и поничтожней урки, чем эти. Но в том, что природа у урок, у моего начальства, да и у меня самого одинакова, я уже никогда не сомневался. В общем, повидал я их, злодеев, познакомился, потом стал дергать к себе на Лубянку. План мой был не нов, прост и надежен: расколоть монолитное единство блатных, довести их режимом и голодухой до того, что насрать будет некоторым на свой «моральный кодекс» и законы чести.

Вы спрашиваете: на чем основывалось социальное урочье существование в лагерях и тюрьмах? На паразитизме и силе. Закон жизни: не работать. Играть. В карты, гражданин Гуров,

играть и толковать, то есть партсобрания устраивать. Не работать, да еще и играть, такой образ жизни, согласитесь, поддержан должен быть деньгой или же товаром: шмуткой, махоркой, бациллой, водярой, одеколоном и так далее. Вот и взяли урки в лагерях власть в свои руки. Взяли и сели на шею мужиков и прочих фрайеров. Экспроприируют часть передач, заработков, захваченное из дому барахлишко и так далее. Живут припеваючи, ибо лагерному начальству удобно, что большую часть эков держит в узде меньшая. Есть порядок, дисциплина и выработка плана. Ну, а урки играют себе и толкуют.

Давайте проведем аналогию между ними, урками, и нашими придурками: секретарями парткомов, райкомов, обкомов и цеха. Урки играют в карты, а придурки во всякие «зарницы», в соцсоревнования, в трудовые вахты в честь какой-нибудь очередной херни, всего не перечислишь. За шестьдесят лет этих игр наплодилось несметное множество. Работает же мужик. И получает за свой труд, если прикинуть по-марксистски же, от хуя уши. Заработок его «половинят». Тут и нужды обороны, ибо если ее не укреплять, то нагрянет враг, освободит мужика, а придуркам придется переквалифицироваться из надсмотрщиков в трактористов, слесарей, инженеров и хлеборобов. Тут и поддержание привилегий для придурков. Вам это известно не хуже, чем мне. Более того: известно это и мужику, и ропщет он временами, и болтает анекдоты, и открыто не раз выступал, но мы ему поясняем: раз отдал ты власть в наши руки, то сиди и не пукай. Обратное мы ее тебе, миленький, не отдадим.

Вы не возражайте, гражданин Гуров. Страна наша — трудовой лагерь. И охрана этого лагеря крепка и мощна. Выбора у нас пока вроде бы нет. Или нам крепчать, или всем нам, придуркам, кранты. Отвечу на ваш вопрос: «Толковать» означает у урок разбирать чье-нибудь персональное дело, приговаривать, награждать, вспоминать. Всё, заметьте, происходит как у партийных товарищей. По железному закону порождения подобия.

В общем, режутся урки в стосс, в буру, в рамс, в очко, потом толкуют, мужиков обирают, малолеток в шоколадный цех пристраивают, так у урок педерастия называется, а срок у них идет, и они в ус себе не дуют. Полный коммунизм у блядей.

Тут я в соответствии со своим планом даю указание прижать урок, врежимить им в лобешник кое-что неприятное, затянуть петлей желудки и так далее. Часть урок, разумеется, не выдержала, скурвилась, ссучилась, пошли урки в нарядчики, в хлеборезы, в банщики, в коменданты, в придурки в общем, и началась предсказанная Ильичем великая резня.

Оставшиеся в законе режут у меня сук и падл, а падлы и суки, естественно, рубят, колют и давят блатных. И рубка эта идет во всех лагерях Советского Союза без исключения. Верх берут то одни сволочи, то другие. Бывали у каждой из сторон случаи беспримерного героизма, мученичества за веру и слепой фанатической исполнительности. В это время как раз отдыхал СССР от смертной казни и поэтому суке или блатному, убившему двадцать, скажем, рыл, больше четвертака дать не могли. Закон есть закон. Вверху только руками разводят: вот все-таки башка была у Ильича, вот гений! Редуют ряды блатного мира, вырезаны почти все его аристократы, осталась одна вшивота, действительно потерявшая человеческий облик, и вот она-то и выполняла у нас функции органов внутренней безопасности: держала в страхе политических и бытовиков. А их тогда сидело на нарах больше двадцати миллионов рыл. А знаете, что такое, гражданин Гуров, двадцать миллионов рыл? По гениальному определению величайшего демографа всех времен и народов — это население Дании, Швеции, Голландии, Норвегии и Швейцарии вместе взятых по одному делу... Я получил за ту акцию орден Ленина и поэтому частенько пользуюсь «феней».

Вы правы, возможно в глубине души я чувствую себя уркой. Замечание это делает вам честь. Кстати, зовут меня мои коллеги и гуси из самых верхов Рукой. Взгляните на мою руку... Руки крупней, могу поспорить, вы не видывали. Я ведь своих подследственных гавриков, гражданин Гуров, не колошматил пресс-папье, я подходил к ним вот так... брал в свою лапу ебало, пардон, лицо... вот так... и тыльная сторона моей железной ладони упиралась в подбородок, а нос был зажат между пальцев... вот так, гражданин Гуров... губы тоже намертво припечатаны... глаза вдавлены до мрака с искрой... тихо... тихо... должно быть тихо... и концы моих пальцев по-медвежьи загибают вашу кожу с затылка, чтобы морщины на лбу собрались в гармошку и посинели... вот так... и вот вы задохнулись не столько от боли, сколько от гипнотического ужаса... а теперь взгляните на себя в зеркало... Взгляните, не бойтесь. Я кому сказал взглянуть в зеркало, падла?.. Не узнаете себя? Правильно. В этом весь фокус. Я реставрировал вас. Я подогнал черты вашего лица под вашу же внутреннюю сущность, и ни один косметолог вам уже не поможет. Я снял с вас маску. Скажите спасибо. Я ведь сделал чужое дело. Обычно этим занимается смерть, но ей редко удается подогнать заподлицо душу к рылу до его разложения. Не успеваet смерть. Маски, они крепки, гражданин Гуров... Крепки маски... Но и лапа вот эта крепка! Недаром «Рука» — моя чекистская кликуха... Садитесь. Сейчас мы с вами чифирнем, слегка закусим и двинемся дальше...

Я вижу, вы паршиво спали, гражданин Гуров. Это — моя вина. Нынче получите снотворное. Но между прочим, я удивлен: обычно мои гаврики кемарят как дети, и сны им после ужасных допросов, чехарды стрессов, а вгонять в них я, поверьте, умею, сны им снятся самые мирные, счастливые и сладкие, с папами, мамами, детками, любовницами, с курортами, с приглашениями в Кремль, где Калинин — старый, безмозглый и безвольный козел, или вонючая свинья — Шверник вручают им ордена, золотые звезды и почетные маузеры. Вопросы ко мне имеются?..

Мучить я вас, в общем, не собираюсь. Цели, во всяком случае, у меня такой нет... Официально допрашивать я вас тоже не собираюсь. И подписывать вы тоже ничего не будете. Что все это значит? Это значит, что из 250000000 рыл я выбрал одного вас для задушевной беседы. Почему именно вас, повторяю, поймете по ходу дела. Не за красивые же глазки и не потому, что из известного мне крупного промышленного ворья вы самый изворотливый, самый замаскированный, самый мудрый и матерый ворюга. Настоящий урка! Нет, не поэтому. Это всё детали сюжета. Крючок же в другом фазтоне. В другом. Скоро кучер Вася откроет ворота и закачаемся мы с вами, гражданин Гуров, на мягких, как пух, рессорах, и поплывет мимо нас, когда откинет ветер занавески окон, наше прошлое в коротких штанишках, забрызганных кровью, дробленой костью и серым веществом.

Ах, вам дурно? Можете не завтракать. Это ваше личное дело. Поголодайте денек-другой. Вам — только на пользу. Жирок скинете, нагуляете аппетит. Я же с вашего разрешения врежу еще икорочки и пропущу рюмочку. Никогда не думал, что так трудно будет разговориться, хотя ждал сей минуты давно. Очень давно. Всю жизнь, можно сказать. Предвосхищать ее в воображении порой трухал, то есть боялся, ибо игру я вел смертельно опасную и понимал, что в любой момент можно с треском погореть. Да! Да! Не промахнуться, не допустить ошибку, такого со мной быть не может, и вы убедитесь в этом вскоре, гражданин Гуров, а просто погореть. Даже самые главные наши старые урки и то не уверены, что их вдруг не заметет какой-нибудь шустряк помоложе. Ленина схавали, Троцкому темечко раздробили, Сталина довели до кондрашки, Берию замочили, Никите заячьи уши замастырили, а меня, мелкую, в общем, мандавошку, можно в один миг вывести политанией.

Помните события в Португалии? Врезал дуба Салазар, преемника его, Каэтану, болван Спинола скинул, и вот слушаю я дома «Немецкую волну» и серею от болотного страха. Арестована вся тайная полиция. Я, хотите верьте, хотите не верьте, впал в детство и представил, как вдруг ни с того, ни с

сего, просто в силу существования политических случайностей, происходит ужасный катаклизм. Рабочие заводов «Красный пролетарий», «Серп и молот», «ЗИЛ» совместно со злорадствующей либеральной интеллигенцией и с помощью кремлевского караула, ошалевшего от тлетворной службы в мавзолее, очистили барак на Старой площади от старых уроков, затем, тут рукой подать, оцепляют родную мою Лубянку, откуда я месяцами не выходил, бывало, работал, жрал, спал и срал, и попадаю я сам в трюм...

Еле добрался тогда на карачках до телефона. Сердечный приступ. Очухался, слава Богу. Очухался, но ужас от того, что время идет, а минуточка заветная все еще за горами, так и не сгинул из сердца. Конечно, кому-кому, а мне думать и, главное, представлять в жутких образах происшедший катаклизм по меньшей мере глупо. Структурочку нашу я знаю. Крепка наша структурочка. Однако держится-то она на страхе! Вот вы инстинктивно, гражданин Гуров, кивнули, и ясно мне, что вы тоже это прекрасно понимаете.

Есть у меня кирюха, связаны мы были крепко кое-чем в прошлом, первым секретарем обкома всю свою жизнь он проработал. Приезжает в Москву, встретились, пообедали, идем по Красной площади, он и говорит: «Всё, Рука! Отбздел я свое. Пензия! Теперь мне ничего не страшно. Дети построены. Все за границей. Внуки тоже пойдут по дипломатической линии. Ни война мне не страшна, ни переворотик. В том и другом случае за границей будет лучше. Мы еще пожалеем, что не зарываемся в землю, как косорылые китаёзы. Пожалеем! А что делается внутри? Ужас, Рука, ужас! Лично моя область спилась в сардельку! Двое врачей-психиатров наводят взялись статистику. Сколько у меня алкашей, пьяниц, пристращающихся, уже подошедших от алкоголизма, получивших инвалидность, сколько калек породила вся эта шваль и так далее. Взял я с врачей подписку о неразглашении данных. Приносят однажды статистику свою. Еб твою мать, Рука! Глаза у меня на лоб полезли от ихних цифр. Но дело-то не в том, что пьют. Тыщу лет Россия пьет. Дело в том, что пьют сивушное говно, от которого наступает перерождение клеток мозга, дурют, сволочи, на работе и дома! Шмурдяк какой-то жрут, бормотуху, Солнцедар, чернила, и главное, с ЦРУ это никак не увяжешь, или с жидами. Вот в чем трудность антиалкогольной пропаганды. Велеть бы промышленности выпускать очищенное зелье, чтоб хоть не дурели рабы моей области, но тут снова заколдованный круг! Надо расширять мощности, а Косыгин денег не дает. Справляйтесь сами. Улучшить качество зелья за счет уменьшения количества? Нельзя! Резко возрастет инфляция, а я по борьбе с ней на первом месте в Союзе. Алкоголизм съедает избыток моих

бумажных денег. Что делать? От сивушной дури растет преступность. Хулиганье людям проходу не дает. Огнестрельное оружие делать стали в «ящиках» всякие умельцы. А ты думаешь, не добралась до нас сексуальная революция? Добралась и шагнула еще дальше. В общем, глаза у меня на лоб полезли от той статистики. Но и это — полбеды. Жрать нечего! Вот в чем вопрос! Мяса нет, рыба соленая и тухлая, от консервов рыбных гастрит пошел, тысячи работяг на больничных, а в ЦК насчет жратвы лучше не звонить. Ответ один: во время войны было хуже, и то победили. Дают понять, чтобы вообще не совался с этим делом. И снова невезуха: выездной рейд этой ебаной шмакадавки «Литературки». Социологи решили выяснить, как у меня обстоит дело с разводами, анкетирование развели, дотошные паразиты. И вот тебе — уже готовы результаты: 75 процентов разводов из-за полной и частичной импотенции мужчин. Опросили мужиков. И снова — у 75 процентов не стоит из-за алкоголизма и регулярного недоедания мяса, рыбы и прочего гематогена. Начальник УКГБ приносит сводочку: болтовня, пессимизм, ропот, доходящий до прямых выпадов, попытки некоторых интеллигентов проанализировать внутреннее положение страны при полном отсутствии информации о нем в прессе и так далее. Просто предбунтовая обстановочка. Объявись какой-нибудь Стенька Пугачев, и как минимум не миновать забастовки. Принимаю меры. Прошу командующего округом начать маневры. Провожу процесс диссидента Булькова по обвинению в содержании притона. Печатаю фельетоны насчет жидов из галантереи и облснаба, запрещаю грузинам и армяшкам торговать на рынке овощами, фруктами и цветами, устраиваю показательные выступления наших прославленных фигуристов, зову на помощь Зыкину, Никулина, Ореро, Песняров, Райкиным и Кобзоном глотку своим либералам-жидам затыкаю и разряжаю слегка обстановку. Уф! Неужели, думаю, до пенсии не дотяну, неужели они там, наверху, не могут прикрыть эту полушпионскую лавочку — социологию? Неужели не понимают, что разрядка, детант проклятый, хоть он и на руку нам внешнеполитически, нож медленный в спину — мне же, у меня дома? И тут снова невезуха. Всего, Рука, не предусмотреть. Это у нас, большевиков-сталинцев, слабость № 1. Домработница моя, Тася Пекшева, проститутка, исполнительница бывшая, лейтенант, опытный человек, убийца, пошла домой из обкомовского ларька пешком. Пешком, блядища, пошла. Что-то стряслось с автомобилем. Шофера я вышиб после той истории из партии. Пошла, значит, гадина, пешком с сумкой полной и авоськой. Слабость у нее, видишь ли, была к авоськам. Идет и не замечает, как два стерляжьих хвоста из этой проклятой авоськи выглядывают. Подходят трое пьяных, как назло не жида и с самиздатом не связаны.

Филолог, историк и физик. Дружки. Подходят к Таське и спрашивают, что это за рыба у нее и откуда. Где ее выбросили интересуются. Таська не растерялась, сбрыхнула что-то и мотнула от них. Снова догнали, физик схватил ее за грудки и завопил: «Коля! Клянусь Курчатовым, это — стерлядь!». Таська обоссалась сразу от страха, распатронули дружки на виду у всех мою сумку и авоську и всё: катастрофа. Вывалили либералы проклятые на асфальт стерлядь, банки с икрой, колбасу, ананасы, вырезку, спецсосиски, масло экспортное, карбонад, мороженую клубнику и жевательную резинку для жены. Полгорода сбежалось поглазеть на партийную снесь. Не тебе мне рассказывать, что там при этом говорилось, какие восклицания слышались, намеки и аналогии, не тебе, Рука. Наперли на Таську, она и раскололась, откуда волокет продукты. Но и это полбеды. Будто бы никто ничего о нас не знает. Знают. Рыкают даже сквозь зубы. Таська, когда отбили ее гебисты от толпы, психанула и заорала: «Я вас, суки, вот этими руками стреляла и еще стрелять буду! Всех на мушку возьму! Слава Сталину!» Город забурлил. И тут я объявляю ему шах. Кидаю в магазины продукты из армейских запасов, гоню стратегических свиней на мясокомбинат, занимаю у соседа сгущенку, пивом велю на улицах торговать и по местному телевидению приказываю пустить «Семнадцать мгновений». Уф! Отлегло. И с ходу ставлю мат. Объявляю по радио о выявлении чумного больного. Чума! Сценарий сочинил лично я. После «мгновений» этих сраных дикторша, я ее лично драл, сообщала о ходе противочумных операций. Пришлось гебистам похимичить с инсценировочками. Но им все равно делать было нехера. Выиграл я этот бой у народа. Выиграл. Вышиб из партии пару председателей колхозов, отдал кое-кого под суд за срыв снабжения населения продуктами первой необходимости, прилавки опять опустели, но тут сняли Подгорного, опубликовали проект новой конституции, и жизнь вошла в свою колею. Под конец немного повезло. Приходит один из психиатров, занимавшихся алкогольной статистикой, и доносит мне, что его коллега собирает все собранные чудовищные данные о моих спивающихся пролетариях переслать Сахарову, которого очень вы, Рука, проморгали. Что делать? Иду по банку. Предлагаю сучьей роже-стукачу кафедру в институте, а он хочет облздравотдел. Там миллион за пару лет сколотить можно, потом купить дом в Крыму и послать нашу бесплатную медицину ко всем чертям. Соглашаюсь. Обещаю. Но не перестану я удивляться, как это за шестьдесят лет нашей власти наплодилось в моей лично области так много настоящих злодеев. Ну, мы-то с тобой — ладно. Таких, как мы, всего пятеро: я, ты, Кудин, в черном ботинке Блондин и еще в пизде один. А этому стукачу тридцать пять лет.

Работа есть, жена, дети, музыку любит, стихи пишет, книжка в «Молодой гвардии» вот-вот выйдет, а он, скотина, стучит так гнусно и грязно на своего коллегу и друга. Сам понимаешь, облздравотдел — плата слишком большая за донос даже при нашей инфляции. Хмырь болотный обязался убрать того либералишку. Я поставил жесткий срок: два дня. Сработал, надо сказать, мерзавец чисто: отравы, укол и медзаключение: инфаркт. Статистику я сжег, а хмырине говорю: «С завтрашнего дня будешь лектором обкома по борьбе с алкоголизмом. Ты — убийца. Я убийцу при всем своем желании не могу назначить завоблздравом. Ты у меня всю область перетравишь, а работать и так некому. И не пи-тю-кай, падла! Скажи спасибо, что сейчас не тридцать седьмой! Ты бы уже рядом со своим дружкой на Горьком кладбище осенний дождь пустыми глазами пил и червяками закусывал! Понял, говорю, змей? Верить, Рука, он даже не побледнел, и нагло, блядь такая, выпросил у меня из фонда обкома однотомники Булгакова, Мандельштама и, кажется, Ахматовой. Ушел с книжечками под мышкой. Зачем они там в Москве дают народу читать про Пилата, Христа, Белую Гвардию и так далее? Лучше уж что-нибудь про еблю пусть печатают. Отвлекать народ надо, а не привлекать... Ах, Иуды, Иуды! Большой путь вы проделали от тридцати сребреников до моего облздравотдела. Его, однако, вам не видать, как своих ушей. Ну, что ты скажешь, Рука?..

А что мне было ответить, гражданин Гуров, своему кирюхе? Велика, говорю, Россия, а неподслуханным можно быть только в лесу или на Красной площади... Разошлись, прикинув, что на наш век советской власти хватит, а там гуляйте, урки, по буфету как знаете и бейте хрустальные фужеры об черепа врагов!

Однако минуточку заветную я начал торопить, чтобы шестидесятилетие свое справить достойно и ни о чем уже не мечтать больше. Мы ведь погодки с вами, гражданин Гуров? Погодки...

### 3

Здорово же вы, гражданин Гуров, захавались за полвека, что хер за мясо не считаете, как говорят шакалы-урки, и вот даже за борщом ни крошки хлеба в рот не взяли. Понимаю: лишний вес, атеросклероз, запоры, запоры, запоры... А ведь зимою 1929 года шли вы по нашей завалившейся в теплые сугробы деревне, по нашей Одинке, шли по нашему белому покою в бурочках, в полушубочке, перепоясанный ремешками, в буденовке, пошитой специально по вашей головке, в крагах собачьих, и держали вы над собой красный транспарант:

«Кулаку — позор! Хлеб — Родине!»... И было вам двенадцать лет, гражданин Гуров. Не перебивайте, некорректно перебивать человека, дающего показания и желающего расколоться до самой предстательной железы... И было вам двенадцать лет, и шел за вами ваш пионерский отряд «Красные дьяволята». Пели вы, кажется, «Варшавянку», а возможно, сам «Интернационал». К песням этим у меня стойкая и непрекращающаяся аллергия. Поэтому точно не помню, какую именно песню вы пели. Не буду тужиться и вспоминать. К чёртовой матери эти песни! Бывало, я перед всякими пленумами, собраниями и съездами принимал наркотики, жрал валерьянку, чтобы поспокойнее переносить пение партийного гимна, самой, пожалуй, дьявольски хитрой песенки на белом свете... И шел за вами отряд, а мы, пацанва, отогревали губами да носами полыньюшки в окошках и кричали батькам и мамкам: «Красные дьяволята идут!»

Ну, что, гражданин Гуров, будете продолжать вертухаться? В несознанку глухую решили уйти? Это были не вы и — точка? Вы в тот момент учились в сто тридцать первой школе города Брянска. Шел урок истории, вы получили «отлично» за рассказ о садистских штучках помещицы Салтычихи и что-то оттараторили насчет пролетарского гуманизма, гуманизма нового типа? Не так ли?.. Наглая ман-да-вош-ка! Ты отрекаешься от своего пионерского детства, блядь худая? Убью-у-у, сучара!.. Пардон... Пардон...

А за вами, значит, за сынками революции, шли ваши папеньки: «Особый, отдельный чекистский отряд». Иными словами, отряд бешеный, отряд карательный. Наша деревня, недаром, наверно, она и названа была Одинойкой, не пошла в колхоз. Отказалась. И отнесли ходоки письмо Сталину. В письме изложены были нехитрые мужицкие резоны, вопль в нем был предсмертный земледельца о спасении и общая угроза скорей издохнуть, чем вступить в колхоз, поскольку это еще бессмысленней, чем смерть. Верховодил мой батя, царство ему небесное. Он и мысли излагал, и записывал, и обсуждение вел, и ходоков возглавлял. В приемной ЦК письма у них взяли, потом дали поджопника, велели канать обратно и ждать ответа.

Меж тем весь наш уезд уже заколхозили. Отец прогноз верный дал. Мужики матерые, кормильцы России, по этапу пошли, те, кого не шпокнули, конечно, а в деревнях вшивота осталась, самогонная тварь, юродивые, калеки да старики. Одинок же наша заявила руководству и посыльным евонным, что пока не придет ответ от Сталина, пусть лучше никто сюда не суется. Оборону держать будем, хоть Первую Конную присылайте с самим Буденным, нам на это насрать, подохнем с последним патрэнном все, как один. Вот как дела обстояли, гражданин Гуров, ежели вы их слегка подза-

были или постарались забыть... Только спокойней! Спокойней! Чекистским отрядом командовал сам комбриг Понятьев. Вы тоже Понятьев...

Ах, я шью вам дело, причем белыми нитками? Взгляните, пожалуйста, на выписку из ЗАГСа. Отвечаю погонями, это — не туфта... Вы взяли в 1939 году фамилию жены... Ну, наконец-то! Наконец-то отвисла ваша челюсть и покраснели вы, как в детстве, и заработали ваши невозмутимые ранее надпочечники, и вдарил адреналинчик в изоощренный, в тщательно замаскированный ваш головной мозг! Птичка вы моя какаду, которая поет и серет на ходу, посидите, пошевелите полушариями, я ведь чую, какая сейчас в них запеклась каша, но не вздумайте брякнуться в инсульт. Такого подвоха я не переживу, ибо говорить мне, с удовольствием, повторяю еще раз, не с кем больше, кроме вас во всей Вселенной, включая Дьявола и самого господа Бога! Ясно, гражданин Понятьев, он же Гуров? Я пошел в сортир.

#### 4

Ах, вы захотели хлобыстнуть рюмочку хорошего коньячку? Птичка вы моя нахохленная, лимончика клюнете? Бар у вас, надо сказать, отменный. Я такой в первый раз встречаю! Бар, магнитофон, телевизор, радиола-автомат, кнопочный телефон: суперкомбайн! Просто целое дело сейчас же можно завести. Дело о баре гражданина Гурова. Убежден, что он куплен в каком-нибудь посольстве. Я уж не буду называть вас, так и быть, Понятьевым. Хрен с вами... Предлагаю выпить за наше общее объективно несчастное детство и скажем за него мысленно спасибо товарищу Сталину... Хороший коньяк... Согласитесь, что после того, как расколешься, исчезает постепенно удручающее чувство раздвоения личности. Парадоксальное явление.

А вы, вот, меня, интересно, помните?.. Верю, что нет. Я сам себя не узнаю ежесекундно вот уже тыщу лет. И знаю, почему: меня нету! Нету и — всё, без всякой, уверяю вас, мистики. Имеется же в очевидном наличии трупешник, Господин Крематорий, Товарищ Полковник Морг, Рука! Он физиологически функционирует и работает палачом. Член КПСС с 1936 года. Чудовищно! Я говорю это бесстрастно, но чудовищно помнить себя и не узнавать! Ебитская, ебитская сила, гражданин Гуров!.. А ведь я был не таким... Не таким холодным, как сухой лед, трупом я был!

Я горячим своим носом уткнулся тогда в оконную льдышку и выскребывал пошире вот этим ноготком глазок-полыньюшку и зенькал на вас, идущего впереди своих красных дьяволят и вместо двух рожекросло на ваших буденовках

по одному рогу. Помните, как начали вы толковать с мужиками и разводить агитацию по зубрежке? Батьки наши стояли перед церковью, — покачивали головами и пытались прикинуть, как это вдруг, ни с того, ни с сего развелась на Руси такая сопливая нечисть? Может, конец света настал?.. Я прекрасно помню, но тошно мне сейчас вспоминать все ваши дьяволятские аргументы в пользу колхозного ада, частушки гнойного жополиза Демьяна Бедного, идиотские сценки и так далее... «Будя! — сказал тогда мой батька. — Мы ответа от Сталина ждем. Неча нам мозги засирать Демьяном Бедным. Милости просим на щи с кашей и чтоб к вечерку не было тута ноги вашей! Демьяну же передайте, что говно он сраное, пересраное и даже в навоз не пройдет...». Вышибли тогда вас наши батьки, как вышибали не раз всяких энтузиастов городских, которые ни хрена в сути крестьянского труда не понимали...

И вот наконец, через день уж после того, как вас вышибли, прибыл в Одиноку нашу санний поезд комбрига Понятьева. Ни ружей мужики не увидели у чекистов, ни пулеметов. «Здорово, Шибанов! — весело сказал ваш папа, гражданин Гуров, моему бате. — Письмо привез от Сталина. Вот оно!»

Вынул он из-под бурки конвертище с пятью сургучами. Обрадовались мужики. Зазвал батя своих дружков, Понятьева и остальных живоглотов, их рыл двадцать всего было, в наш дом. Баб и ребятишек прогнали. Один я притыриться успел на полатах. И начал батя вслух читать ответ Сталина.

«Уважаемые товарищи!

Получил ваше письмо. Согласиться с «крестьянскими резонами», к сожалению, не могу, так как претворение в жизнь идеи коллективизации считаю исторически необходимой задачей. Свою так называемую Одиноку вы сделали маленьким островком единоличников в море коллективных хозяйств. Не думаю, что вы окажетесь способными конкурировать с хорошо оснащенными современной техникой колхозами и с людьми нового типа, решительно порвавшими с вековыми мелкобуржуазными привычками. Вступление в колхоз дело добровольное, и мы, большевики, придаем соблюдению этого высокоморального принципа огромное значение. Время покажет, кто из нас прав.

И. Сталин»

Прочитал мой батя эту ксивоту, задумался и говорит комбригу Понятьеву, что теперь другое дело и правильное дело. Не первый день на свете сеем, не последний, даст Бог, жнем, поживем — увидим, кто прав, а кто выбрал путь кривой и неверный.

Ваш папаша пожелал мужикам нашим присмотреться к происходящим на селе изменениям, прислушаться к мирному и спокойному голосу объективной истины, а оружие сдать, ибо не потерпит советская власть, несмотря на свое бесконечное историческое терпение, земледельца-единоличника с оружием в руках. Оружие должно быть сдано. У нас всё на добровольных началах.

Снова призадумались наши мужики, а мне с полатаей видны были злодейские рыла бандитов, взявших, по словам бати, мужицкую власть в свои руки. Неслышно похаживали они по хате, и в ужасе я соображал, что не поскрипывают под ихними ногами половицы, словно прилетела к нам бесовская сила, невесомая, бесплотная, но одетая и обутая. Бледны были рыла чекистов, ни взглядами, ни движениями какими не выдавали они задуманного злодейства, но от этого еще страшней стало мне, и хотел я уж было заорать всем существом своим, всем своим пацанским оборвавшимся сердчишком почуяв беду смертельную, последнюю, непоправимую, как батя мой встал и сказал мужикам: «Поступим, мужики, по совести. Не дело пахать с обрезом за спиною. Закон есть закон. Нельзя хранить оружие. Ежели ж воевать, то не сладим мы с советской властью. Сами понимаете. Не сладим, да еще баб своих, стариков да ребятишек угробим. Так уж поверим, как христиане, Сталину. Если евонная правда — в колхоз пойдем, если наша — придется ему разогнать свою колхозню».

«Умно, Шибанов, рассудил. Молодец. Силой, действительно, ничего вы, мужики, не добьетесь».

Это папаша ваш, Понятыев, сказал, гражданин Гуров, и незаметно облизнулся при этом и водицы испил, ибо в жар его уже бросало от предчувствия кровавой пирушки... А вы в тот момент, гражданин Гуров, возвращались со своими красными дьяволятами в Одинку, чтобы принять участие в экзекуции. Наябедничали, налегавили в обкоме про непокорных, про мудрых наших батек и возвращались в Одинку. Вместо стихов говноеда Демьяна везли вы на этот раз с собой шомпола и плети... Ну, что ж! Хорошо. Согласен. Давайте врежем еще по рюмочке, расширим сосудики. Может быть, валидольчика? Нитроглицеринчика? Сустака? Вы весь в папашу: то в жар, то в холод вас бросает.

## 5

Пожалуй, было бы не умно не поверить, гражданин Гуров, вашим уверениям в том, что тогда вы искренне считали кулаков смертельными врагами советской власти. Корусти у вас, пацанов, быть не могло. Напичкали вас,

естественно, вонючей ложью. Деревни вы к тому же и не нюхали в свои двенадцать лет. Деревня, внушили вам, держит в петле голода пролетария и интеллигента, красноармейца и ученого, пионера и комсомольца, точит поганая, зажавшаяся деревня финку, чтобы всадить ее в спину партии, и когда схлынет из нее вся кровушка, реставрировать власть помещиков и капиталистов... Всё это мне понятно. И не мне вам рассказывать, гражданин Гуров, что такое сила и ужас тотальной пропаганды. Долго не мог я никак понять, не влазило это просто в мою голову и душа не разумела, каким образом вышло так, что в вас, двенадцати-тринадцатилетних пацанах и пацанках не было ни жалости, ни сострадания, ни дурноты при виде крови, почему полностью отсутствует в вас реакция на чужую боль, и наоборот, горят глазенки, пылают щеки, злоба пьянит, как сивуха, губы, невинные еще губы, искривлены в сладострастной улыбке, ноздри дрожат и оскалены по-волчьи зубы, когда вы пороли нас, изгилялись над растоптанными, уже не чующими ударов, переставшими звереть от плевков, ибо невыносимый ужас от того, что наделали ваши папеньки, был бесконечной боли и обиды... Потом уже, через несколько лет, попривледевшись к вашему брату на допросах, в тюрьмах, при шмонах, арестах и казнях, наконец, просек я, что отрезали вас в семнадцатом году от пуповины вековечной культуры и морали. И воспитали человека нового типа — звереныша, полусла-полушакала. «Если враг не сдается, его уничтожают», «Наш паровоз, лети вперед! В коммуне остановка», «Кто был ничем, тот станет всем!» и так далее. Вот что вы хавали, а вожди заразили вас сифилисным страхом наказаний и полного уничтожения капиталистами, помещиками и кулаками. «Или мы их, или они нас», — внушали вам вожди, и, дорвавшись, до безоружных особенно, «врагов», вы, падлюки, были беспощадны и бесчеловечны...

Я затрёкал, как взволнованный либерал, а либерал, живущий в палаче, это — смешновато. Нельзя распоясываться. Понимать что-либо, тем более тухлую конструкцию вашей натуры, гражданин Гуров, можно и без пафоса. Поэтому давайте сделаем перекур, а то еще немного, и я измудохаю вас до полусмерти. Чешется моя рука, чешется... Перекур...

## 6

Сдали мужики оружие тогда, сдали. К сожалению, сдали. Вполне могли постоять за себя и за баб, перебить палачей своих, а потом с чистой совестью встать по закону к стенке... Сдали оружие. Сидят за одним столом в нашей

хате с чекистами, щи хлебают, самогон жрут и трепятся благодушно в дружеской атмосфере, пробздетой сталинской демократией, о том, как они культурно будут конкурировать с колхозом, в который добровольно пошла всякая ленивая рвань, ворьё и пьянь. А затем Понятев встает и говорит: «Так, мол, и так, Шибанов. Спасибо тебе за хлеб-соль. Теперь кончать с тобой будем. И так много отнял ты у меня времени. Письмо я тебе привез не от Сталина, а от себя лично».

Тут я выстрелы услышал в деревне и понял, что и впрямь пришел всем нам конец. Чекисты повытаскивали маузеры. Встали у окон и дверей. И враз обессилели от такого оборота крепкие наши мужики, прошедшие германскую и гражданскую. Сгорбились, покачали головами, а батя мой и говорит им: «Ихняя теперь бандитская сила, мужики. Никуда нам от нее не деться. Но боком выйдет вам наша кровь, и проклятье до конца времен от вас не отстанет. Стреляйте, бляди!»

Человек восемь уложили с первого залпа чекисты. Один мой батя остался.

«Прав, — говорит, — я был. Не годится под таким зверьем на земле жить и хлеб родить. Прав я был. Стреляй, дьявол! Не боюсь ни тебя, ни смерти! Господи, прими наши души!» Встал батя на колени перед образами, перекрестился, а папенька ваш, гражданин Гуров, отвечает: «Кончить я тебя, кулацкая харя, успею. Ты вот послушай сначала, какой красивой жизнь без вас в этих краях будет. Почуй, от чего отказался ты, погляди на то, что я нарисую».

Сам раздухарился, голос дрожит, волчьи глазки сверкают, и рисует, рисует, как ниспадет лет через десять-двенадцать коммунизм полный на всю Россию, как машины возьмут на себя весь крестьянский труд, и сравняется деревня с городом, а сами крестьяне, сытые и ученые, в белых рубашках и черных брючках сидеть будут в диспетчерских и, кнопки нажимая, руководить на расстоянии фермами, элеваторами, стадами, утками, гусями и рыбой. «А ты, Шибанов, сгниешь в той земле, которую не пожелал по злобности характера и реакционности души видеть цветущеколхозной. Сгниешь, и ничего такого прекрасного не застанешь! Не увидишь ты человека, свободного от тяжелого груза собственности и кулацкой хозяйственной суеты. Вот как! Не увидишь!»

«Этого и ты, зверюга, не увидишь! — говорит батя мой. — И картинку я тебе, если желаешь, другую нарисую».

«Ну, ну! Рисуй, давай, а мы слушаем!» — засмеялся ваш папа, гражданин Гуров, и предсказал мой батя перед смертью своей всё почти с такой точностью, что потом

уж, когда сбывались каждый раз его предсказания, ужас чувствовал я и восторг: как в землю глядел Иван Абрамыч!

Вы можете, гражданин Гуров, ухмыляться, сколько вам вздумается. Понятев с подручными тоже ухмылялись тогда, а вышло все правильно. Мужика золотого и умного разорила и перевела советская власть, а вшивоту и остатки настоящих крестьян стала давить так, как никогда в истории ни на одних рабов никто не давил.

В общем, нечего мне перечислять отцовские догадки. Просёк он главное: логику распада крестьянской души, закабаленной и лишенной права на землю и на личное творчество на родной земле в родстве с различной скотиной... Все предсказал Иван Абрамыч. И то, что платить будут мужикам, как рабам, самую малость, только чтобы не подошли, трудодень то есть предсказал, и то, что паспорта отнимут и сниматься с места под страхом смертной казни запретят, и смерть ремёсел, и оскудение земли, и постепенную отвычку паразитских городов от мяса, масла и рыбки, и даже то, что колбасу делать будут чуть ли не из говна на ваших мясокомбинатах, гражданин Гуров, тоже предсказал мой батя. Не забыл и про пшеничку. В одном ошибся, однако. Покупаем ее за золотишко не у Германии, а у Америки. Дела это не меняет. Ну и гоготали тогда чекисты, и верили, очевидно, что перед ними кровавый враг и безумец.

«И еще я вам нарисую вот что, — сказал батя. — Бесы вы, и сами себя передушите, а отродье ваше сатанинское по свету пойдет. Господи, прости их! Не ведают, что творят, паразиты!»

## 7

Отвечаю, гражданин Гуров на ваш вопрос: я не видел, кто стрелял в батю моего, ваш отец или другая косорылина, не видел. И врать не стану. Но я уверен был всегда, всегда был уверен, что — он. Кому еще, по-вашему, доверил бы он такую честь: взять на мушку вожака одинских реакционеров? Никому. А насчет доказательств этого не беспокойтесь. Они будут. Найдем. Иными словами, доказательства есть...

Не видел я, кто стрелял в батю моего, Ивана Абрамыча, и выстрелов не слышал, потому что в шоке находился. Не устояла на ногах ребячья душонка. Я даже думаю, что работает временами у нашей психики механизм спасительной отключки от безумных мгновений жизни... В шоке я был, и прочухался, когда припекло как следует бочину. Избенка наша родная горела, с пола занялась, керосинчика, очевидно, чекисты плеснули, огонь уже образа лизал, а бати

моего в пламени не было видно... Только не делайте вид, что не помните того пожара, гражданин Гуров... Конечно, если б не зима, не сидели бы мы сейчас напротив друг друга и не превращались бы вы в серый труп на моих глазах...

Высадил я башкой, правда, не помню как, окошко, а уж из сугроба вы меня вытащили, гражданин Гуров, вы!.. Ну, что? Узнали? Опознали? Вспомнили?.. Открывай глотку, падла, открывай, подыхать тебе еще рано, глотай коньяк, сволочь, да зубами не стучи, хрусталь раскусишь, глотай, ты у меня еще поживешь, гнида, пей, говорю! Вот так-то оно лучше... Приятно, гражданин Гуров, к жизни возвращаться, ответьте, положила руку на спасенное мной от разрыва сердце?.. Ах, вам не хочется жить! Но мне тоже тогда не хотелось, причем настолько, что если б не повязали меня по рукам, по ногам красные дьяволята, я бы сиганул обратно в огонь и сгорел бы до уголька рядом с батей Иваном Абрамовичем... Но вы повязали меня и посадили верхом на обледенелую колоду, на бревно, рядом с моими уцелевшими от пуль погодками...

Прошу немного пошевелить мозгами, прошу возвратиться в тот день. Итак: все взрослые перестреляны до единого, даже параличный дед Шошин и слепая бабка Беляиха. Свидетелей зверства кровавого нету, кроме нас, пацанов. Черные ямы в снегу, пар и дым от них валит, все что от Одинок осталось, и ни одна душа на белом свете не знает об этом. Большие друзья Советского Союза на Западе сладкие сопли слизывают с губ от умиления перед совершаемой Сталиным исторической перестройки социальных отношений в деревне, шобла поэтов, писателей, художников, композиторов, скульпторов уже вгрызается крысиными зубами в золотую жилу колхозной тематики, и никто, никто не ведает, что задолго до Герники, до Лидице, до Хатыни чернеют в снегу спаленные избы Одинок, десяток, сотен Одинок, а хозяева-крестьяне мертвые, люди убитые в штабель свалены и волки оголодавшие вольно и безнаказанно жрут их трупы воровскими ночами... Прошу извинения за лирику. Итак: все кончено. Мороз двадцать пять градусов. На обледенелой колоде сидит верхом уцелевшая в бойне пацанва и вы... Да! Да! Да! Вы, гражданин Гуров, сечете нас, как вражых выродков, плетью со своими дьяволятами и велите петь: Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем...

Включите, пожалуйста, телевизор... Благодарю... А вот вам и «Интернационал». Зарапортовался и совершенно забыл, что мои коллеги, как, впрочем, весь советский народ и передовое человечество, празднуют столетие со дня рождения великого человеколюба, друга детей, рыцаря революции, железного

Феликса Эдмундовича Дзержинского... Жаль, что мы с вами не успели послушать моего министра Андропова. Зато послушайте ваш бывший гимн, который Вы вбивали силком в наши ребячьи глотки, послушайте, освежите память и выключите потом к чертовой матери ящик. Я не желаю присутствовать на торжественном концерте в честь столетия со дня рождения хитрого, якобы одухотворенного и сентиментального палача.

Да-а! Действительно выдающийся был палач. Палач нового типа. А ведь рожа до чего дьявольская! Чистый асмодей. И не случайно, конечно, это поразительное внешнее сходство с сатаной, с чертилой, каким изображают его на сцене, на карикатурах и во всяких легкомысленных безделушках... Рябов! Притарань-ка нам чего-нибудь вкусенького!

## 8

Не случайно сходство ФЭДа с асмодеем, не случайно. Приятно, что вы согласились со мной, гражданин Гуров, хотя ваши оговорки насчет закономерности временного забвения старой, традиционной морали в переломный момент человеческой истории и необходимости огромного количества жертв при кровавой борьбе нового со старым для меня неприемлемы. Если бы вы догадывались, сколько раз слышал я эти неумные стандартные аргументы, вы бы, уверен, не стали их выдавать. Я, между прочим, в полном одиночестве, самостоятельно, без помощи литературы по философии и этике, допёр до психологической подоплеку подобной аргументации. Она чрезвычайно проста. Вот она: Зло непременно должно выдавать себя за Добро, иначе существование Зла, противное основанию человеческой природы, возмущает Дух общества, и оно травит силы зла, как бешеных собак... Да, вы правы. Случается это, к сожалению, не часто. И как раз потому, что Зло рядится в Добро, потому что оно почти неопознаваемо, и с откровенной, со страстной, пьяной, безумной даже временами жестокостью обрушивает Карающий меч на якобы врагов Идеалов Добра, вбивая в головы исполнителей лукавейшую из философий — философию оправдания средств целью, породившую кровавую логику красного террора.

Разумеется, у вас другая точка зрения, гражданин Гуров. Но вопрос вы мне задали неглупый. Ваш покорный слуга, палач Рука, много размышлял о Добре и Зле, занимая по отношению как к Злу, так и к Добру, нейтральную позицию — нейтральную исключительно потому, что целью моей жизни и было и есть не защита хитромудрых «идеалов» Зла, прикинувшегося Добром, и не служение Добру истинному, а жажда мести, патологическая, если хотите знать, страсть отмщенья, отмщенья, гражданин Гуров, отмщенья,

утолить которую, к несчастью моему, к проклятью моему, можно только на мгновение, и я сейчас опять беру... вот так... тихо... спокуха... череп ваш в свою руку... и припечатываю, рискуя, что вы задохнетесь в это мгновение, ваши губы и ноздри и вдавливаю мизинцем и большим глаза ваши в глазницы, а остальными тремя загребаю по-медвежьки ваш скальп!.. Вот вам на двадцать секунд страшная смерть, а мне сладкий миг мести...

На этот раз вы лучше перенесли единственную из применяемых мной физических пыток. Заслуженную вами, кстати. Но если вы даже осознаете заслуженность пытки и наказания, осознаете до самого предела, до добровольного приятия смерти, как высшей кары за допущенную по отношению лично ко мне нечеловеческую жестокость, я вас не прощу, иными словами, я не смогу навсегда утолить жажду мести...

Не смогу, и чувствую себя поэтому полным говном... Вот если бы захреначить мне формулу собственной жизни, чудесное такое уравнение, где насилие надо мной, моими близкими, над всем, что было нам свято, и мои акты мести за это насилие взаимно уничтожились бы в определенный момент времени, то смог бы я существовать просто и прекрасно, с печалью вспоминая в мягком кресле перед камином о былых безумствах рокового своего комплекса графа Монте-Кристо... Увы! Увы, Рука, раз уж ты попал в сатанинский механизм отмщенья, то уж не выбраться тебе оттуда, гуляй, как знаешь, следовательно, пока не подохнешь...

Ну-ка, включите, гражданин Гуров, ящик. Посмотрим информационную программу «Время». Пожалуйста! Аэропорт «Внуково». На летное поле выходят члены политбюро, министры, заведомыми ЦК и сошка помельче. Вся шобла-ёбла, как говорили урки... Выходят. Бьются у них от волнения и томительного ожидания сердца. Третий раз за день одолели большие чины путь от Кремля, Старой площади и Лубянки в своих черных, элегантных броневиках до Внукова. Провожанья, встречи, провожанья... По трапу спускается улыбающийся Леонид, дорогой Ильич, любимый ты наш Генеральный, неутомимый, Председатель Брежнев! Спустился. И вот он уже в объятиях членов Политбюро! Взасос целуются перед всем нашим многомиллионным народом. Смотрите, мол, паразиты, как надо вождя своего любить! Неделю не видели мы его, но от разлуки охренели и снова, снова ты с нами, Леня, Леонид, Леонид Ильич, дорогой! Радости-то, радости-то сколько неподдельной! Куча целая дымится! Даже по серому папье-маше сусловской трупной хари прополз червячок улыбки, даже Кириленко разгладил на миг железные морщины, размял стиснутые в тридцать седьмом губы и смешались в экстазе встречи скупые слезы членов политбюро с суровой, но щедрой слезой генсека... Вот пози-

рует вся шобла перед телеобъективом... Застыли, как на пошлом курортном снимке, и в который уж раз, гражданин Гуров, кажутся они мне бульжниками пролетариата, превратившимися каким-то странным образом в людей...

А вот показательная животноводческая ферма. Коровки. Телята. Льются из розовых титек белые речки. Раскрывайте свои хлебала, оружейники Тулы, инженеры Саратова, пенсионеры Воронежа! Пейте натуральное, непорошковое, пейте парное, животворное, вкус которого давно вы позабыли, пейте!.. Вытрите губы! Корреспондент за ручку ведет нас на маслобойню. Хавай, провинция бедная, маслице, не французское, не финское, не датское, а нашенское, русское, луговое, родное... молочко... сливки... сметанка... маслице! Хавай, бедная провинция, намазывай его на хлебушек, купленный у кровавого врага твоего, у зажавшейся Америки. Прав был покойный Иван Абрамыч, царство ему небесное, тыщу раз прав! Не хватает земле и мужику пердячего пара, чтобы прокормить городской плебс, не хватает! Обеды со столов чекистов, обкомовцев, райкомовцев, военной элиты, многомиллионной армии солдат, чекистов, полицейских, жирной богемы, академиков, ученых, торгашей и прочего ворья, обеды эти, повторяю, растаскиваются шакалами еще на базах и складах, а то, что выбрасывается на прилавки, тает мгновенно в жадной глотке толпы, как малюсенькая креветочка в китовом чреве.

Я считаю крупной политической ошибкой показ советским людям по телевидению тучных отар овец, свиноферм, маслобоен, теляток, гусей и прочей живности, ибо показ этот возбуждает у бедной, сидящей на лапше с постным маслом и ледяной рыбе, провинции зверский аппетит и нездоровые настроения. Отвратительно и аморально дразнить пролетариев пороссячими жопами! Беречь условные рефлексy Тамбова, Пензы, Омска, Тагила, сотен российских городов рассказом о введении в строй новых автоматов по производству колбас и сосисок — бесчеловечно, гражданин Гуров. Вам, как одному из руководителей Главмясомолпрома это должно быть особенно ясно. Но вы попускайте слюни, попускайте, рабочие и инженеры, шоферы и строители, прядильщицы и телефонистки, дворники и бульдозеристы, секретарши и учительницы, лаборанты и счетоводы, попускайте слюни и идите, наглотавшись лапши и картошки, строить светлое будущее — коммунизм, в котором давно уже прописались паразитирующие на вас урки, славные ваши лагерные начальнички. Идите на общие работы, идите, бредите, а вечером мы посмотрим вместе с вами информационную программу «Время».

Информационная программа «Время», ебит вашу мать!.. Не вздрагивайте, гражданин Гуров, не дергайтесь! Не вашу мать, успокойтесь! Свою мать вы сами свели в могилу

тридцать лет назад...

Сделайте звук, пожалуйста, потише или вырубите его к чертям! Невыносимо слушать эту наглуемую ложь о небывалом расцвете нашей демократии. Уж я-то про нее все наизусть знаю, мне-то на хера мозги пудрить?.. Так вот: мать свою, несчастную Елизавету Васильевну Понятьеву вы сами, гражданин Гуров, спровадили на тот свет. Стоп, стоп. Не вертуйтесь. Мы не на восточном базаре. Здесь вас не объебут на туфте... Где моя папочка?.. Вот моя папочка...

«Дорогая мамочка! — Это вы пишете. — Письмо твое я получил случайно, вернувшись после тяжелого ранения в Москву. Не мог читать его спокойно, потому что лишен возможности чем-нибудь помочь тебе. Посылки продуктовые не принимают. А сам я на днях уезжаю на работу в прифронтовую полосу. Все имевшиеся у меня деньги я отдал в фонд обороны. По аттестату получает Эля... Узнать что-нибудь об отце я даже не пытался. Сама поймешь, почему. Но я слышал, что *им* разрешают иногда искупать преступления кровью, а это уже надежда. Держись. Сейчас всем плохо. Попробуй лечь в больницу. Воевал я нормально. Награжден орденами, дослужился до майора... Крепко целую. Вася».

Надеюсь, не будем устраивать графологическую экспертизу, гражданин Гуров?.. Не будем, но вы на всякий случай утверждаете, что каждая строчка письма прерывисто дышит неподдельной правдой. Хорошо. Мы вскоре возвратимся к вашему письму. Мы снова забежали вперед. Все-таки, располагая огромнейшим количеством времени для ведения следствия по моему делу, я с тоской и сожалением ощущаю его движение к какому-то пределу. Я то и дело отвлекаюсь, отступаю от главной линии, ловлю, честно говоря, при этом большой кайф, но растерянность, как неизбежная расплата за него, порой охватывает мою душу. Материалов по делу — уйма! Уйма материалов! Ничего, кажется, лишнего, ибо целиком они вмещены в мою жизнь и в вашу, но не заблудиться, не заблудиться бы! Успеть бы выбраться из дремучего леса на верную дорогу, дорогой ты мой тезка Вася! Мы заплутали слегка, заплутали...

## 10

Итак: все кончено. Мороз двадцать пять градусов. На обледенелой колоде сидит верхом уцелевшая в боине пацанва, и вы, гражданин Гуров, сечете нас, как вражбых выродков, плетьюми со своими красными дьяволятами и заставляете, силком заставляете петь: весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем..

Я, между прочим, как выскочил из горящей избы в исподнем, так и усадили вы меня верхом на колодину, только полушубок с убитого мужичка набросили на плечи. Набросили, чтоб не подох, ибо задача у вас была перевоспитать кулацких выблядков, сделать из них строителей нового мира.

Ну, что ж. Подохнуть-то я не подох, более того: я не просто строитель. Я один из тех, кто держит в узде, в железной, в беспощадной узде шалавые народы Российской империи.

Подохнуть-то я не подох, но мужиком, благодаря лично вам, гражданин Гуров, мужиком, мужчиной, блядуном, ёбарем, мужем, отцом я не стал. Отморозили вы мне тогда на проклятой колодине то ли яйца, то ли простату, то ли плоть самого хуя — диагноз неважен — и не стоял у меня после этого ни-ко-гда. Никогда... Благодарю за запоздалый совет. К врачам я не обращался, хотя со временем у меня появилась возможность поставить раком все четвертое управление Минздрава и крикнуть парням всей земли, чтобы волокли Руке с другого конца света чудодейственное лекарство, замастыренное из сушеной печени крокодила, толченых клювиков колибри, горелых усов белого медведя, настоянное на желчи молодой пантеры и пыльце альпийских эдельвейсов. Не обращался я к врачам, не чувствовал желания. Партия же считала, что в груди моей горит-пылает такой священный огонь ненависти к врагам народа, что не может ужиться рядом с ним иная какая-нибудь страсть, и что это удел немногих, высокая драма любимчиков Великого Дела. Бывало, подшучивали надо мной коллеги-палачи, причем препохобно и жестоко, но, как это ни странно, я буквально ни разу не вышел из себя, не заводился, а шутиливо говорил: «Сначала разберемся, а потом уж поебемся». С годами вообще отстали от меня, поняв, что Рука не по тому делу. Бабы же не останавливали на моей личности взгляда, просто не замечали, очевидно, по причине полного отсутствия вокруг меня полового поля, а уж если смотрели, то как на монстра...

Промерз я до самого естества как раз на тринадцатом году и, конечно же, перетасовало это всю мою гормональную, как говорится, «жизнь». Вот и вымахал из меня мудила, сидящий перед вами, гражданин Гуров. Полнуйте на меня новыми глазами в свете вышеизложенного... Полнуйте... Рыло лошадиное, кожа на нем дряблая, бороденка редкая и мягкая, как у девочки под мышкой, глаза за очками из орбит вот-вот вылезут, цвет ихний размыт, но взгляд — все еще пулемет! Это я точно знаю!.. Любуйте, любуйте! Ваших же рук дело! Вот плечи. Округлые они у меня, бабы, а должны были бы быть, как у бати, Ивана Абрамыча. Но не ударил гормон в бицепс и — пожалуйста — хоть поводи плечиком... Талии вообще у меня нету. Перехожу

из спины прямо в жопу и через подпухлые, тоже, конечно же, бабьи ляжки, в ножищи сорок шестого размера. Здоровые ножищи, но слабые, ибо гормон и тут пробил мимо... мимо... Зато имею я руку. Длина ладони феноменальная: тридцать сантиметров. В силище ее, без преувеличения, мистической, вы, надеюсь, не сомневаетесь? Вот и хорошо. Ну, как? Ничего себе вымахал мальчишечка, промерзший и нажавшийся до блевотины «Интернационала»?

Мне нравится то, что вы сравнительно невозмутимы. Если бы вы сейчас вздохнули или изобразили на роже что-нибудь вроде сочувствия, то я не удержался бы, наверно, и врезал вам по башке вот этим фарфоровым блюдом.

Мужчина... Мужик... Блядун... Ёбарь... Муж... Отец... Однажды в лагере, когда я проводил в жизнь ленинскую диалектику насчет самоуничтожения блатного мира, подходит ко мне воровачка одна. Лет тридцать ей было. Красива, стервь. Даже в шароварах ватных и в бушлатике выглядела, как дама. Бесстрашно ко мне подходит, а шел я по зоне в окружении всей псарни лагерной, и бесстрашно говорит:

— Здравствуй, начальник! Дерни меня к себе по особо важному делу.

Дергаю. Что, думаю, за дело? Велю пожрать принести и чифирку заварить. Звали воровайку ту Зоей. Сидим, трёмкаем, жрем, чифирим. Насмешила меня тогда Зоя, такую черноту с темнотой раскинула, что уши вяли. Была она якобы совращена Берия, когда ей не стукнуло еще двенадцати. Рассказала подробности, многое сходилось, но дело не в этом. Я, говорит, начальник, после того, как пожрала с тобой и почирилась сухой стала, падлой и в зону вертать мне обратно нельзя. А ссучилась потому, и ты, хочешь верь, хочешь не верь, что я в тебя некрасивого втрескалась. Что-то есть в тебе такое зверское, как в тигре, и сердце мое воровское колотится. Раздень ты меня и выеби по-человечески и забудем мы с тобой на сладкую минуточку все это гнилое пространство и время. Смотри, говорит, какая я красивая, какая настоящая я красивая женщина. Раскрыл я варежку, захлопал глазами и вдруг из вшивого лагерного тряпья, из желтых мужских кальсон с жалкими тесемочками, из бурок, подшитых кордом, поднимается белое, розовое, светящееся, чистое, невинное тело. Не помню, сколько смотрел я на голую женщину неотрывно и восторженно, пока не затрясло меня от боли, ужаса, ярости и рыданий... Да, да! Рыданий...

Когда сожгли вы мою Одиночку, не ревел я, а тут от невозможности испытать то, что испытывают даже крысы, даже тарантулы, даже рыбы в пруду, признаюсь чистосердечно, ревел! Она тормозила меня, звала, просила, ласкала, жалела, а я заливался слезами, как малое дитя, впервые за много

страшных лет и, причмокивая, сосал грудь... Тугой, налитый сладким жаром жизни сосок... Помню вкус его, помню, не забуду до смерти... И Зоя вздрогнула, напряглась, я перепугался, и что-то неведомое мне вдруг отпустило ее... Ты, говорит, почему такой бедный, Вася?.. Промерз, говорю, в детстве. Промерз... Больше ничего я ей не сказал. Оделась. Спрятала красу свою в серую лагерную вшивоту. Ты бы, говорит, по-другому как-нибудь кайф ловил, сам бы давал, что ли! Вон начальника шестой командировки пристроили урки к шоколадному цеху, ночует с двумя дылдами сразу. Извини, отвечаю, но я вообще ничего не хочу и не желаю. А разве тогда это жизнь? — говорит Зоя. Да, соглашаюсь, трудновато сие называть жизнью, но другого мне не предложено, и ты поспи, прошу ее, со мной до утра, поспи, пожалуйста... Первый и последний раз, гражданин Гуров, спал я тогда рядом с женщиной, молодой и красивой, хотевшей есть и безумствовавшей, пока сон не сбил ее с копыт, как меня. Приснилась мне маменька... Утром, еще до развода, ушла Зоя в зону. Ушла, а на полу, как сейчас помню, кордовые следы остались от ее бурок, и жутковато мне было от того, что прелестные человеческие ноги оставляют за собой след грузового автомобиля «ЗИС», завод имени Сталина. Зою в зоне на другую ночь проткнули пикой. Свиданка с псом! Скурвилась Зоя, пожав со мной картошки с салом, почифирив и якобы похарившись.

А ну-ка, встаньте, гражданин Гуров! Встать, тварь, если я приказал!.. Встать!.. Ах, вот оно что! Ах, у вас от моего рассказа эрекция? И вы, естественно, смущаетесь и утверждаете, что натура человека, точнее, ваша натура, поразительно совмещает в себе, причем одновременно, и похоть, и ужас, и стыд, и низкое любопытство, и прочую бодягу?.. Возможно. Все люди разные... Я на них насмотрелся. И такого, как вы, монстрягу первый раз вижу... Садитесь уж, козел! Честно говоря, вы меня обрадовали. Значит, в вас еще много жизни! Значит, расставаться вам с ней неохота, и вы сейчас выложите все нахапанное у вашей родной советской власти и чужого вам советского народа вот на этот шикарный стол, стоящий по нынешним ценам не меньше двух тысяч! Всё! Рябов, ко мне! Внимательно слушай! Выкладывайте, гражданин Гуров, адресочки всех тайников! Но только всех до единого! Вы, надеюсь, поняли, что разговор идет самый серьезный... Все адресочки! Без всяких, как говорит наш вундеркинд Громыко, предварительных условий. Торгов не будет. Записывай, Рябов... Но учтите, гражданин Гуров: если вы утаите хоть один камешек, хотя бы одну жемчужину или старинный перстень, я воткну вас, падлюку, в новейший детектор лжи, и тогда не обижайтесь — Рябов вернет вам и память, и рвение.

И не думайте, что Рука считает вас Корейкой, а себя шпаной Бендером. Не думайте, что вы попали в лапы к блестящим разгонщикам. Угадал я? Блеснула у вас такая мысль? Козел!

## 11

А вилла ваша — шик! Вилла — блеск! Просто ласточка, а не вилла. Нравится она мне. Нравится. На такой вилле вполне можно провести остаток дней. И не то что провести, скоротать лет двадцать, а блаженно истлеть, поддерживая в членах огонек жизни марочным коньячком и веселыми девчонками. Давайте прогуляемся, гражданин Гуров. Остоебенело сидеть на одном месте час за часом, день за днем. Да и наговорено мной уже немало... Немало... Извините уж: дорвался. Дорвался и даже не брезгую иногда впадать в беллетристику. Насчет солярия на крыше вы правильно сообразили. Хорошая штука... В нашем возрасте полезно погреть шкелетину на солнышке. Я ведь слишком долго ждал этой встречи, не раз беседовал с вами мысленно, даже тогда, когда был уверен, что подошли вы, и немудрено, что накопившееся как-то само собой неудачно окостенело во мне, отштамповалось и прет временами поносом. Я был бы гораздо сдержанней, если бы вел протоколы допросов. «Я, гражданин Шибанов, он же Рука... по существу дела могу показать следующее». — И все. Разговор — другое дело. А разговор по душам — первый, по сути дела, в жизни и последний — тем более... Да. В протоколах допросов, кстати, я никогда не старался блеснуть слогом, блядануть лишним эпитетом и умничать. В отличие от многих моих коллег, я никогда не мечтал, устав от борьбы с внешними и внутренними врагами, перейти на литературную работу, вступить автоматом, по звонку с Лубянки в Союз писателей и грести деньгу за порчу великого и могучего русского языка.

Многих мы уже проводили с шампанским за тихие письменные столы, многих. Разбудите меня ночью, прочитайте наугад полстраницы, и я с ходу скажу, чекист тиснул ее или просто полуграмотный пиздодуй вроде Георгия Маркова. Воняют страницы книг моих бывших коллег протокольной керзой, прокуренными кабинетами, протертыми локтями, геморройными жопами, издерганными нервишками и страхом за собственные шкуры. Ведь нашего брата — палача, гражданин Гуров, тоже немало ухлопали, пошмаляли, схавали. И горели, между прочим, зачастую именно те Питоны Удавычи, которые, обнаглев и очумев от вдохновенья, так распоясывались на допросах, таких насочиняли чудовищных фантазмагорических сюжетов, что начальнички наши, палачи со слабым в общем-то воображением,

хватались за головы и старались избавляться от «поэтов» своего дела...

Да-да! Было времечко в тридцатых, да и сороковых годах нашего замечательного века, когда Лубянку и подобные заведения в крупных и мелких городах Российской империи смело можно было называть Домами Литераторов. В них кишмя кишели представители различных литературных течений, не враждуя друг с другом, ибо была у них у всех одна цель: захерачить с помощью одного или нескольких бедных подследственных произведение принципиально нового жанра: Дело. ДЕ-ЛО! Движение идеи следователя к цели. которое мы промеж собой называли сюжетом, должно было, пройдя через различные перипетии, собрать в конце концов в один букет всех действующих лиц Дела — врагов народа и их пособников. Букет преподносился трибуналу, а тот, не понюхав даже, посылал одни цветочки в крематорий, другие на смертельную холодину лагеря. И все! И Дела — эти поистине сложнейшие произведения соцреализма — забывались, а литературные герои, советские люди, люди нового типа, засасывались трясиной забвения.

Но Сталин и политбюро требовали от нас новых, более интересных Дел, требовали более полного слияния литературы с жизнью. Им пришлось по вкусу не призрачная кровь выдуманных персонажей, а теплая реальная кровушка наших подследственных — «мерзких злодеев, потерявших человеческий облик при подготовке зверских покушений на своих вождей и их политические идеалы». Процессы, и открытые, и закрытые, воспринимались вождями и временно остававшимися на свободе зрителями, как грандиозные спектакли, где недостаток шекспировских страстей и глубины художественной мысли компенсировался разыгрываемой в реальности завязкой, реальными запирательствами, реальным напором представителя обвинения, вынужденными признаниями и восстановленными в леденящих душу диалогах судей и подсудимых подробностями эпического преступления. Затем кульминация и финал.

Вы совершенно правильно отметили, гражданин Гуров, что и вожди, и зрители при этом не просто находились в зале, со стороны, по-зрительски переживая разворачивавшееся на их глазах действие спектакля — нет! Они тоже были его персонажами, они идентифицировали себя не без помощи самовнушения, гипноза и пропаганды с Силами Добра, одолевающими при активной поддержке славных чекистов — рыцарей революции, гнусные Силы Зла. Гнусные, не гнушавшиеся никакими средствами, коварные и вероломные Силы! Вот тут-то мы, неизвестные прозаики и драматурги, постарались! Сами подследственные иной раз искренне восхищались

сочиненными лично мной коварными интригами, поворотами сюжета и чудесной технологией заговоров и диверсий. Позвольте похвастаться: это я придумал пропитывание штор и гардин в кабинетах руководителей различными ядовитыми веществами, поставлявшимися врагам народа царскими химиками и международной троцкистской агентурой. Простите, отвлекся...

Короче говоря, аппараты следствия и суда так умело создавали иллюзию смертельной опасности для честных большевиков-сталинцев, что с потрохами поглощенные зрелищем, они уже не замечали алогизмов поведения подсудимых, грубых натяжек в материалах дела, висельного юмора господина Вышинского и его псарни, абсурдных самооговоров и шизоидных последних слов. Они ничего не замечали. В горлax ихних клокотал утробный хрип: «Возмездия! Смерть сволочам! К стенке проституток! Руки прочь от нас, от наших фабрик и колхозов!» И кровушка лилась, возмездие свершалось, оно было реальным, его можно было потрогать лапкой, но я лично замечал, как за ощущение полной реальности возмездия, собственного спасения и торжества справедливости наши высокие заказчики, наши меценаты, наши вожди расплачивались реальностью проникшего в их души страха.

В этом смысле Сталин был на голову впечатлительней остальных своих урок. Гениально вживался в сюжет, соответствовал эмоционально его развитию, холодел, негодовал, бледнел, впадал в ярость, бросал в помойку милосердие и великодушие, обижался, говнился, усиливал охрану, вскакивал во время антрактов между судебными заседаниями с постели, тряся от страха, боялся жрать сациви и лобии и наконец сдержанно докладывал на очередных толковищах о ликвидации групп, блоков и оппозиций. Отдыхал же он душою в личном кинозале на «Александре Невском», «Веселых ребятах», на «Ленине в Октябре» и «Человеке с ружьем»... Так и быть, гражданин Гуров, удовлетворю немного ваш интерес к личности... Очень любил балет. Брал с собой в ложу пару палок чурчхелы, пожевывал мякоть с орешками и смотрел. Ему, одуревшему от полемики, нравилось, что балет бессловесен. Однажды на закрытом просмотре «Лебединого озера» захохотал на весь зал. Зал, хоть и запоздало, но тоже растерянно хохотнул. Я стоял у Личности за спиной. Спросил меня, почему он, на мой взгляд, рассмеялся. Меня счастливо осенило. Вы, говорю, очевидно, подумали о том, что Троцкий не успеет спеть свою лебединую песню, а об станцевать не может быть и речи.

— Молодец! Завтра перейдешь на особо важную следственную работу...

Вот так я и попал на родную Лубяночку, которая, сука, простоит целой и невредимой, наверно, до конца света.

Каким образом я вообще пролез в органы, вы узнаете

позже. Всему свой час, и не путайте меня, пожалуйста.

## 12

Участок ваш прекрасен. Сосны, кедры, елочки... Парнички... Бассейн. Моря вам мало, козел? Выложен бассейн мрамором. Я так и думал, что украли этот мрамор со строительства дома творчества Литфонда. Воруют, гниды, потихонечку. Рядом с вами, кажется, Евгений Александрович Евтушенко строит? Умница. Когда кормежка идет, не надо болтать, не надо зевать. Надо кушать, а не то обскачет какой-нибудь Виль Проскурин или Роберт Сартаков... Да-а! Не было еще на Руси таких блядей. Не было. Дорожки красненькие тоже милы. На чем мы остановились?

Мощные были в Чека сюжетчики и истинные фантазеры. Я и поэта одного знал. Честное слово, не вру! Майор Миловидов. Артист... Лирик. Романтик. Протоколы допросов вел исключительно белыми стихами, кажется, ямбом, как в «Борисе Годунове». Херово у него дело обстояло только с фразой «по существу дела могу показать следующее». Она никак не влезала в ямбическую строку и не поддавалась расчленению. Избавиться от нее тоже было невозможно. За одну такую попытку Миловидов схватил пять суток ареста с отбытием срока по месту работы. Зато со всеми показаниями он справлялся мастерски и любил говорить: «Сочиняет дела народ, а мы, чекисты, их только аранжируем». К сожалению, башка у меня всегда была забита своими заботами, и я, мудака, не удосужился притырить для потомков пару отрывков из многочисленных трагедий и драм майора Миловидова. Одна начиналась примерно так: «По существу дела могу показать следующее: Я, Шнейдерман, вступив в преступный сговор в тридцать втором году пятнадцатого марта с давнишним сослуживцем Месхи, где ныне проживает неизвестно, а также с Бойко, сторожем больницы, проникли ночью, и инструментарий, который накануне был врачами законсервирован, стерилизован для срочных операций на селькорах, избитых кулаками зверски за помощь коммунистам в продразверстке, что вызвало насильственную смерть от заражения крови многих, готов нести заслуженную кару, учесть чистосердечное признание, а ценности народу возратить, селькорам убиенным нами слава смерть кулакам прошу принять в колхоз».

Много натискал Миловидов таких монологов. Первое время начальство помалкивало, боялось обвинений в ретроградстве, а потом замочили Миловидова по-тихому в подъезде железным прутом и пришили дело о его убийстве группе честных юнцов. Вот так. Но сам он успел пошуровать как следует. Успел.

Гранат... Персики... Грядочки... Киндза... Мята... баклажанчики... а в вилле на стенах даже Ренуар и гравюры Дюрера. Сильны вы, гражданин Гуров, сильны. Через такие пройти огни и воды, назлодействовать, уцелеть, быть на хорошем счету у партии, отгрохать такую домину, обеспечить себе, детям и внукам счастливую старость — это надо уметь. Вы, конечно, мудро поступили, записав все имущество на зятя. Мудро. Его доходы легализованы. За бюсты Ильича платят миллионы. Я это знаю. Но, между прочим, мы занимаемся моим делом, а не вашим. Поэтому давайте вернемся к моей жизни от вашего имущества. Позволю себе, раз уж шел у нас разговор об эпохе массового сочинительства в органах, вспомнить одно дельце... Восстановите, пожалуйста, в памяти образ ближайшего помощника вашего папеньки, Влачкова... Я помогу. Высокий здоровяк. Красив. Внешне добродушен. Улыбка всегда имелась. Ворот нараспашку. С песней вырезал он и согнал с земли настоящих крепких мужиков нашего уезда. Выступать любил. Попал вот в эти лапы уже вторым секретарем обкома. Я завел, оказавшись в органах, списочек отряда папеньки вашего. Влачков первым попал вот в эти лапы. Понял ваш немой вопрос. Папенька тоже в конце концов попал в них. Он у меня остался напоследок, на закусочку. Не спешите. И до него дойдет наша мирная беседа.

### 13

Брал я Влачкова сам. Санкцию на арест в те времена получить было просто. Донос состряпал мой кирюха, тот самый первый секретарь обкома, только что ушедший на «пензию». Я вам о нем, кажется, рассказывал. Донос был прост, как правда. Влачков якобы выпустил всю обойму из маузера в портрет Сталина.

Жил Влачков в домине не хуже вашего. Под участок отхватил кусок парка культуры.

Пришел я его брать один, без помощников. Я это любил.

— Здравствуйте, — говорю, — Виктор Петрович.

— Здравствуйте, товарищ Шибанов. Удивлен. В чем дело?

— Зашел, — говорю, — прямо со службы. Извините. Есть разговор неприятный. Касается лично вас.

Он уже начал, конечно, метать икорочку, но было это совершенно незаметно. Наоборот, пока мы шли по холлам и коридорам в его кабинет, шутил, хвастался коверными интерьерами, показал коллекцию старинного оружия, реквизированного у безобидного доктора Глушкова. Самого доктора шлепнули за попытку организовать «террор против обкомовцев, умело возбуждая низменные инстинкты обывателей ору-

жием времен Минина и Пожарского».

В домине Влачкова полно было челяди и пропах он весь перманентной, как тогда говорили, аморалкой — пьянством и блядством.

Несут нам шестерки в кабинет водочки, икорочки, балычка, ветчинки, грибков, патиссончиков — один к одному — маринованных, это я как сейчас помню, и Смирновской водки, настоящей, старой, царской еще Смирновской водки. Выпили, хотя я чуть не сблеванул, когда чокнулись. Шатануло меня даже. Рухнул я в памяти на миг на печку нашу и зашел духом от того, как пулю за пулей всаживал Влачков в моего дядю. Пулю за пулей, и почему-то глаза убийцы выпучились, словно рвались из орбит, и побелели...

— Будем, — говорю, — здоровы!

— Постараемся. Выкладывайте. Слышал, между прочим, о вас, как об отличном товарище, настоящем криминалисте и стойком большевике.

— У меня, — говорю, — в кармане донос на вас. Подписанный. Не анонимный. Но фамилию, сами понимаете, назвать не могу... Тир у вас есть?

— Есть. В подвале. Сами понимаете, если завтра война, если завтра в поход...

— Это — да, — говорю и читаю вслух донос, как он, Влачков, ставит в собственном тире вместо мишенной портреты Сталина, а иногда и других членов политбюро и шмаляет, шмаляет по ночам, стараясь попасть в лоб или же в глаз вождю. Бывает, развлекаются целой компанией... Половые оргии производятся прямо в тире, под выстрелы...

— Адский бред! — говорит Влачков. — Адский!

— Я, — отвечаю, — тоже так думаю. Бред, действительно, собачий. Поэтому я и пришел.

Сам донос рву и бросаю в камин. Влачков руку мне пожал. Еще выпили. А донос я сжег, ибо сообразил, что хоть он и прост, как правда, да мороки с ним не оберешься. Нужно будет представить в деле вещественные доказательства — пробитые пулями портреты Сталина и его урок, плюс баллистическая экспертиза и прочая мура. Мне она была ни к чему. Рисковать я не имел права... не имел...

— А пришел, — говорю Влачкову, — вот по какому делу. Честно говоря, скрытые враги и карьеристы затрудняют нашу работу. Среди них есть ненавидящие вас люди. Они и пускают слухи о том, как мягко вы относились к кулачью в бытность вашу замначособотряда в Шилковском районе. Либеральничали якобы вы, брали взятки, присваивали ценности, на которые и отмахали себе вот эту домину. Слухи, — говорю, — необходимо пресечь. Вы человек умный, понимаете, что в сложное время партии легче рубануть

лишнюю голову, чем копаться в обкомовских сварах, поэтому нужен ваш ход конем.

Так я сказал. Смотрю: обмяк слегка Вlachков, потерял величественные очертания, как мешок инкассатора Панкова, в который вместо пачек купюр бандиты наложили всей своей бандой огромную кучу... Выходить начал из Вlachкова через малюсенький прокол душок большевистской безнаказанности, выхоленного служебными удачами чванства, душок горлопанства и хамской спеси... Выходить начал! Ну, а я, соответственно, подкачиваю Вlachкова вонючим страхом и жидкой растерянностью. Обрисовываю, вроде бы я его доброжелатель, убийственную бесполезность переть с саблей на грязные унитазы, гордо рыпаться и вызывать на суд чести доносчиков и мастеров свары.

Окончательно обмяк Вlachков, хоть вяжи его под горло, закидывай за спину и волоки в камеру хранения. Напомнил он мне сейчас одного урку, матерого и знаменитого на весь гулаг, которого надзиратели отбили от кодлы, изолировали и предложили: или жизнь, или подставляй жопу. Урка, по кличке Стальной, тут же на вахте снял, дорожа жизнью, ватные брюки, и двое надзирателей, подонками они были и садистами, под безумный хохот остальной псарни и ужаснейшее негодование со стороны наблюдавших за экзекуцией блатных, пустили Стального по шоколадному цеху...

Не правда ли, гражданин Гуров, забавное название для педерастического акта?.. Его еще называют «печное дело», «пристроить дядю на один замес», «вонючий шашлык», «кожаный движок» и т. д.

Вам не скучно? Может быть, расскажете, как в блокаду вы выменяли вон тот японский сервизик за полбуханки черняшки?.. Не желаете. Тогда пойдем дальше...

И когда подкачал я как следует Вlachкова жидким страхом, когда поверил он в мою поддержку и сочувствие, я ему беру и советую шарахнуть ход конем. Советую тиснуть письмо прямо Сталину. Но отправим мы его не просто по почте, а по своим служебным каналам. Это, говорю, верняк, а остальные способы защиты — фуфло. Пишите с ходу: время не терпит.

Вмиг вышла из Вlachкова пьянь. Бросился за стол. Всю ночь строчил ксиву дорогому, родному и любимому. А я похлебывал водочку и не пьянел. Увлек меня тогда, признаюсь, гон бешеной зверюги, еще не загнал я его, надо было ничем себя не выдать, надо было отрабатывать на этом, на первом, совершенную технологию поведения и беспощадной травли своих, захававшихся на партхарчах, губителей. Одиннадцать их было в моем списочке. Одиннадца-

тый — ваш папенька, гражданин Гуров.

Настрочил ксиву Влачков. Хотите, — спрашивает, — почитать? У самого рыло распухло от слез и каши всяких чувств... Хочу, говорю, почитать, если доверяете. Кому же мне, всхлипнул, еще доверять? Беру письмо. И вот тут-то чтение это чуть не погубило меня, чуть не погубило, страшно вспомнить, ужасные были минуты. Заревел я не в голос, разумеется, взвизгнуло сердце, затрясло меня от «скупо описанных фактов, демонстрирующих мою, Иосиф Виссарионович, органическую преданность Вам и делу Партии».

Где моя папочка? Вот моя папочка. Письмо я это сохранил. Прочитайте его, гражданин Гуров, прочитайте и давайте, пожалуй, вздремнем. Я устал и пытаюсь понять, получаю я удовольствие от долгожданной встречи с вами, дающей мне наконец возможность полного самовыражения, или на хера все это надо и стоило ли огород городить? Помолчите! Я раздражен и опустошен.. Так что лучше помолчите. Читайте. Спокойной ночи.

## 14

Рябов!.. Доброе утро. Хорошо... Спасибо... Быстро вы обернулись. Попроси, пожалуйста, заделать Гурову омлет с помидорами, а мне пожарить картошки с салом. И не забудьте накрошить туда лука... Кофе — покрепче. С каждым днем, пардон, ночью дрыхну я все хуже и хуже. Кстати, все найденные ценности подробно опишите. Копайте происхождение крупных камешков. Может быть, удастся узнать что-нибудь о наследниках некоторых вещичек. Церковную всякую штуковину — в отдельный список. Потом тараньте все сюда. Пусть подышат чудные вещи свежим воздухом. Не гнить же им до конца света в земле, в бетоне и в печных вьюшках. А мы с Гуровым ими любимемся. Монет, слитков и прочего рыжего дерьма не приносите. Все.

Ну, как письмецо, гражданин Гуров? Вы обратили внимание на то, что одной из важнейших своих заслуг Влачков считал формирование отрядов «Красных дьяволят»? «Молодежь нового типа, прошедшая через горнило беспощадной ненависти к кулаку — главному врагу рабочего класса и рабоче-крестьянской интеллигенции, молодежь, все пять чувств которой я старался всеми своими силами привлечь на службу классовому чутью — основной эмоции, унаследованной нами от Ильича и развитой, Иосиф Виссарионович, лично Вами».

Обратили внимание? Вот он, сидит передо мной, зажавшийся и старый красный дьяволенок! Операции по уничтожению кулака как класса описаны довольно подробно в этом замечательном документе, который сам Сатана Дья-

волыч Чертилов приобрел бы у меня за пару килограммовых изумрудов. «Хлебными излишками» и Влачков, и вы — дьяволята, считали тогда последний пуд хлеба у нежелающих вступать в колхоз. Ибо вы считали только пролетария человеком труда, крестьянина же — паразитом, грабящим землю, пьющим само собой льущееся из коровьих титек молоко и жрущим мясо убитой на тучных лугах скотины. Жрущим, жадным, поставившим себе целью уморить город и пролетария голодом.

Вы уходили и оставляли после себя подыхать голодной смертью уцелевшие души...

Но ладно уж. Это я сейчас процитировал кусочек гневной юношеской статейки, сочиненной в уме. В ней же я задавал Западу, благоговейно взиравшему, как Сталин и легионы Понятьевых и Влачковых наматывают на руки наши кишки, наивный вопрос: неужели и ты, Запад, допустишь, чтобы твои мужчины, твои бабы, твои дети, нажрамшись ложных идей, ополоумели вдруг, взбесились, ослепли и стали пить кровь своих кормильцев-крестьян?

Наивный, конечно, вопрос, наивный, но восхищает меня хитро-мудрый расчет Дьявола, который не смог в свое время искусить Христа хлебом. Не смог, изговнился весь от обиды, начал мутить воду в Европе и, наконец, через 1917 с лишним лет мучительных исканий, небольших побед, частых неудач и, казалось, окончательных поражений вдруг, совершенно неожиданно для себя, с помощью своих бесов — большевиков и безумной интеллигенции, нашел поддавшихся на искушение хлебом российских пролетариев. Потер Асмодей ручки, грабь, говорит, ешь от пуза, товарищ, крестьянина я объебал начисто: землю я ему пообещал, но не увидит он ее, товарищ, как своих ушей, он не хозяином земли станет, а рабом ее крепостным и хер ему в горло, а не второго царя-батюшку Освободителя. Ешь, товарищ! Будет у тебя хлеба, молока и мяса вдосталь за то, что принял ты мое искушение, спасибо тебе! Ешь! Мужика прикую я к земле, носом он, сукоедина, пахать ее станет, слезой и соплей удобрять, лишнего не получит на трудодень, всё ты съешь, товарищ, и твои вожди. Лопай, пока припасы есть российские!

Все-таки заносит меня, гражданин Гуров, хотя приятно, что вы слушаете с интересом и даже просите продолжить мою мысль. Ах, вы и сами думали, что в семнадцатом произошло что-то не то? Прекрасно. Когда же вы начали думать об этом? Не тогда ли, когда стали вам платить за усердие меньше, чем вам хотелось бы, как человеку, бывшему Ничем, но вдруг ставшему Всем?..

Хорошо. Оставим на время этот разговор.

Неохота мне сегодня трепаться и философствовать. Однако мысль закончить надо, а то она не даст покоя.

Дьявол, в общем, своего добился. У него ведь не было благотворительной цели — накормить массы. Хлебушком он просто заманил эти массы в клетку, дал последнему вошедшему в нее поджопник и захлопнул дверцу. Граница на замке. Что из всего этого вышло, сами видите. Хлеб у всего мира покупаем. А жрать трудовой массе нечего. Отравление ложными идеями кончается паршиво. Кровавая блевотина с кусками сердца, вечная горечь души, вонь пропаганды изо рта и мозга и так далее. А если бы, кстате, не совершенная, созданная Сталиным система надзора, не палачи вроде меня и тучи красномордых карателей, если бы не рабский крестьянский труд, то разбежались бы колхознички, как зайцы из зоопарка, по всей одной шестой части света. Не одного райкомовца, не одного обкомовца и гусей покрупнее допросил я, и каждого вызывал на откровенные разговоры. Они ни капли даже не сомневались в том, что призваны именно надзирать, погонять, выжимать соки и карать крестьянство, эту архиреакционную массу, этих врожденных собственников, тормозящих движение рабочего класса к заведомо недостижимой цели, к мировой коммуне.

Почему, спрашиваете вы, недостижимой? Могу ли я это доказать? А если не могу, то толковать о заведомой недостижимости заветной цели, по меньшей мере, невежественно... Не могу, признаюсь, доказать. Я не Ленин, который смело брякнул: «учение Маркса всесильно, потому что оно верно!». Я всего лишь осмелюсь сделать одно маленькое замечаньице, одну поправочку к этому тупейшему и наглейшему афоризму. Одну позволю я себе поправочку. *Учение Маркса всесильно, потому что оно неверно!*

Подумайте об этом на оставшемся у вас от всех ваших ценностей досуге, гражданин Гуров. Подумайте, и вы, возможно, согласитесь с тем, что верное или хотя бы относительно истинное учение не обращает к себе насильно, как вокзальная блядь пьяного, потерявшего голову командировочного. Мне ведь в свое время тоже пришлось зубрить Краткий Курс истории ВКП(б). Вот и являлись в мою голову от зубрежки и печального опыта жизни мысли, которыми я сейчас поделился с вами. Юношеские опять-таки мысли... На чем мы остановились? Нет, не на том, что в провинции жрать нечего. Мы на письмеце Влачкова остановились. Я вижу, что даже вам не по себе стало при чтении перечня чудовищных карательных дел этого верного ленинца-сталинца!

Письмо это без особых сложностей попало в мои руки. Недели две Влачков ходил тише воды, ниже травы, не

стрелял в тире, не пил, не устраивал бардаков. Купил на собственные сбережения инструменты для духового оркестра и преподнес их детдомовцам — детям врагов народа. Ну, и дули детишки несчастные «если завтра война», «вместо сердца пламенный мотор», «и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить»...

И захожу я однажды к Влачкову прямо в обкомовский кабинет. Псы дожидались меня на улице, в «Эмке». Привет, говорю. Надо поболтать и неплохо бы сделать это у вас дома за рюмочкой, да под грибочек... Едем к Влачкову. Едем и напрягаю я весь свой, порядком изощренный к тому времени, умишко, с какой стороны забить мне этого матерого вепря. С какой стороны? Уж больно он неуязвим. А брать его пора. Пора! Не то поздно будет, переждет, падаль, пока ежовщина стихнет и сам еще порубает вокруг себя всех явных и скрытых врагов. И меня задеть сможет. Брать его, суку, надо, брать!..

По дороге болтаем о боях в Испании, о зверствах фашистов в Германии, об ужасах концлагерной жизни арестованных в Берлине товарищей, о стахановском движении и так далее. Приезжаем. Псам незаметно приказываю вызвать двадцать рыл из спецхраны, оцепить дом, никого не впускать и не выпускать.

Сидим. Пьем. Закусываем. Продолжаем болтать, но и он, Влачков, чую я, в страшном напряге, и сам я никак не додумуюсь, как мне его получше схватить. Не вписывается Влачков ни в один сюжет. Не влазит — и все. И вдруг меня, совершенно как писателя, осеняет вдохновение и является образ Дела. Кого-то, говорю, напоминает мне ваша трубка. Бледнеет Влачков и, чего уж я, откровенно говоря, не ожидал, раскалывается от полноты скопившегося за две недели страха. Да, признается, пошутил я однажды на пикнике в заповеднике, что очень смахивает моя трубочка на лицо Феликса Эдмундовича. Понимаю, говорю, что не было у вас никакой задней мысли, но шутили вы зря. Этим воспользовался Понятьев. Донос его дошел до Ежова и возвратился к нам с печальной визой. Расследовать и наказать виновных. Официально, говорит Влачков, я никогда в этом не признаюсь. Это было бы равносильно подписанию себе сурового приговора. Все свидетели того шутивного и безобидного разговора, кроме Понятьева, расстреляны как враги народа, каковыми очевидно они и являлись на самом деле, а против Понятьева я и сам кое-что имею. Раз он для спасения своей шкуры решил меня заложить, то я его заложу десять раз! Двадцать! Сто раз заложу! Сволочь!

Вот это везуха поперла, думаю. Вот это везуха!

А вот скажите, говорю Влачкову, с большим намеком на

возможность беспринципной защиты, не упоминал ли как-нибудь по пьянке Понятьев, как он вместе с Лениным участвовал на первом субботнике? Подумайте. Не рассказывал ли Понятьев, как он и еще несколько чекистов, переодетых в рабочих, несли вместе с Лениным бревно? Вспомните. Ведь недавно на допросе один из горе-энтузиастов коммунистического труда сознался, что по заданию эсеров они свалили всю тяжесть того бревна на больное плечо Ильича, и это обострило течение болезни мозга вождя.

— Ну, сволочи! Ну, гаденыши! Они не дремали! Я готов подтвердить признание эсеровской мрази, — говорит Влачков, — и вспоминаю, как в двадцать третьем Понятьев с ухмылкой сказал нам: Ильич долго не протянет. Пишите, товарищ Шибанов!

Целые сутки записывал я «свидетельские показания» Влачкова по будущему делу вашего папеньки.

А теперь, говорю Влачкову на вторые сутки нашей с ним беседы, ответьте откровенно: считаете ли вы действительно похожей харю Асмодея, в которую набиваете голландский табачок, на лицо Дзержинского, железного нашего Феликса.

Да, отвечает, считаю, но это, разумеется, между нами, и попыхивает своей трубочкой. Трубка, кстати, старой работы, поэтому ни о каком заведомом издевательстве над рыцарем революции не может быть и речи. Абсурд это, говорит Влачков, и никогда я не подтверждаю своих тогдашних случайных слов, а вы, товарищ Шибанов, если поможете мне выкрутиться из подлой истории, я вас, даю слово коммуниста, сделаю начгоротдела НКВД.

Нет, говорю, вы со смыслом отметили необыкновенное, дьявольское сходство Дзержинского с Мефистофелем и должны в этом сознаться. Ничего вам за это не будет, потому что я квалифицирую вашу аналогию как в высшей степени воинствующе атеистическую. Да! Вы считали Дзержинского Красным Дьяволом, то есть борцом с Богом, и не случайно назвали юнцов нового типа «Красными дьяволятами». Ведь не случайно? И тогда естественно и логично будет объявить доносчика Понятьева скрытым врагом атеизма, не признающим богоборческой миссии нашего ленинского ЧЕКА. А Ленин, между прочим, больше смахивает на Асмодея, чем Дзержинский, тем более Сталин курит трубку. Чуете, куда я гну?

В общем, запудрил я Влачкову мозги окончательно, распустил он нюни, подписал все, что я накатал на десяти страницах, и тогда, не сумев побороть гадливость и ненависть, я взял его рыло в свою руку, как брал я ваше, гражданин Гуров, и привел к сущностному виду.

Мразь, кричу, гнида! Пятая колонна! Шакал троцкизма! Нувориш! На каждом шагу подсираешь Сталину! Фашист! На колени!

Ну, каково душевное состояние подследственного, чья рожа попала в мою лапу, вам известно, гражданин Гуров. То же самое испытал и Влачков. Бухается мне в ноги. Прижался щекой к голенищу, воет прямо, не плачет, а воет: спасите, Шибанов, спасите, все ваше, все отдам, спасите, рядовым социализм строить буду!

Врешь, говорю, пропадлина зиновьевская и каменевская сука! Давно за тобой наблюдаю. Ты в партию пробрался для личного обогащения! Социализм для тебя, бухаринская сикопрыга, лучший способ обворовывания аристократии, рабочего класса и крестьянства! Ты дошел до крайнего цинизма, куря трубку, символизирующую черепа товарищей Ленина и Дзержинского одновременно! Ты, гаденыш, как бы намекал этим, что наши идеи — дым. Дым! Дым! Признавайся, где у тебя притырена трубка с лицом товарища Сталина? Ты почему переобал всю городскую комсомольскую организацию? Ты что этим хотел сказать? Мерзкое насекомое! Встать! У меня на голенищах соль от твоих поганых слез выступила! Встать!..

Это я не вам, гражданин Гуров. Сидите... Шагом марш — в тир! Идем с Влачковым в тир. Вернее, иду я, а он ползет за мной на карачках и воет: спасите, товарищ Шибанов, спасите!

Приходим в тир. Снимаю, говорю, паскуда рыковская, портреты классиков марксизма-ленинизма и ставь к стенке. Ставит беспрекословно. Полную наблюдаю в этом огромном и сильном еще звере атрофию воли и отсутствие инстинкта сопротивления. Поэтому спокойно даю ему его же боевую винтовку, патроны и команду... (в тир, надо сказать, и из тира ни один звук с воли не долетал) и команду: по основоположникам научного коммунизма Марксу-Энгельсу — пли! Смотрю: по дырочке появилось в марксовой бороде и в энгельсовом лбу... По вождю мирового пролетариата Ленину, целясь в правый глаз, пли! В левый — пли! По гениальному продолжателю дела Ленина, по лучшему другу детей врагов народа, дорогому и любимому товарищу Сталину — пли!.. Встать! Встает Влачков. Я, говорит вдруг совершенно по-стариковски, одного теперь прошу у вас, товарищ Шибанов: скажите мне, что происходит, что? Человеческий мозг понять этого не в силах!

Отвечу, говорю, обязательно, но сначала подпишите вот этот протокол допроса. Заполню я его завтра сам. Вы только подпишитесь вот здесь и здесь. Расписывается. Руки дрожат, хотя целился, тухлая крыса, в своих милых классиков и рука его не дрогнула, тварь. Еще раз напялил я

ему скальп на лоб и вдавил глаза в глазницы. Затем увожу во внутреннюю мою тюрьму. Назавтра же пускаю по городу слух, что взят Влачков с поличным, когда курил табак из черепа Ленина-Дзержинского и пьяный стрелял в тире по всем вождям, тренируя глаз и руку для будущих покушений.

Дело его оформляю артистически. Докладываю о нем самому Ежову и прошу разрешения закравшуюся в обком сволоту расстрелять лично. Получаю карт-бланш. Прихожу к Влачкову в камеру... Вам не надоело слушать?.. Прихожу и говорю, желали вы узнать, что происходит. Происходит, говорю, возмездие. Всего-навсего. Я — граф Монте-Кристо из деревни Одинок Шилковского района. Помните, как жгли вы ее с Понятьевым? Помните, как стреляли в лоб безоружным кулакам? Помните, как сложили трупы в поле, чтобы волкотня обглодала их? Помните? Я, говорю, сын Ивана Абрамыча, который письмо Сталину относил, а ответ от Понятьева получил. Помните? Вот взгляните теперь на ваше письмо. Видите? Это я сталинским почерком вынес вам приговор. «Расстрелять, как бешеную собаку, не избавившуюся от головокружения от успехов. И. Сталин».

Не буду скрывать, гражданин Гуров, стоял я тогда в камере и распирало меня от кайфа замастыренной мести, распирало, и с наслаждением, испытывая чувство освобождения от тоски и гадливости, глядел я на крысу, потерявшую от страха человеческий облик. Да! Крысу! Крысу! Крысу! И вы — крыса! И папенька ваш был крысой! Помолчите, Гуров, не выводите меня из себя!..

Но это, говорю, еще не все. Кроме возмездия происходит реставрация демократии в России. ВКП(б) распущена. Земля отдана крестьянам. Рабочие будут участвовать в распределении прибылей. Интеллигенции гарантирована свобода творчества. Мир ожидает вспышка русского ренессанса. Сталин избран президентом страны и приглашен на совещание большой четверки, где красной заразе будет объявлена тотальная война! Доходит это до вас?

Удар я, сам того не сознавая, нанес этим бредом самый страшный, попавший в самую жилку влачковской жизни. К тому же в камеру с улицы доносились веселые вопли пьяных от пропаганды энтузиастов, у которых « за столом никто не лишний», когда «просыпается с рассветом вся советская земля» и лучше которых не умеет смеяться и любить никто на белом свете.

Слышите, говорю, как ликуют широкие массы?

И он поверил! Он поверил, гражданин Гуров! Он поверил, и это было самое ужасное в той истории, в том коротеньком эпизоде из моей долгой и кровавой деятель-

ности. Он снова бухнулся мне в ноги, он слизывал с головок моих шевровых сапог, отличные были сапоги, городскую грязь и блевотину, он клялся, что давно почувствовал порочную природу большевизма и того, что большевистские лидеры, вопреки законам логики, экономики и просто очевидности называют социализмом. Он давно почувствовал это, он ужасался, не раз ужасался в душе тому, что происходит, тому, как разрушается сложившаяся веками структура человеческих отношений, как насильно уничтожаются все связи людей с родовыми материальными и культурными ценностями. Он ужасался, но ужас души относил к слабости своей веры в историческую необходимость происходящего, где лишняя тыщонка жизней, не поддающиеся учету страдания и беды — дерьмо и мелочишка по сравнению с кушем, который предстоит сорвать коммунистам с банка истории. Он верил, видите ли, он слепо верил, и вера его сучья, несмотря на «ряд решительных сомнений», одержала верх над ревмя ревушей от перекромсанной «энтузиастами» действительности, которая, падла такая, плевала на усилия «энтузиастов» и старалась, старалась слабеющими руками засунуть обратно во вспоротый живот выпущенные внутренности, бедное сердце, нежную печень, несчастные свои кишки, отбитые почки... И вот теперь, товарищ, простите, гражданин следовательно, вы не можете, не можете не поверить мне, что я предчувствовал, пред-чув-ство-вал события, происходящие за окнами моей тюрьмы. Спасите меня! У меня есть опыт! Я знаю, кого карать, я буду карать беспощадно и последним покараю себя, но сниму перед заслуженной смертью хотя бы часть вины с коварно обманутой временем души! Вы думаете, спрашивает мерзавец и садист, мне хотелось расстреливать работающих и зажиточных крестьян? Думаете, я теперь не сожалею, что вел себя не лучшим образом в том эпизоде, забыл, простите, название вашей деревни? Спасите меня! Спасите, простите и позвольте задать два или три вопроса?

Задавай, говорю, мразь.

Значит, Сталин все эти годы воплощал в жизнь свою гениальную стратегическую идею? Значит, он изнутри подрывал объективно порочное учение Маркса, развитое в одной отдельно взятой стране Лениным? Значит, жертвы, которые принесло доблестное дворянство, интеллигенция, аграрии, генералитет, офицерство и пролетариат, были не напрасны?

Напрасны, говорю, были жертвы, содрогнувшись оттого, что держат Россию в руках, как урки камеру, ублюдки вроде валяющегося у меня в ногах.

Почему, удивляется, жертвы напрасны, если в конце концов здравый смысл победил объективно антинародное прожектерство органически чуждого даже мне большевизма?

Со мной, гражданин Гуров, хотите верьте, хотите нет, произошла в тот момент странная херовина. Та точная и безжалостная шутка насчет реставрации сместила и в моей собственной башке какие-то шарики, зашел у меня гипофиз за гипоталамус и, обезумев на некоторое время, считал я Россию внезапно реставрированную и очистившуюся от дьявольщины, сущей реальностью, данной мне, как толкуют лекторы, в ощущении.

Да, говорю я иссопливившемуся и изрыдавшемуся Влачкову, напрасны были жертвы гражданской войны, разрухи, голодухи, раскулачивания. Напрасны. Их могло не быть. Могло их не быть. Вот в чем дело. Их могло не быть, если бы десяток-другой вождей, заразивших таких, как ты, бешенством, разбудивших в таких, как ты, социальную зависть и вздремнувшую было страсть убивать, оправдавших и снабдивших вдобавок всех вас совершенными приборами самооправдания, если бы, повторяю, десяток-другой вождей, очумелых от обольстительной идеи, здоровые силы общества вовремя изолировали бы к ебени матери, как убийц и безумцев, то и не было бы принесено никаких напрасных жертв народами Российской империи. Царство небесное жертвам, царство небесное...

Вы совершенно правы, Боже мой, как вы правы, говорит эта гадина, а в душе моей разливается мир, печаль разливается светлая в забывшейся душе моей, слава тебе Господи, всё позади, еще один кусок Дороги вымощен трупами, может, последний он, Господи, помахали, говорю, сабельками, позагнажи штыков под ребра, перевыполнили, говорю, вы норму по выпусканию накопленной за долгие нелегкие века здоровой народной кровушки, мужицкой красной и дворянской голубой! Хватит, говорю, гражданин Влачков, погужевались вы за двадцать лет достаточно! Икры пожрали из царских сервизов, фазанов пощипали, белой рыбкой на золотых подносах побаловались, хватит! Стыдно и подло, говорю, слезами и кровью напрасных жертв платить за бульканье в завистливом желудке. Стыдно бабенок своих одевать в сдрюченные с дворяночек и купчих горностаи! Стыдно ездить со шлюхой вдвоем в отдельном спецвагоне в спецсанаторий имени Ленина закрытого типа. Больше, говорю, не вызовешь ты, козел вонючий, девчоночек из основанной тобой балетной школы имени Крупской на загородную виллу. Не вызовешь, сволочь. У тебя, достойного отпрыска знаменитого разночинца Влачкова от злобучей нигилистки Блохиной конфискуется все имущество, бесценные коллекции монет, оружия, пропуска в столовую ЦК ВКП(б), особняк, две дачи, свора борзых, драгоценности, мотоциклы, автомобиль «Паккард», скаковая кобыла Марлэна от Маркса и Энгельсины, севрский

фарфор, трофейные персидские ковры узбекских басмачей, платиновые челюсти еврейских банкиров, панагия Гермогена, импрессионисты, нонконформисты, кольцо княгини Белобородовой, библиотека Милюкова, микроскоп Карла Линнея, телескоп Джордано Бруно, яхта «Машенька П», конфискуется у вас личный кинозал, скрипка Гварнери, посмертные маски Пушкина, Бетховена, Николая Островского, семена лотоса, иконы, прялки, самоцветы с церковной утвари, офорты Рембрандта, жирандоли, секретер графа Воронцова, гобелены, английское серебро — все у вас конфискуется, гражданин Гуров, к ебени бабушке, и этому ли вас учили господин Маркс со скромным товарищем Лениным?

Извините, гражданин Гуров, что по запарке перепутал вас с Влачковым, а часть его награбленных ценностей с вашими. Извините...

Но я, говорит, можно сказать, сохранил все это, кроме пропусков в столовую ВКП(б), для народа, тогда как масса сокровищ сожжена и погибла, масса продана Лениным-Сталиным, да, я могу это утверждать, Сталиным за границу! Если он теперь президент демократической республики России, то пусть тоже несет ответственность за участие в чудовищном эксперименте и сокрытии своего стратегического плана реставрации капитализма от крупных партийных работников. Если, вопит, Влачков, судят меня, то пусть судят и Сталина проклятого, и Кагановича, и Молотова, и всех, всех, всех буденных бандитов! Я берусь помочь вам, гражданин следователь, вскрыть все злодеяния нашей партверхушки, берусь!

Не нужно, говорю, обойдемся. Промышленность наша — говно, сельское хозяйство чахоточное, но органы наши самые лучшие в мире. Обойдемся, разберемся, кому сопли утрем, кому свинца в зад вольем, пробку из-под шампанского вставим и вприсядку плясать заставим!

Буквально в каком-то помрачении обрисовал я Влачкову, которому почему-то твердо обещал в те минуты сохранить жизнь, административно-хозяйственное устройство матушки-России, пережившей ужасы марксистского эксперимента. Мы, говорю, объявим всему миру о его успешном окончании, то есть, поясню, о том, что двадцатилетними опытами полностью доказана морально-экономическая порочность якобы диктатуры пролетариата, а также закономерность разрушения производственных отношений и уродливости развития производительных сил при так называемом социализме. Объявим, говорю, совершенно уже обалдевая, еще об одной классической закономерности — закономерности возникновения на месте законной власти, свергнутой не без помощи части населения, введенного в заблуждение кучкой фанатиков, авантюристов и урок, власти новой, советской власти, служащей

мощным орудием подавления и уничтожения всех свобод, всего народа, включая ту его часть, которая, дура глупая, под балдой сивушной отдала свою законную, свою несовершенную, свою временами мудацкую, глупую, слабую, беззаботную, гулявую, но все-таки свою законную власть в руки влачковских жестоких, жадных, похотливых, ленивых урок!

Вы, говорю, понимаете, что вы и ваша свора вплоть до инструктора райкома — урки? Понимаете? Понимаете, что вы выводили народ на общие работы, наблюдали за ним, погоняли, предписывали, выжимали силы и соки, хлестали нагайками, когда он не соответствовал вашим представлениям о трудовых темпах, затыкали протестующие глотки пряниками, кляпами, позором, пулями, отвлекали подавленных рабов от их собственных человеческих и социальных интересов ужасными сказками о вредителях, диверсантах, саботажниках, троцкистах, инженерах, военных, чемберленах и о безоблачном небе Испании, понимаете?

Понимаю, говорит, и приветствую. Что, спрашиваю, приветствуете? Демократическую республику Россию во главе с великим Сталиным. Сталин, говорю, теперь президент и поэтому никак не может быть великим. Со временем он тоже ответит за злоупотребления служебным положением. Это правильно, говорит Влачков, наглей и оживая, это демократично! Отвечать надо всем! Голосую обеими руками! Но как нам теперь быть, с позволения сказать, с товарищами Марксом, Энгельсом, с Лениным, наконец?

Тут я, гражданин Гуров, безумно захохотал, задохнулся от хохота, снимая, очевидно, перманентные стрессы, как теперь говорят, и чуть было, кретин, не погубил себя. Забылся, заелся иными словами, и весело хохоча и заикаясь, начал пороть Влачкову всякую херню насчет Маркса, который отныне на портретах будет выглядеть выбритым и подстриженным наголо, как зэк, насчет Энгельса и Всероссийского общества лжеученых, названных его именем, и насчет Ленина, которого уже вчерне решено перезахоронить на Хайгетском кладбище рядом с Марксом. Об этом ведутся переговоры с мэром Лондона.

Влачков тоже захихикал, залыбился, а что, говорит, с мавзолеем сделаем? Мавзолей, отвечаю, теперь называется «Застывшая музыка № 1». Там будет репетировать джаз Утесова, веселые ребята...

Вот тут-то в камеру вваливается мой коллега Круминьш, который у Шекспира воровал сюжеты для своих дел, видит следователя и приговоренного к высшей мере хохочущими и говорит, глядя подозрительно, что это у нас тут за вакханалия и не поехал ли я случайно от служебных перегрузок?

Нет, говорю, моментально очухиваясь, все в порядке,

просто прибеж к небольшой психологической экзекуции. Уделывай его быстрее, говорит ворчливо Круминьш, там стол царский накрыт. Тебя все ждут! Какого черта?

Как царский стол? Как царский стол?.. Как царский стол?.. Бормотал, белея и пятась от меня в угол, Вlachков. Он сжался от жути, и было мне страшно, что такое громадное тело на моих глазах сокращается до ничтожества, словно хочет оно стать недостижимой для пули, мечущейся в пространстве точкой. Забился в угол, дальше некуда. Иду на него, пистолет доставая, досылаю на ходу патрон в патронник, вот они, падаль, последние на твоём подлом веку звуки: клацканье стали, подковок моих звон по мертвому бетону.

Как так царский стол? Как так царский стол?

Залазит Вlachков от меня в парашу. Зловонная жижа полилась через край... Как царский стол?

А вот, говорю, как: в Екатеринбурге подставной был царь расстрелян, с подставной семьей. Царь же батюшка в Кремле истопником работал и въезжает сегодня в наш город на белом коне, а обыватель, забывший «Боже, царя храни!», горланит поэтому «Мы покоряем пространство и время». Для тебя же, говорю, убийца, вор и блядь, сейчас кончится и то, и другое.

И вот тут спокойно и с безмерной тоской, чувствуя неотвратимость изгнания из бытия и поэтому истерически спеша, снова задал мне Вlachков вопрос, который потом не раз вырывался передо мной из мерзких и чистейших, из бездушных и божественных, из твердых и побелевших от ужаса уст: но что же происходит?.. Что?.. Ведь человеческий мозг не в силах понять происходящее!

Мой батя, Иван Абрамыч, говорю на ухо Вlachкову, чуть не блюю от зловония, но боюсь, чтобы меня не подслушали, батя мой родной Иван Абрамыч тоже не в силах был понять происходящее, когда лыбился ты и пьянел от страсти убить и целился в его лоб. Ты целился. И ты вспомни, как стоял он с дружками перед тобой, Понятьевым и всей вашей сворой. Вспомни, сука. Секунду, нет, пять секунд даю тебе на жизнь, но только для этого воспоминания! Вспоминай!.. Вспомнил?.. Батя мой умер как человек и чистым предстал перед Богом. Ты же представь, как через секунду смешается твоя кровь с мокротой, с говном и мочою. Но если суждено тебе увидеть на том свете неродившиеся еще души, то ты им передай от меня пару слов насчет того, как нужно вести себя на Земле, как бережно нужно обращаться со своей и с чужой жизнью, и предупреди, серьезно предупреди, чтобы никогда в будущей жизни не пели неродившиеся еще души дьявольскую песенку «Интернационал».

Я еще что-то, не помню, что именно болтал и вдруг опомнился: я болтал с мертвецом. Пустил, черт побрал, пулю в рот Влачкова, очевидно, где-то между словами «Вспомнил?» и «Батя умер». Вышел я из камеры, сожалея, что из-за моей халатности не передаст Влачков пожеланий неродившимся еще душам и поэтому дал себе железное слово не пускать больше пуль во лбы и рты подследственных, прежде чем не изложу им как следует свою последнюю просьбу. Согласитесь, гражданин Гуров, грех не воспользоваться такой чудесной оказией... А теперь спать... спать... спать...

## 16

Вы, между прочим, очень странно вчера смотрели на меня в конце рассказа, вы словно пытались заглянуть в мои планы относительно вашей персоны. Вас так и тянуло в бездну, куда лично мне, откровенно говоря, сейчас заглядывать неохота... Ничего я не знаю...

Ночью вы пытались пролезть через окно сортира в сад, но получили резиновой микстурой между рог, упали и разбили об толчок колено. Бобо? А ведь я не раз предупреждал: не вертухайтесь... Я также знаю о вашей попытке, выражаясь романтично, подкупить стражу золотом, серебром и брильянтами. Как неглупый человек вы должны отдать должное неподкупности моих гавриков. Выкладывайте, кстати, в связи с этим адресок еще одного тайника. Вот так. Отлично. Какая же вы богатая все-таки скотина. Мультимиллионер! И как чудовищно, по разным, разумеется, причинам, оба мы ненавидим советскую власть. У вас синдром Бендера, у меня — Монте-Кристо. Если бы мы махнулись синдромами не глядя, баш на баш, то я бы знал, что делать со своим. И сейчас знаю. Впрочем, вы тоже знаете.

А знаете, кто притормозил вас, когда вы уж было собрались лет шесть назад в командировку в Штаты?.. Я... Скромно и тихо, без тени торжества повторяю: я. И, конечно, если бы не я, вам удалось бы провезти с собой или переслать с зарубежными гостями вашего зятя, скажем, кольцо княгинюшки Белобородовой. Затем свалить и провести остаток дней в Голландии. Так примерно рисовалось вам ваше будущее? Я уж не говорю о 28-летней бело-розовой, как топленое молоко моей бабки Анфисы, голландке, которую вы забрызгали бы своей грязной спермой и произвели на свет пяток мальчуганов с тухлыми генами, абсолютно лишними и ненужными славному голландскому народу...

В круиз средиземноморский не пустил вас тоже я. Да! Угадали! Торжественно открыть в Индии мясокомбинат тоже

никак не мог я вам позволить. Я пас вас, теленочек вы мой, пас и не брал только потому, что внутренне не дозрел еще до последнего разговора с вами. Но не раз бросало меня в черный пот от мысли, что вдруг каким-нибудь странным образом из-за советского распиздяйства, недогляда, случайности наконец, удастся вам намылиться из пределов обворованного Отечества, а мне утречком сообщают эту новость, и я глупо раскрываю свою варешку, затем сжимаю желваки и, полный мудак, страстно обдумываю, как бы похитрей водворить вас обратно... Ужасно.

А вот понимаете вы, что вполне в моих силах переправить себя, вас и наши камешки через Турцию в ту же Голландию. Давайте попьем кофейку, погрызем греночки, расслабимся, сырны палочки передайте мне, сливки, пожалуйста, и колбаски кусок. Благодарю...

Итак, мы уже там. Сидим в кафе, в душе покой, и невозможно представить более комфортабельного пути к далекой еще смерти. А милые голландцы и не подозревают, что за старички, что за персонажи российской истории, удачно выбравшиеся из ее кровавого, свинцового потока, попивают на их глазах кофеек, и один из них провожает сальными глазами молодые, упругие попки, рвущиеся на волю из джинсов, и спрашивает другого, нежно укывшего в громадной лапе, как в теплом гнезде, беленькую, чтобы она, не дай Бог не остыла, чашечку турецкого кофе, спрашивает, урча от счастливейшего из возможных под луной состояний — стариковской беззаботности: а не сыграть ли нам, гражданин Следователь, в шахматешки-шашечки? И тот, другой, обращающий на себя внимание прохожих-голландцев скучной лошадиной рожей с оловянными глазами, тихо и печально, что никак не вяжется с его внешностью и соответственно изумляя добрейшего официанта, тот другой, горько и задумчиво отвечает: нет, не сыграть, ибо не переплывут через Лету царь с царицей на ладье деревянной в Екатеринбург, не причалит ладья деревянная к стенке, к той самой, с нее не смыло Время мальчишеских буковок «папа + мама = любовь», не пройдут царь с царицей, пропустив впереди себя принцесс и принцев, через смертную стенку обратно в живое бытие и не выронит цесаревич Алеша в проломе стены из сердца пульку, что тогда залетела в него, не нагнется поднять ее и не скажет Алеше царь-батюшка: мы Вас ждем, Алексей!..

.....  
Послушайте, свинья!!! Я просил вас или не просил передать мне кусочек колбаски, сволочь! Просил или не просил? Так какого же хера вы сидите, жрете, пьете, так сказать, а колбасу мне не передаете? Похамить захотелось?.. Я не

изволил психовать! Я не желаю мириться с застольным хамством, сучара гнойная! Ты, я вижу, учишься потихонечку выводить меня из себя? Не выйдет!.. Я сижу чинно и благородно, как в лондонском клубе, беседую с ним мирно о чем-то, вспоминаю, прошу передать мне колбаски, а он, видите ли, в этот момент был от нее черт знает как далеко! Ну, сволочь! Он был далеко от колбасы! От какой колбасы вы были далеко, гражданин Гуров? От «отдельной», «любительской», «языковой», «салями», «сервелата», «московской», «яичной»? Отвечай, падла, не то я тебя... получай, крыса... крыса... крыса... действительно разотру, мешок, набитый подлянкой, ложью, сукровицей, брильянтами, зелеными моими соплями, интернационалом, родной мамой, чужим горем, изумрудами, орденами, родным папой, говном, партбилетом, предательством, мешок, набитый моими яйцами... получай... Я тебе сливок в харю плеснул, оживай, псина, мешок набитый... Ты сам колбаса! Да! Да! Да! Ты не крыса! Ты — колбаса! Колбаса! Колбаса! Разотру тебя, плевок на текинском ковре! Кол-ба-са-а!.. Рябов! Быстро врача! Быстро! Мне — стакан валерьянки или пустырника! Битую посуду и жратву уберите отсюда к чертовой матери! Я не хочу есть!..

## 17

Странная вещь, гражданин Гуров! Те три дня, что мы не виделись, я по вас тосковал. О случившемся несколько не жалею, поскольку действительно существуют ситуации, в которых коэффициент контроля над поступками равен нулю. Нулю. А колбаса, что уж тут поделаешь, вывела меня из себя. Как будто кто-то вдруг огулял меня по темечку палкой «полтавской», в глазах поплыло красное облако с белыми точками, похожее на фарш «любительской», и я слегка «поехал» справа налево: вы, даю слово, показались мне... колбасой, набитой чёрт знает чем. Вот вы сейчас подобрались внутренне, замерли и молитесь неизвестно кому, чтобы прошла мимо колбасная гроза, надеетесь, что вспыхнул я исключительно от тяжкой для меня ассоциации с «яичной» колбасой. Неприятный, конечно, момент, неприятный. Но не в нем дело. Просто поражает иногда мозг полная невозможность просечь в один миг абсурдную чудовищность происходящего, если к тому же непонимание момента не может быть компенсировано поступком. Все клапаны закрыты. От вонючего пара помрачается разум. Поясню.

Я ведь часто думал о вашей гениально-хитрой многолетней деятельности, и вдруг одновременно с тем, что вообразил вас колбасой, мешком набитым, в башке моей «поехавшей» мелькнул образ народа, жрущего нынешнюю отвра-

тительную колбасу, «отдельную», «чайную», «любительскую», «эстонскую», «ливерную» и так далее. Ведь это не колбасы, а разложившиеся трупы прежних колбас. Я уж не говорю колбас царских, но и довоенных и послевоенных, сталинских. Оговоримся сразу, и вы не станете возражать, что эту псевдоколбасу жрет к тому же не весь народ. Жрут ее прибалты, хохлы, кавказцы, столичные обыватели, ленинградцы, реже жители городов-героев вроде Тулы и спецы из военных поселений закрытого типа... Год назад мне положили на стол данные экспертизы нескольких сортов вареных и полукопченых колбас, выпущенных в свет тридцатью мясокомбинатами. И чего только в колбасе этой нету? И крахмал, и жилы, превращенные новым, благословленным вами лично, гражданин Гуров, технологическим процессом в кашу, и конина, и китовина морская, и шпик подошедших свиней и прочая мерзость, происхождение которой не смогли определить специалисты, а ее спектральный анализ привел в замешательство выдавших виды ядерных физиков. Даже туалетную бумагу, поскольку она отлично ассимилируется с фаршем и увеличивает задарма товарный вес, ухитряются нафуговать в колбасу наши славные работники пищевой промышленности. Скоро в Киеве будет процесс по этому делу. Вы, между прочим, после нашей беседы наговорите на пленку о технических подробностях крупнейших махинаций последнего времени. Непременно — фамилии главных мафиозо, не директоров мясокомбинатов, Простите, не понял... Да. Конечно. Фамилии, которые вам даже «произнести страшно», пожалуйста, на отдельную бумаженцию. Только не думайте, что я удивлюсь. Мне, извините за нескромность, известны о бытовой жизни наших лидеров, их баб и деток такие подробности, что сообщу я о них, и у мирового коммунистического движения волосы на лобке станут дыбом. Разумеется, не от стыда за коллег, а от неосторожности их и глупости. Знакомый один генерал сболтнул мне, что то ли Гесс Холл, то ли глава сирийских коммунистов умолили Косыгина закрыть продуктовые магазины «Березка», эти оазисы в мертвой пустыне, где ключом била жизнь из свежайшей вырезки, из говяжьих языков, из ветчинки, со среза которой стекала чистая слеза, где щеко-тал ноздри душок копченых колбасин, а очищенная трижды водяра была чудесна!

Понимаю, Вас, конечно же, должна удивлять моя озабоченность вшивой социальной жизнью народа и мое негодование по поводу мурлыкающего в прижизненном коммунизме начальства. Да! Негодую, как экзальтированный гимназист! Негодую, потому что... сколько можно лгать?! Потому что во мне орет не советский прирученный либерал, поглощающий за сытным завтраком самиздат, а крестьянин во мне

орет, гены орут крестьянские, хотя пашу я не один десяток лет не на земле, а в проклятых органах. Пашу, пашу, пашу, отлавливаю и казню сучару всякую, от красных безумных фанатиков до такого ворья и вредителя, как вы, гражданин Гуров... Молчать! Раз я говорю, что вы вредитель, значит, я знаю, что я говорю, и отвечаю за свои слова перед совестью и народом! Он, видите ли, не вредитель. Нет, это ты бытовой вредитель, а не расстрелянная троцкистско-зиновьевская шобла!

Понял, убийца матери собственной и предатель родного отца? Одна шестая часть света, как говорят шакалы-урки, девятый член без соли доедает и с утра до вечера, с утра до вечера, брызгая драгоценными калориями и получая взамен эрзац, пашет, сеет, жнет, плавит, выдает на гора, следует почину, возводит, перекрывает, запускает, выполняет, добивается, внедряет, экономит, сдает в срок, посвящает шестидесятилетию миллионный метр ткани, спускает на воду, охваченная небывалым трудовым подъемом, закладывает, и не надо, гражданин Гуров, делать кислую рожицу, давая мне понять, что у вас зубы скулят от оскомины, набитой этой отвратительной фразеологией. Итак: одна шестая часть света ишачит, спины не разгибая и якобы создавая материальную базу коммунизма, в который сама не верит, а такие падлы, как вы, вводят в желудок строителей коммунизма сивуху, квашеную капусту, хлеб, картошку, сало, мороженую рыбу, макароны, крайне редко мерзлое мясо и прочую небывалую и невиданную в мире колбасу.

А недавно один цекист из отдела пропаганды зазвал меня на пьянку. Премию он получил за удачную фразеологическую находку. «Последнему юбилейному, — или ударному году, черт его знает, — пятилетки достойный финиш», а может, «СССР — страна развитого социализма». Точно не помню. Что-то в этом роде. Рад как ребенок. Лично Суслов пожал ему руку и сказал: такие лозунги работают на нас, как заводы. Огромная в них заключена энергия. Спасибо!

Ну, крупный фразеолог и закатил мощную пьянь. На даче, разумеется. Не вас мне удивлять тем закусоном и выпивоном. Гвоздем пьяни был теленок, начиненный поросенком, а в поросенке растлевались, томилась и млели фазанчики, и все это было прошпиговано заморскими пряностями, кавказскими травками, орехами, бананами, косточками гранатов и прочими радостями жизни нашего крупного демагога-фразеолога. Ел я, пил, тупо представлял репортаж об этой пирушке, показанный по вонючей программе «Время» и мысленно задавал вопрос милым диссидентам, и мужам, и мальчикам: что же вы, дорогие, всё толкуете о свободе слова, передвижения, печати, вероисповедания, психушках, геноциде,

а о здоровье народа недоговариваете?

Да, гражданин Гуров, меня беспокоит здоровье народа, меня волнует, что он жрет и что он пьет, потому что в отличие от вас, козла, я, несмотря на свое палачество, вырождение и, возможно, безумие, остаюсь сыном своего покойного отца Ивана Абрамыча! А он года за два, за три до начала порабощения крестьянства говорил деревенским мужикам так: раз, братцы, земля теперь наша, то мы и ответствуем за нее перед Богом и людьми. Мы ихние кормильцы. Пушай они там соображают свои железки, по небу летают, ток посылают в провода, музыку толкают на расстояние, под водой гуляют и на звезды зарятся, а нам их кормить, чтоб пупок завинчен был крепко, чтобы кровь в них играла взамен потраченной, чтоб баб своих сытых и белых они жарили в охотку и детишков русских и прочих рожали германцу на зависть. Вот как дело обстоит. Ежели кто мироедствовать зачнет, мы ему скажем: не наживи килу, мудило! Не по артельному поступаешь, не дери с города три шкуры, не обгладывай его мослы, пушай и он жиреет. А нам само собой перепадет от завода железок и моторов. Голыми грапками мы с вами теперь Россию не прокормим и здоровье народу не обеспечим...

Вот как говорил Иван Абрамыч... и он прокормил бы Россию! Прокормил бы!.. Да плевать мне в конце концов, иной раз думаю, чем кормят свой народ абсолютно не подотчетные ему вожди, если сам народ безропотно сожрал и продолжает жрать такую тухлую и похабно-лживую пропаганду, что даже мои сверхсекретные эксперты и спецы по психологии масс не в силах объяснить этот феномен. Всё! Больше о колбасе ни слова. Миллионы, нажитые на ней, выйдут вам боком, гражданин Гуров, хотя и погужеваться успели вы на своем веку как следует. Погулял Красный дьяволенок по российскому буфету, хрен ли говорить. Завтра мы, пожалуй, отдохнем и двинемся дальше... И не прячьте улыбочку злорадную, не прячьте! Думаете, я не секу, чему вы в эту секунду улыбаетесь? Вспоминаете, сучка, как сидел я верхом на мерзлой колодине? Да? Полагаете, что беспокоят меня не здоровье народа и похабная гастрономическая изолированность вождей от масс, а кое-что иное? Говорите уж. Я даже соглашусь с некоторыми оговорками, что сосиски и колбасы — это фаллические образы моего ущербного подсознания. Против психоанализа не попрешь, как заявил мне на допросе молодой кровосмеситель. Можете похихикать. Плевать!

Вы ведь ушли тогда из Одиноки строем и с песнями, наглядевшись в свои двенадцать лет на смерть врагов, наглотавшись пролитой крови, закалив сердчишки зрелищем чужого страдания. Папы подарили вам, щенкам, возможность безнаказанно развязать и отправить живущий почти в каждом инстинкт жестокости. Ушли вы, падлы смрадные, на штык — флажки, как пелось в вашей песне, а нас бросили, псы, в сани, и родные наши осиротевшие лошадки затрусил к детдому... К детдому... Вот воспоминание, от которого еще промозглей чувствую я вечную мерзлоту в промежностях.

Не перебивайте меня, однако, и перестаньте делать идиотские заявления насчет вашей полной непричастности к произволу вырождков, а также извращения чистых идей маньяками. Не про-хан-же! Не раз я слышал это тупое утверждение, что, дескать, хороша была идея, а вот исполнение херовато... Я не желаю сейчас дискутировать с вами! Не может не быть заложенной в гены идеи вся выплеснутая потом отвратина, всё то, что вы пытаетесь считать «перерожденческими явлениями», все следствия, которым вы решительно отказываете в кровном родстве с породившими их причинами... Идея, видите ли, была хороша, а исполнение херовато! И слова-то какое нашли! «Исполнение». Исполнение — это по-нашенски, по-чекистски: казнь! Вашими устами, гражданин Гуров, говорит если не сам Асмодей, то один из его пропагандистов — фразеологов. «Исполнение!» Да! Хороша была идея Сатаны! Хороша! Лучше идеи, чем коммунистическая, не было у Дьявола с сотворения мира. Не было, сучий его род! С исполнением же, действительно, вышла у Черта осечка, именно в России, несмотря даже на то, что Бесы взяли-таки здесь власть в свои руки. Наверно, был у Дьявола момент, когда показалось ему, что «исполнение» идет нормально, что вот-вот содрогнутся Душа Личности и Душа Народа и, омертвев, полетят в тартарары. Палачи обрубали уже вроде бы все корни, связывавшие Души с истинным Бытием. Родовые — подняв Брата на Брата, Отца на Сына, Сына на Отца. Духовные — разрушив Храм, где душа причащалась к чувству Бесконечности, и надругавшись над его служителями. Культурные — облевав наследие, традиции, в общем, выстроенный за века Дом, и объявив заодно задачей искусства служение «народу». Тому самому народу, который по прикидкам Дьявола уже бездушен в полном смысле этого слова, отторгнут наконец от Бога, и можно любоваться до конца времен, как артистически реализует человек ничем не сдерживаемые силы Зла. То, что раньше, в двадцатых и тридцатых годах, гражданин Гуров, называли энту-

зиязмом, которым проникнулись Красные дьяволята, вроде вас, было на самом деле разлившимся в людях чувством удачи самого Сатаны, его вдохновением, самодовольством и пьянью победы.

Был у Дьявола Асмодеича миг, когда показалось ему, что вот оно, елки зеленые, удастся вроде бы соблазнить одну шестую часть света! Хана! Штурмуем, бля, небеса! Держись, Творец, хотя, возможно, никакой ты не Творец, а просто у меня, у бедного Дьявола, большое воображение, мания преследования и комплекс неполноценности. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!

Один только миг радовался Сатана, и вдруг приуныл, ибо не такой он кретин, чтобы не чувствовать напрасности в конечном счете своих усилий и несокрушимость Творца на Земле и в людях. В очередной раз приуныл после очередной блистательной стратегической операции Дьявол, но взбодрил себя, перенимая постепенно у людей чудесный дар не падать Духом даже перед лицом неминуемой гибели. Взбодрил и решил, что одним махом, как в октябре 1917, ему с Творцом не разделаться. Перманентность побед — вот что мне необходимо, вот что в конце концов утвердит царство мое на этой проклятой планете, подумал Асмодей. За работу, товарищи! Не поддавайтесь на отчаянные провокации Божественного начала! Советская демократия — высший тип демократии! Наше правосудие самое справедливое в мире! Да здравствуют народно-освободительные движения! Мы придем к победе коммунистического труда! Будущее не за горами! Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, сухой мне быть, товарищи, век свободы не видать, продадим родине дополнительно 100000 тонн зерна, не то пасть порву!

Короче говоря, Сатана чувствует, чувствует даже в такой начисто подавленной и отлученной от всех свобод массе советских людей, людей нового типа, глухое сопротивление своим наваждениям, очищение и освобождение от них то одной, то другой, то третьей, то сотой, то пятитысячной личности. Ужасает и бросает Асмодея в уныние существование Душ, выстоявших в эти годы, подчас перед лицом смерти, но не тронутых адской скверной. А обрубленные родовые и духовные культурные корни снова прорастают, хоть и тычутся иногда в полной темени в разные стороны, как бледные голоски на клубнях подпольной картошки. И уж, выйдя из подполья на свет Божий, растут и сил набираются. С корнями социальными, гражданин Гуров, дело обстоит потуже. О них у нас будет особый разговор... Что же мы наблюдаем, бегло взглянув на шар земной глазами Дьявола? Много сделано и делается уже на одной шестой части света. Успешно, но не так, как хотелось бы, разви-

ваются метастазы советского фашизма. Урки-террористы гуляют по буфету.

Наконец-то цивилизация, которую Сатана пестует не один десяток веков и все сбивает, сбивает, сволочь, с правильного пути, так же как свою любимую служанку науку, стала приносить чертиле плоды. Померкшие небеса. Реки, выблевающие в моря и океаны дерьмо и непроваренную жратву Молоха. Близки к завершению два капитальных труда Асмодея — Красная и Зеленая Книги. Вещи ведут необъявленную тотальную войну с человеком, занимая Время и Пространство существования. В плен уже взяты сотни миллионов людских душ. Кто не с нами, тот против нас! Метет и жутко завывает белая метелица наркомании. Сатана безумно ревнует человека к Образам Божественного мира и уводит его от них, отлучает от них, искажает их и радуется, подсунув разуму вместо естественных и прекрасных — образы безумия и разлуки. И продолжает совершенствовать оружие массового уничтожения Душ. Вот погодите, падлы, думает, наверно, Верховный Урка всех времен и народов, изведу я, изведу я ваши Души все до одной, а с Телами у меня, бля буду, затруднений не предвидится. Все у меня готово для последнего решительного боя, для уничтожения жизни на Земле, сначала человеческой, потом звериной, птичьей, растительной, рыбьей, амебной и так далее! Я, пусть меня фрайер на шашлык посадит, не угомонюсь до тех пор, пока последнего вируса не приделаю к ногтю на вашей планетке!

Так что, как видите, гражданин Гуров, много Сатаной сделано и делается уже. Но все равно у него ничего не выйдет, *ибо жаждет он погубить Всех, а Творец хочет спасти Каждого.*

Не выпучивайте на меня свои фары. Я в своем уме, а вот мысли я беспорядочно излагал не свои. Пришлось недавно допрашивать одного диссидента. Молодой человек. Православный. Бросил физмат университета. От религии пришел к беспокойству насчет прав человека.

Сами понимаете, официально согласиться с ним я не мог. Интересно было болтать с тем молодым человеком, интересно! Он словно прочитал, змей, мои собственные наблюдения и мысли! Предупредил я его, что посажу, если не прекратит антисоветской деятельности. В гробу, говорит, видел я ваши угрозы... Расстались мирно. Еле я удержался, чтобы, впад в патологическую сентиментальность, не чуждую нам — палачам, не пожать его руку и не выпить чернила допросов на брудершафт... Чистая и твердая Душа. Не то, что у нас с вами... Вы не забывайте моего вопросика, есть сна вообще у вас или нет?.. Предполагал, что и меня

вы однажды спросите об этом. Предполагал... Отвечаю: не знаю. Точней ответить сейчас не могу. Это — самый точный, уверяю вас, ответ. Вижу по вашей блядской усмешке, что после хитро-мудрых логических и химических операций, проделанных с совестью или с тем, что вами за нее принимается, вы предполагаете в себе наличие Души. Предполагайте. На Страшном Суде, однако, разберутся. Там не пересылка, как говорят урки, там сука за вора не прохлянет вовек... А я про себя ничего не знаю. Я — палач. Я — урод. Я — шестерка проклятой мною власти. Я — говно!.. Прости меня, отец, Иван Абрамыч!

## 19

Да! Я — говно, а не граф Монте-Кристо, гражданин Гуров! Знаете, где мне, трудновоспитуемому и считавшемуся полоумным бесенку попалась в руки эта великая книжка?..

Вы угадали. Угадать несложно. Да. В детдоме для мальчиков — детей кулаков и врагов народа имени... против фашизма... Я не шучу. Именно так он и назывался. «Детдом имени против фашизма». ДИПФ. Вот это был грязный дневной зверинец и подлый ночной террариум!.. Ря-ябов! Коньяку, я сказал! У меня вечная мерзлота в промежностях! А ну-ка, Рука, смир-рно! Сесть!.. Смиррно!.. Сесть!.. Вокруг стола — шагом а-арш!.. Сесть! Не обращайтесь внимания, гражданин Гуров, я расслабляюсь. Память моя стала такой спертой, вобрала в себя столько ужаса, вони, абсурда, грязи, лжи, фантазмагорий и подлятины, что теперь, гужуясь впервые за полвека, выкидывает со мной жуткие коленца... Мне страшно... Страшно!.. Нет, не просто «становится прошлое близким» по вашему идиотскому выражению. Меня волокет холодным магнитом туда... в Одиноку... на печь... на мерзлую колодину... в сани... в детдом, и я как бы оказываюсь там, начинаю задыхаться, как во сне, и нет сил проснуться, не выдержит сердце, рехнусь, второй раз это пережить невозможно... Зверинец... Террариум... Рябов, где ты?.. Имени против фашизма!

Все там было. Утром чай, днем баян, вечером собрание... Там чаще били, чем кормили, а кормили тем, чем били. Били же чем попало. Монстры-перевоспитатели полагали, что только с помощью боли физической и унижения, про душу они тоже не забывали, может быть вполне осуществлен контакт непонятно зачем оставленных в живых выродков с первой в мире советской действительностью, где никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но и актив имелся в детдоме имени против фашизма.

Шли в него смекнувшие, что лучше самим бить, чем быть битыми. Они и колотили нас и за себя, и за перевоспитателей. Колотили за все: за не тот жест, не ту улыбку, не то прилежание, не тот труд, не тот аппетит, не те настроения, не те мысли, не то прошлое и так далее. Если повода не находилось, его выдумывали, сочиняли, заставляли расколотся и, конечно же, кандей казался расколовшимся раем по сравнению с процедурой дознания...

По утрунке нас выстраивали перед портретами Ленина и Сталина. Зарядка, затем пение одной, двух любимых песен Ильича, затем дрова, затем полмиски шелюмки, приборка и политграмота. На уроке слабые, битые, но поумневшие звереныши тискали доносы. Донос считался легким симптомом морального возрождения вражьего выbledка. За него выдавался белый хлеб. Вы бы посмотрели, гражданин Гуров, как интеллигентные дети инженеров, врачей, эсеров, дворян, священнослужителей, бывших помещиков, фабрикантов, литераторов, не выдержав голодухи, хамского насилия и унижений, превращались в волчат... Не все, конечно, не все, далеко не все, теплились во многих души, сопротивлялись распаду, одни смиренно, другие яростно... Были побеги, удавки, толченое стекло, саморубы, уксусная эссенция, кипяток на руки, голодовки — все было в детдоме имени против фашизма, как потом было то же самое, но еще страшнее в лагерях... Пожалуй, я начинаю надираться. На сегодня хватит...

Ночной, подлый террариум... По ночам активисты бежали по спальням со стоячими. Им хотелось ласки, и бледные, бедные лысенские мальчики с черными кругами под глазами, за конфетку, за кусок сала, за хлеб или просто так, от страха, схватившего за горло, подставляли несчастные попки молодым козлам... Потом кто разворачался, кто падал, кто вешался, кто тихо плакал... Рябов! Рябов! Подай мне сюда... слезинку, так сказать, ребенка... отставить... виноват... подай мне сюда Карла Энгельса, Владимира Сталина... Максима Крррупскую ты мне сюда подай! Пода-а-ай, говорю-ю!.. Они видели, все они видели... с портретов... и зеркало русской революции там висело... Волоки их, Рябов, не-мед-лен-но! Я их тыкну, тыкну... Перовскую... Желябова тоже волоки... всех тыкну бородами, усами, носами, очками, мордами, умными лбами в несчастные попки мальчиков... тыкну, тыкну в первую сперму молодых козлов... тыкну, сука, тыкну в слезинку... Всё... Всё... Спасибо, гражданин Гуров... Это — последняя рюмка...

Ко мне тоже однажды сунулся один хмырина. Стишки, сволочь, писал под Маяковского. Я вот этой рукой взял его за хер, вывел немедленно из спальни и кулачищем врезал по темечку. Я так в деревне, бывало, баранов заби-

вал. Силен был не по годам. Врезал, а он — брык с копыт, и до утра провалялся. На мое счастье отшиб я ему тем ударом память. Всё начисто забыл, падлюка, даже «бурямглоу-небокроя», «Интернационал», «Распорядок дня и ночи ДИПФ» и кто автор «Детской болезни левизны».

Пойдемте... прогуляемся... искупнемся... немедленно... и поблаженствуем... на вашем пляже... Рябов! Идем купаться. Прими меры. И чтобы никаких эксцессов, гражданин Гуров, попыток рвануть в Турцию и прочее. Руки за спину! Режим тюремный... Пошли на прогулку! Разговорчики!.. Я вам, гниды, закурю! Закурите с Троцким на разводе! Вихри враждебные веют над нами... За-апевай!..

## 20

Море!.. Море, гражданин Гуров! Вон маменьки и папеньки с детишками. Камешки звякают... Стюдень плавает. Медузы я люблю. Ведь они тоже, так сказать, что-то чувствуют... Эту вот объективную реальность, данную им, по словам Ульянова, в о-щу-ще-ни-и! А может, медузы чувствуют всего один какой-нибудь слог из этого слова? Например: «ще». Или «щу». Лично я чувю «ни». Вы мне отвратительны! Я надрался. Я желаю заявить протест! Слушайте! Я нырнул сейчас и почувствовал себя сиротой... Сироткой... Вы — негодяй! Вы маму собственную убили, вместо того, своей рукой, чтобы лежать с ней вот тут на пляже!.. Цыц! Отвечай мне, как на плахе, достоин ты самой страшной казни и, главное, предсмертных... как я мог про это забыть!.. мук, мук, мук, за убийство родной маменьки? Учти! У тебя есть один шанс облегчить свою участь. Один! Говори правду, блядища поганая, только правду, со дна того места, где была душа. Не может там ничего не остаться! Не может! Выкорябывай!.. Рябов! Боржомчика!.. Доставай муть последнего осадка!.. Говори! Что ты чувствуешь?.. Я ведь урок видел, убийц, с горою трупов на совести, но было в них на молекулку людского, было! А в тебе есть? Ты медуза? Я против тебя про-тес-ту-ю! Выкорябывай, что в тебе осталось! Доставай!.. Молчишь, проститутка!.. Может, тебе память отшибло?.. Не исключено?.. Я в таком случае вызову завтра одного бандита из Института Психиатрии, доктора наук, он тебе с ходу память восстановит! Не про-хан-же!.. Никто не забыт, век свободы не видать, ничто не забыто! Формуляры хранить вечно!.. Ты вспомнишь даже, что говорил бабушке в интимный момент дедушка. Ты понимаешь возможности нашей славной психиатрии, идущей рука об руку с органами госбезопасности и ВЭДЭ... в последний и-и-и решительный бой, сучий потрох! Понимаешь? Лучше вспоминай то, что

было, советую от души! Или же придется вспомнить то, чего не было дано в ощу-ще-ни-и.

Меня интересуют... странно... трезвею... два момента, или один из двух. Первый момент: что ты чувствуешь в связи с маменькой, что чувствовал и так далее. Но только не темнить! Только не раскидывать чернуху! Правду! Самую страшную, но правду! Харкайте кровью, препарируйте себя без наркоза, это — ваше дело. Приложите к устам зеркальце русской революции. Запотело?

Второй момент: если ничего вы действительно не чувствуете в связи с маменькой, то, будьте любезны, объясните мне чудесное и гениальное устройство механизма постепенного вытеснения из памяти таких ужасных нечеловеческих вещей, как убийство маменьки. А может быть, это настолько сверхъестественный факт, что память... или совесть, как хотите это называйте... вообще категорически отказывается принимать его в свои вонючие анналы?.. Ах, я неправильно ставлю вопрос и тем самым лишаю вас возможности подойти с какого-либо боку к объективной правде. Так, так. А я ебал «объективную правду». Я выписываю и получаю «Субъективную»! И ты мне ее выдавай! А не то я прикажу Рябову вбить тебе в глотку и в жопу по медузе — сразу заговоришь!.. Я, видите ли, неправильно ставлю вопрос. Теоретик хуев! Ты мне скажи: жалко тебе маменьку или не жалко? Было тебе невыносимо жить или не было, хотя мысли залезть в петлю ни ты в себе, ни я в тебе предположить не можем... Ну, падлюка, ну, свинья краснодьявольская! Выворачиваешься ты, как глиста, выведенная на чистую воду. Повыворачивайся. Ты кому хочешь доказать, что вина твоя сомнительна, и в худшем случае она не прямая, а исключительно косвенная? Себе или мне? И если косвенная, то речь уже пойдет не о механизме вытеснения вины, а о процессе самоуспокоения и самооправдания? Вы этого хотите, гражданин Гуров?..

Но я видывал позиционных игроков почище вас. Не одну ночь, не один день сживал я, бывало, ломая голову и нервишки, наступая, отступая, комбинируя, выигрывая, проигрывая, и я понимаю, что вы не расколаетесь, пока вас не припрут коленом к стенке... Вот сейчас, не хитря, я даю вам слово палача: если вы, как на духу, расскажете мне о своих эмоциях, уясните: эмоциях, а не о бурных или медленных химических процессах, происходивших в вашей памяти, в совести, в мозгу, я повторяю, даю вам честное слово палача, оставляю вас наедине с вашей маменькой и больше никогда не заикнусь об этом деле... Отказываетесь. Понимаю. Насильно и никакими посулами я не заставлю вас раскрыть передо мной душу. А вдруг у тебя ее нет?

Волк! Глиста! Крыса! Одевайся, сволочь! С папенькой твоим мне меньше пришлось возиться и открылся он в конце концов, а ты выкручиваешься перед самим собой!.. Пошли!.. Если ты продал душу Дьяволу за уверенность в том, что нет твоей прямой вины в смерти маменьки, то я тебя сейчас достану, сучка, достану! Я эксгумирую на твоих глазах то, что ты воровато закопал в памяти или в совести... плевать, мне все равно!

## 21

Где моя папочка?.. Вот моя папочка!.. Читайте свое заявление в партком института, гражданин Гуров, об отказе от отца. Читайте. Я совсем отрезвел, читайте... Оживает память? Лепечет гунявая совесть: агу-агу?.. Папеньку ведь тоже вы погубили вот этим своим патетическим письмом. Как прекрасно оно сохранилось! Ни червячка, ни запашка, ни трупных пятен, ни тленья, и течет, чуется, течет по синеньким, венозным закорючкам вашего почерка чернильно-крово-говенная кровь отцеубийства. А у вас самого сосудики уже не те, сердце сдает, черты лица благодаря мне соответствуют, наконец, вашей внутренней сущности, легкий циррозик от вечного коньячка, естественная смерть взяла уже в кассе предварительной продажи билетик для встречи с вами, но вам безумно хочется жить и почти невозможно примириться с тем, что письмо это переживет вас... Правда?

Вы тогда думали — участь папеньки предreshена, видели — пустеют партхоромы в вашем доме и соответственно редуют ряды дружков и подружек на лекциях в институте. Это заметал Сеньор Арест Ежович товарищей с семьями. Начали с царя-батюшки и вот возвращалось к ним их же чудовищное злодейство с кривой ухмылкой на бандитской харе... Тут-то вы и просекли в один миг, как показалось вам, происходящее и вправду сорвали куш: спасение и карьеру. Не без помощи, заметим, случайности.

Да... случайности... случайности... Ласточки-случайности... Пожалуй, думаю я сейчас, нет на белом свете вещицы волшебней и замечательней! Может быть, и не вещицы вовсе, а... существа, хоть и не плотского, не духовного, но существа! Существа! Оно настолько мало, что мы не можем предвосхитить ни времени его появления, ни точки приземления на зелененькой полянке Судьбы. А вы знаете, что так называемая «чистая случайность» принципиально не может быть ни замечена, ни осознана? Сама она уже принесла счастье, горе, удачу, смерть, славу, нищету и слиняла, и за нее человек в ста процентах из ста принимает тающий на глазах огненный прочерк — след движенья, — соединивший

настоящее с будущим или возвращающий прошлое, как в случае с вами; гражданин Гуров, в настоящее. Бывает еще предчувствие прилета случайности — наитие, но причину его самовлюбленный, хамоватый человеческий разум относит к своим гениальным способностям, а не к самому существованию случайности, едва-едва тронувшей светом или тенью, это зависит от направления ее движения, кончики наших нервов, верхушки травинки на полянке судьбы.

Но кто? В каком году? На каком допросе? В связи с каким делом развивались передо мной эти мысли о случайности? Вот сумасшествие — от невозможности вспомнить!

А вы на самом деле не жить безумно хотите, а все забыть, забыть, забыть! И вам удавалось и удастся принимать страстное желание всезабвенья за безумную жажду жизни... Но кто же все-таки изволил философствовать насчет случайности? Прах сонма подследственных моих сгнил, лиц их не восстановить в памяти, протоколы допросов размыты дождями дней и мокрым снегом долгих лет, а мысли ихние всплывают вдруг, оживают, раскрываются, как водяные лилии, помимо моей воли и шевелят мой язык и снова тонут в гадостном омуте моего существованья. Сука вы, гражданин Гуров! Ведь вы не знали точно: возьмут вашего папеньку или оставят, положение у него тогда было прочнее, чем у остальных. Однако, решив не рисковать, на всякий, так сказать, случай, и почувствовав к тому же отцовское смятение, тиснули вы это письмецо. Соображали, в общем, вы правильно. После ареста цена отреченью от отца была бы грошовой, если не никакой. Но до ареста такое блядство котировалось бы высоко. Высоко!.. И вот, когда ваша маменька, горько пошутив, собрала папеньке, так многие тогда делали, корзинку с белишком, куревом, колбаской и хлебушком, вы поняли: пришла пора!..

Вы прелестно мне подыграли, потому что спешили. Мне нелегко было подкопаться под Понятьева, несмотря на кучу доносов и готовые сценарии его дела, сочиненные мной в тиши ночей. Нелегко. Крепко сидел ваш папенька в партийном кресле. От прошлых заслуг лопалось его пузо, перетянутое старинным грузинским ремешком, подарочком Сталина. Член ЦК. Шеф различных обществ, один из отцов Нового Крепостного строя. Демагог. Начетчик. Рысь битая, циничная и подлая.

Запоздалое вам спасибо, гражданин Гуров, милый сынуля нового типа. Спасибо.

Ах, вы понимали, что участь отца в любом случае решена и защитили свою судьбу и карьеру единственным из имевшихся тогда способов...

Нет! Ни черта не знали вы об участи папеньки. Ни

черта не знали и о колуне, занесенном мною над его хребтиной. Не всех же бесов мы тогда отловили и пошмалляли. Многие до сих пор гремят костями к светлому будущему. Могла коса гульнуть мимо папеньки. Просто вы подстраховались. Вас учили всю вашу жизнь харкать на мораль традиционную и буржуазную, вот вы и сдали на «отлично» экзамен по морали советской... Полагаю, события развивались следующим образом. Папенька с маменькой, чтобы снять тревогу и развлечься, слиняли на охоту в Новый заповедник, а вы, загнанный страхом за собственную шкуру, звякнули к нам в управление. Так, мол, и так, эсерская пакость собралась в своем логове. Не дремлите, товарищи! Звонили анонимно. После звонка вы выступили на общем партсобрании, где и зачитали свое гнусное отречение, подчеркнув, что делаете это тогда, когда скрытый враг, гражданин Понячев, еще находится на свободе.

— Павлик Морозов жив, дорогие товарищи, он подросток. Он вырос, он бдителен, как никогда, он вооружен учением, перед которым не устоит любой чуждый социализму человек, кем бы он ни был! Имя Павлика — комсомол!..

Без капли застенчивости запели вы «Интернационал», вас тут же усыновила сорокапятилетняя Скотникова — садистка и стукачка, а я получил, наконец, в свои руки убийцу отца и матери. Спасибо вам!

Ну, как состояние? Уверенное или мутит?.. Тоскливо? Безмятежно? Что-нибудь дрогнуло в вас? Что-нибудь в душе шевельнулось? Может быть, в психике таких людей, как вы, отделяется один возраст от другого по мере движения к смерти, вроде ступеней громадной ракеты, и детство, юность, зрелость сгорают так бесследно, словно их вообще не существовало? Или они существуют в памяти абсолютно изолированно друг от друга и от вашего сегодняшнего «я»?

Не желаете говорить на эту тему? Ну, и хер с вами! Тогда давайте обедать. К папеньке мы еще вернемся. После обеда займемся маменькой... Завтра в двадцать ноль-ноль состоится ваш разговор с Парижем, с мадам Гуровой. Зять с дочерью тоже там? Молодцы! Славно гуляете по буфету! Лазурный берег... Косметическая клиника в Бордо. Я бы вашей супруге натянул на зажравшуюся харю морщины вот этой рукою быстрее и почище тамошних шарлатанов... Кое-какой текст разговора выдаст вам Рябов... Мелькнула мыслишка проорать что-нибудь в трубку? Нет? Не верю. Или вы уже так подавлены, что всё — до лампочки? Тоже нет? Значит, тогда вы уверены в не-про-хан-же любого хулиганства. Угадал? То-то! Поэтому не пытайтесь хипежить. Рябов осерчает и переломает вам пару ребер. Это ни к чему... Пусть ваши родственнички спокойно и бессовестно отдыхают

в капиталистическом аду от нашего советского рая. Им продлят визу. Культобмен с Францией только выиграет от этого, а мы тут еще позанимаемся, поглядим программу «Время», понаблюдаем, как мчится страна к своему шестидесятилетию. У вас когда день рождения? Прошел? Жаль. У меня же ровнехонько седьмого ноября. Отметим его непременно. Я угощаю.

## 22

А помните, как отдали вы приказ перебить перед уходом из Одиноки всех наших кошек и собак? Да, да! Лично вы. Вы ведь командовали дьяволятами, вы и приказ, естественно, отдали. Не я же и не Бухарин его отдавали. Ворошиловские стрелки! Пах! Пах!.. Пах! Мя-яу... Ав-ав-ав!.. Ах, вы этого тоже не помните и призываете, впервые за всю нашу беседу, на помощь свидетелей. Кис, кис, кис! Хороший кот! Но я сиамцев не люблю. Трильби! Трильби! Ко мне. Этих я тоже не люблю. Я люблю замызганных Васек, Мурок, вечнобрешущих Шавок, Кабздохов, Пиратов и Жучек. Перебили вы их, перебили... Предполагаете, что это могло быть сделано исключительно из «гуманных» соображений? Для животного домашнего, по-вашему, лучше смерть, чем бездомность?.. Так, так...

То есть, как это вы требуете прокурора по надзору? Вы что, очумели? Может, жалобу в ЦК желаете тиснуть?.. Не про-хан-же! Я — ваш прокурор! Я ваш Брежнев, Громыко и прочее политбюро!.. Не валяйте дурака и поймите, пожалуйста, сводить вас с ума я не собираюсь... Неужели так трудно понять, что я болтать хочу, болтать, отпустить язык на волю без конвоя, пусть себе мелет что угодно? Я же вслух говорю то, что думаю, первый раз в жизни, сука вы эдакая!

После того письмаца и партсобрания папеньку я вашего спокойно сгрел, и он сполна получил за все, сполна. Так мне, во всяком случае, тогда казалось. Маменьку я брать не стал. Она была славная, несчастная, верная и неповинная в преступлениях и делах своего мужика женщина. Она не отреклась от него, таскала передачи, писала письма Сталину и поседела, сдав сразу лет на двадцать от вашего, гражданин Гуров, гнойного предательства. Не тронул я ее, но папенька ваш думал, что жена его блядь. Он слышал инсценированные мной пьяные вопли на чекистских борделях. Он получал состряпанные моими мошенниками письма якобы от супруги, с проклятьями и чудовищными откровениями типа «ты никогда не удовлетворял меня, но я ради партии поддерживала в тебе иллюзии того, что ты прекрасный муж-

чина. Ты — дрянь! А вот твой следователь — романтик наших органов и чувств...» Грубо, конечно, глупо, не талантливо, но ведь и я тогда щенком был двадцатилетним, трясущимся и безумствующим от скрежета в душе комплекса графа Монте-Кристо. Мне все равно было, как и чем достать вашего папеньку. Главное — достать! И я доставал. Я его так достал, что... Впрочем, речь о том деле — впереди.

## 23

Граф Монте-Кристо... Все же какая-то падла стукнула, что это я промеж рог врезал возбужденному первой половой грохотухой активисту. Кандей. Семь суток... Хотя, нет! Не будем уходить от вашей маменьки, гражданин Гуров!..

Она бродила, бывало, по ночам под окнами Управления, дожидаясь меня, бросалась в ноги, умоляла разрешить разделить судьбу мужа, помочь ему строить социализм в любых, даже каторжных условиях, ибо дело не в условиях, а в практическом соответствии нашим идеалам... Графу Монте-Кристо из НКВД не удалось спасти вашу матушку от высылки. От казни удалось. Я подсунул одному вепрю в удобный момент шедевр моих фармазонов: ужасное, подлейшее заявление с понтом, как говорят урки, от бывшей жены врага народа Понятьева. Этого было достаточно. Караганда... Болезнь. Голодуха. Безысходность. Это чувство, между прочим, в те годы саранчовой тучею закрыло небо над одной шестой частью света. И сквозь саранчу пробивались к полюсу полярники, самолетики пробивались через нее в Америку, и дура ёбаная Америка подставляла им ладошки, разевала рот от великодушного восторга и джентльменской зависти к загадочной стране, не успевшей вычесать вшей из буйных чубов и снять лапти, а уже покоряющей пространство и время пламенным, установленным Сталиным вместо сердца, мотором.

Не замечали ни Мир, ни молодые энтузиасты вроде вас, ни вечно остающийся на свободе обыватель, ни Ромен Горький, ни Лион Толстой, ни Бернард Шоухов того, что самолетики, забрызганные саранчовой плотью тоски, летают на крови и серебрятся их крылышки втертым в дюраль серым веществом, добытым нашими славными чекистами из раздробленных черепов невинных жертв Террора Эдмундыча Ежова. Я повторяю: невинных жертв... Папеньку вашего к таковым не отношу, гражданин Гуров. Он и ему подобные получили от своих питомцев все, что сами заложили в код их поведения и морали.

Одна шестая часть света походила тогда на тюремную камеру, на территорию лагпункта, на бараки, где разверну-

лась отчаянная рубка сталинскими суками ленинских блатных.

Мы еще вернемся, гражданин Гуров, к Террор Эдмундичу, к его метафизической подоплеке, если, разумеется, такая существует, но не могу не поделиться с вами одним наблюдением. Происходившие целые двадцать лет события так потрясли социальные, культурные и нравственные стереотипы обывателя (к обывателям я отношу простых, как говорится, людей, не являющихся партийными, советскими и прочими функционерами), потрясли так, что обыватель подсознательно следовал здоровому инстинкту, активно включался в уничтожение всяких Шишек и мелкой сошки, воплощавших в его воображении Силы Зла, и, считал свои действия благом, необходимым для очищения атмосферы бытия от удушливых миазмов разлагающегося на глазах Трупa Великой Идеи, слугить которой заставляли насильно.

А знаете, гражданин Гуров, какого самого жирного товарища зайца уделал Иосиф Виссарионович на величайшей охоте всех времен и народов? Посадил на руководящие посты и способных и тупых оглоедов и вросли они в кресла, и внушилась им мысль, что крах власти это — их смерть, крах ихней привилегированной жизни, крах светлой беззаботности жenuшек, крах карьеры родственников и детей — новой касты, оградившей себя от глаз посторонних, то есть народа, заборами, секретной системой закрытого питания, снабжения, медобслуживания, отдыха, броневиками, персональными лайнерами, вагонами и т. д.

Да-а. Вот, кажется, еще один гаврик, неизвестно, посаженный или казненный мною, заговорил моими устами. Попадались, попадались мне молодчики, которые на допросах брякали такие вещи, от которых у моих коллег волосы опять же на лобках становились дыбом. А я запоминал, запоминал, хотя иногда мои собственные соображения были намного радикальней и «мракобесней» бесстрашных откровений «врага»... Странно, очень странно, что в память мою врезались лица гавриков ординарных, серых и тупых, а вот Личности, мстительно сводящие меня с ума голосами своими и мыслями, прячутся в подворотнях башки, аукаются, призраки безликие, не потерявшие однако лица перед смертью... Вы не замечали: меняется мой голос, когда я начинаю философствовать, и вы смотрите на меня такими глазами, как будто перед вами не я, а кто-то другой, с замогильной сторонки?.. Тот же, говорите, голос... Странно. Мне он иногда кажется не моим... Ладно. К Террору Ильичу мы еще вернемся...

Болтать с супругой будете приблизительно так: все нормально, здоров, хотя из-за влажности немного гнетет душу. Много читаю. Познакомился с интересным человеком. Часто встре-

чаемся, беседуем, подружались. Судьба частенько сталкивала нас в прошлом, однажды даже виделись. С тех пор прошло немало лет. Вернетесь, познакомлю вас всех с ним... Привезите марочного ликерчика... Как Париж?.. Нет, не скучаю. Сплю неважно. Снятся отец и мать. Сны страшны, как в детстве... Поболтайте там с колдунами, к чему это снятся родители... Будто бы я предал отца, а мать уморил голодной смертью... Ужас!.. Не могу тебе не рассказать... плевать на франки! Неужели я дожил до того, что не могу лишних пару минут потрепаться с Парижем? Так вот: я лежу в ванной с шампанским. В ней плавают лепестки роз. Происходит что-то эротическое с невидимой нимфой, а мимо какие-то Силы, не люди, не конвоиры, именно Силы, ведут мать. Сама она идти не может. Она повисла на чьих-то бесплотных руках. От этого ее поступь кажется бесконечно тяжелой и в то же время совершенно воздушной.

— Васенька, сделай ты мне бутербродик, — просит мать, — я умираю, я ухожу, Васенька!

И ты веришь, Эля, онемели от шипучих пузырьков, онемели руки, и нимфа, сволочь, к тому же мешает. Вот и всё... А отец так ужасно снится, что я лакаю седуксен. Ну, будет. Привет вам от моего приятеля. Целую. До встречи... Да! Забыл сказать! Еще мне снится дурацкая фраза: «А что сказал дедушка в интимный момент бабушке?» Я напрягаю все свои силы, чтобы услышать ответ, но не слышу и в страхе просыпаюсь... Только не беспокойтесь... Стрессики во сне весьма полезны. Психика наша как бы репетирует очередную встречу с собачьим бредом бытия, тренируется, набирается сил. Без этого мы сходили бы на каждом шагу с ума!.. Целую!

Ясен вам ваш телефонный разговор, гражданин Гуров?.. Эй!.. Не вздумай, скот, врезать дуба! Такой легкой смерти ты не заработал своей поганой жизнью! Рябов!.. Реаниматоров сюда! Хватит козла забивать и медсестер харить! Живо!.. Видишь, он шнифты под люстру закатил. Душу из всех выну вот этой рукою!.. Гуров! Сволочь! За что мне такое наказание послано... приникать... своими губами к твоему... плюгавому рту, падаль слабонервная, и вдыхать воздух своей жизни... в помойку твоего нутра... проститутка!.. Дыши, не то я пулю себе в лоб пуцую!.. Ря-бов!

## 24

Вы напрасно думаете, что я вчера перепугался. Нисколько, гражданин Гуров. У вас был не сердечный приступ, а странный обморок. Отключка. Чего-то ведь и вы, оказывается, вынести не в силах. А пугаться я не пугал-

ся. Ну, сдохли и сдохли, не успев краем глаза взглянуть на мстительный оскал монте-кристовского хлебала... Лучше ответьте, сами-то вы как? Рады возвращению на белый свет? Не лгите. Не верю... Вы не то что удручены, вы счастливы, вы сейчас от каждого мгновения пригубливаете по глоточку и рады бы растянуть их подольше, тайком от меня. Угадал?.. То-то! Благодарю за признание. Это по-игровому, по-мужски! Будем считать, что маленькую партишечку я сейчас у вас выиграл. А вот за всю жизнь отыгаться мне не суждено. Относительно этого я не заблуждаюсь.

Ночью я ни хрена не дрых и, знаете, чем занимался?.. Камешки ваши перебирал. Пересыпал из одной лапы в другую, свечи зажег, жирандоли подвинул поближе, промыли мои глаза хрустальные лучики, и я даже не узнал их, глянув на себя в зеркало. Изумительное, надо сказать, зеркало. Французской, очевидно, революции, не иначе... Перстни на пальцы натянул, сапфировой брошью футболку украсил — чистый граф... Хожу себе по вашим коврам и чувствую, что чистойшей любовью люблю прекрасные вещицы, не ставшие хуже оттого, что заляпаны они подлятиной и кровью, проходя по одному делу с таким говном, как вы.

А пару жемчужин, розовую и черную, я узнал. Представьте себе, узнал! Но мне совершенно неинтересно, как они к вам попали из Влачковского сундучка. Этим вопросом мы заниматься не будем... Кажется, мы остановились на том, что меня кинули в трюм за покушение на жизнь активиста?.. Нет! Мы остановились на вашей маменьке. Представляете, с каким адом в душе жила она до своей голодной смерти? Где моя папочка? Вот моя папочка! И вот еще два ваших письма. Два за семь лет! Вы просите не писать вам, так как работаете на номерном заводе... Сообщаете, что уходите на фронт. Номерной завод на самом деле был мясокомбинатом. Вы — главный инженер. Это начало вашей коммерческой деятельности. Изобретение добавок к фаршам сосисок и колбас... Подбор кадров для реализации левого товара и излишков. Вы правильно поняли лозунг Сталина «Кадры решают все». Кадры — это члены шайки. И вы их подобрали лучше, чем Сталин. Вас никто ни разу за три десятка лет не заложил и не продал... Не могли же вы писать обо всем этом маменьке...

Ни на каком фронте вы тоже не были. В годы войны, имея купленный белый билет... Только не дергайтесь. Доктор Клонский, заделавший вам его за пятьдесят тысяч рэ и пару американских патефонов, жив. Вот дневник, который он втихаря вел все эти годы по старой интеллигентской привычке. Почитайте, с какой гадливостью он описал ваш визит к себе и свое согласие на сделку... Но это не важно. В годы войны, перейдя в Главк, вы назначили свои кадры

директорами Мясокомбинатов. В те времена за кружок «Кр-ковской» можно было получить Левитана, Кандинского, Сомова... Над камином, простите, Сомов висит? Ах, это Сислей. Чудесный пейзаж. За кило шпика — рублевскую икону получить было можно. То, что люди становятся дешовками, а настоящие вещи все дорожают и дорожают, вы просекли вовремя и железно...

В общем, достаточно было одного вашего звонка какому-нибудь карагандинскому жулику, скупавшему за бесценок по вашему указанию драгоценные вещички у эвакуированных аристократов и наследников большевистских мародеров, и маменька ваша была бы спасена от болезни и голодной смерти. Вы уморили мать, боясь родства, которое уже похерили с концами, боясь суда материнской совести и прочих дел, связанных с возвращением матери из ссылки. Бумаги ее, целая пачка ответов из канцелярий Калинина, Сталина, Молотова и три ваших письма много лет хранились у соседей. Царство ей небесное... Не одна она писала тогда письма и просьбы о помиловании своим палачам. Крупный урка уверял меня, что в облгородах все такие письма собирают в кипы, грузят в вагоны, затем составляют спецэшелон. Приходит состав на Казанский, скажем, вокзал. Встречает его Калинин. Ручкой машет. Ковыляет с палочкой по перрону. Затем вынимает мелок из кармана и пишет на красной дощатке вагонов, доверху набитых воплями, жалобами и слезными просьбами: «Отказать»... «Отказать»... «Отказать»... Эшелон гроыхает обратно. А Калинин ковыляет пешочком в Кремль обедать со Сталиным... Козел глухонемой!..

Вот как уморили вы родную маменьку, гражданин Гуров, и теперь из последнего возраста своей жизни, возвращаясь мысленно в юность, чувствуете вы свою вину или считаете ее виной того свирепо-жадного на жизнь и уже принохавшегося к чужой и родной крови молодого человека — Понятева-Гурова?

Кстати, за искренний ответ я готов платить, причем щедро... Интересуют меня не мысли, а исключительно чувства, ну, а если формулировать точнее, то душевные реакции «человека нового типа» на разрушение нормальных отношений к ценностям. Разве маменька с папенькой не ценности? Разве не поменяли бы в сей миг жемчуга, камешки, картины, все эти столики, пуфики, хрустали, офорты, фарфор и ночной горшок Барклай-де Толля, проданный вам домработницей Бухарина, на ужин в скромном материнском доме и беседу с папаней о коварном Египте, обосравшем верный и безумно щедрый Советский Союз?..

Вы правы: неумный это разговор. Какие уж тут обмены, если теперь для вас слово «маменька» не имеет ни смысла, ни запаха, ни тепла. Вроде бы даже и не было вовсе маменьки вашей на белом свете, а произвели вас на тот же белый свет тайком от Ленина Луначарский и Крупская... Допускаю, что шестидесятилетнему человеку органически ближе мысли о смерти, чем о матери. Меня, повторяю, интересуют душевные реакции на разрушение нормативных отношений к ценностям, но не сегодняшние, а сорокалетней давности. Я плачу. Назначайте цену... Я должен гарантировать безопасность и социальное благополучие вашей дочери? Я правильно понял?.. На зятя же вам плевать?.. Впрочем, это не мое дело... Идет. Гарантирую... Честное слово палача — лучшая гарантия... Впридачу вы хотите трое суток отдыха для размышлений и сортировки воспоминаний? Торговаться начали?.. Согласен. Размышляйте. Сор-ти-руйте. Могли бы найти слово поинтеллигентней. Козел!

## 25

Я тоже немного отдохнул за эти дни. Покупался. В саду нашем повозился. Имущество получше рассмотрел. Все-таки оно теперь мое. Я сказочно богат. Но что мне делать с этими сокровищами? Разыскать по-монте-крстовски родственников старушочек, бабёночек и старикашек, которые выменивали их на несчастных военных базарах на сало ваше, колбасу, комбижир, легкие, сердце и печень, гражданин Гуров? Разыскать, возратить великодушно фамильные цацки и тайком оставить в совмещенном санузле записку о том, что справедливость восторжествовала?... Всё — говно!.. Садитесь, не мельтешите перед глазами... Бляди тут к вам приезжали. Эмма Ивановна и Роза Моисеевна. На «Вольво» раскатывают, падлюки. Вы что, обеих сразу шворите?.. Не те, говорите, годы?.. Не те... Не те. И нечего мне делать с вашими, пардон, с моими сокровищами... Ну, а что вы, интересно, скажете, ежели услышите сейчас следующее важное сообщение. Делаю я его потому, что время насаждает на хвост. Не можем же мы с вами вечно торчать на этой вилле. Пора грузить мослы в телегу...

Я не чекист, гражданин Гуров!.. Я всего-навсего старый разгонщик Ника Банкир! Да, да! И я славно уделал вас за все ланцы! А разговорчики, антисоветизм, говно, сопли и слезы — необходимый реквизит моей профессии. Полнота информашки о вашей особе и некоторая экстатичность ее подачи — любимые и тоже необходимые моменты игры... Ну, что скажете?..

Заразили вы меня своим хохотом. Давно я так не хохо-

тал... Больше не могу! Да и сами вы ожили и порозовели... Перестаньте! Не впадайте в истерику!.. Я сейчас думаю о том, что надежда имеет непосредственное отношение к бытию души, а не к функционированию разума. Поэтому Надежда безумна. Ее порыв — мгновенный порыв птицы из безнадеги клетки к ебени бабушке в иную реальность. Логики, как таковой, в это мгновение не существует. Она отброшена безумным порывом души, и ваш разум, гражданин Гуров, сейчас будет хлопать ушами, как это он, позорник, проморгал так нелепо и поразительно тупо трепетный взмах крылышек безумной надежды, ибо, помозгуй он логически — хоть одну десятую долю секунды — над смыслом моего сообщения, то собачий его бред был бы так очевиден, что вы только презрительно усмехнулись бы, гражданин Гуров, помозгуй ваш разум хоть одну, хоть сотую долю секунды! Но в том-то и дело, что скорость душевных движений на много порядков выше скорости обработки разумом даже самой дурацкой информации. И пока птичка безумной надежды порхает в иной спасительной реальности, все ваше существо очищается спазмами истерического хохота или рыданий от невыносимых наваждений момента жизни. Я возвращаю, однако, птичку в клетку... Неприятно это. Согласен.

Но если речь шла о душевных движениях, то естественно предположить наличие в вас души или ее остатков. И естественно попытаться пробудить в вас ужас перед чудовищными образами ваших поступков и породившей их идеи. Если же вы ужаснетесь, оглянувшись, и начнете сходить с ума от необратимости времени, невозможности воскресить невинных, обогреть униженных, вернуть здоровье, радость, талант, добро ограбленным, то пошлет вам в сей миг Господь Бог возможность раскаяния, пускай тихого, творимого вдалеке от людей, ибо раскаяние ваше не людям нужно, а душе вашей и спасающему душу в ее последний, быть может, миг существования, Господу Богу. И такое тихое раскаяние — нож острый в спину Дьявола. Ибо, повторяю, гражданин капитан, его задача погубить Всех, в проекте же Творца — спасение Каждого... Вспомнил! Вспомнил я фамилию гаврика, читавшего мне в перерыве между допросами проповеди!.. Вспомнил-таки! Павловский! Священник Павловский! Царство ему небесное!.. И раскаяние только одной души сводит на нет всю гигантскую работу Сатаны, и рвет он от бешенства волосы под мышками и воет на всю поднебесную!..

Вам, гражданин Гуров, до раскаяния, очевидно, далеко. Вы, подобно советской власти, поджав хвост от жалкого страха, чапаете всеми четырьмя лапами вперед, чапаете, и

все равно вам куда: к смерти, к коммунизму — вперед, лишь бы не оглядываться: за спиной гремят костями шкелетины убиенных, кровавые вопят грехи за спиною и попискивают грешки мелкие. Вперед — выкрикивая на ходу заклинание «Никто не забыт, ничто не забыто!». Но заклинания не спасут и не заменят мучительного, но чистого взгляда глаз, отверстых в прошлое, гражданин капитан, пардон, гражданин Гуров. А путей к спасению, как говаривал тот же Павловский, больше, чем трамваев в Москве...

В конце концов, если вы дегенерировали из красного дьяволенка, плетью заставлявшего невинных сверстников орать на морозе «Интернационал», глядя, к тому же, как трупы их родичей складывают в поле для волчьей гужовки, в примитивного ворюгу, насравшего на «светоносные» идеи породившей вас власти, то даже в таком уродливом образе поведения есть животворные дрожжевые грибки спасения человеческого от дьявольского. И ими поражен весь организм советской власти и ее социализма! Весь! Я знаю его, как инфекционист, рентгенолог, хирург и микробиолог. На то я и работник органов!.. Да! Как это ни странно, гражданин Гуров, воровство и коррупция свидетельствуют о неистребимости человеческого инстинкта собственности. Если запрещено под страхом тюрьмы и смерти отправление естественного инстинкта собственности и связанной с этим отправлением спасительной, утверждающей человека в мире и в собственных глазах свободной инициативы, то и инстинкт, и инициатива, как форма его проявления, уходят в подполье, существуя уродливо и недостойно.

Ах, тут вы полностью со мной согласны, гражданин Гуров! Наконец-то!

Значит, все сказанное как бы снимает с вас вину? Позвольте вас спросить: полностью или частично? Может быть, вы осознанно подрывали устои советской власти? Может быть, вы всего-навсего спасали угольки из залитого Асмодеем очага естественной, хоть и не лишенной болезней и несовершенств человеческой деятельности? Чувствуете себя борцом? Что же такое тогда СССР? Добровольное общество борьбы с социализмом? Двести пятьдесят миллионов борцов? И нипочем борцам кодексы, зубастая охрана социалистической собственности и с детства прививаемая к ней любовь! Дьявол Чертилыч, разумеется, успокаивает себя тем, что видимые в совокупности только им большие и мелкие преступления против Заповедей, программирующих жизнь Совести, ежесекундно сталкивают широкие массы с пути истинного на гибельные колдоебины дьявольского бездорожья. Успокаивает себя Сатана! И действительно, куда ни глянь, под показухой всенародного небывалого подъема и монолитного единства партии и народа,

под трудовыми вахтами, под соцсоревнованиями в честь различных химерических праздников идет, по мнению Сатаны, разрушительная работа двухсот пятидесяти миллионов рыл против одной из заповедей — «не воруй». И особенно приятно Сатане, что успешно внедряется в жизнь комплексный метод: своровав, лгут, убивают, лжесвидетельствуют, предают отцов и матерей своих, сотворяя при этом кумиров, и так далее.

Разумеется, спасибо вам за поправку, не все двести пятьдесят миллионов рыл воруют. Многие не воруют, не берут взятку, не преступают. В сопротивлении греху они завоевывают право на самоуважение и суда над ближними, грешившими, прямо скажем, на их глазах. Представьте себя, гражданин Гуров, на месте Сатаны, продравшего гнойные зенки от звуков государственного Гимна в городе Владивостоке, сполоснувшего опухшую, черствую харю в Тихом океане и поканавшего инспектировать одну шестую часть света к берегам Балтики. Вселенский вам привет, товарищи, орет Сатана, цели наши определены, задачи ясны! Вперед к коммунизму! Воруйте! Лгите! Сотворяйте кумиров! Закапывайте в землю проклятую таланты!..

Рад, сучка, но не ведает того, что палка о двух концах! Не ведает, что жизнь — шутивно говоря — есть существование белковых тел, сопротивляющихся коммунистической идее.

Так говаривал один шизой биолог... Шварцман, кажется... Да, Шварцман! Десять лет ему дали и врезал он дуба на Колыме от белковой недостаточности! Перед смертью за последнюю пайку хлеба Шварцман умолил шаромыжку выколоть на его старрой худой груди мысль, за которую он и погорел: **ЖИЗНЬ ЕСТЬ ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ ТЕЛ, СОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕЕ.**

На спине же Шварцман пожелал иметь следующий афоризм: **СМЕРТЬ — ЕСТЬ ФОРМА СОПРОТИВЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ СУЩЕСТВОВАНИЮ БЕЛКОВЫХ ТЕЛ...**

Я вижу, вас заинтересовала судьба биолога Шварцмана, гражданин Гуров?..

Его похоронили. Но какая-то паскуда стукнула оперу, что Шварцман ушел из жизни непокоренным фашистом. Опер решил раздуть огромное дело. Дернул шаромыжку, делавшего Шварцману наколку. Тот уперся, как вол, и стоит на своем: никаких этих слов не колол, ничего не знаю, идите на хуй, а то Сталину напишу, он вас всех, падлы, на шашлык посадит. Опер меж тем арестовал группу лиц, ставивших своей целью захоронение идей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина в вечной мерзлоте Колымы. Дело доходит до меня. Лечу в Магадан. Добираюсь, чуть не подохнув

в метели, до командировки. Допрашиваю шаромыжку. Молчит. Чую: что-то сволочь, скрывает. Пять суток оттаивают эки шизого биолога Шварцмана. Эксгумируем его нетронутое тленьем тело в присутствии представителей крайкома партии, руководителей Дальстроя, двух московских философов и шеренги заключенных. Чисты льдышки последних слезинок в черных яминах безумных глаз мертвеца. На белом лице выражение непреклонной убежденности и снисходительная — в адрес идейных противников — усмешка. И что же я читаю на груди Шварцмана? Лагерную веселую читаю мудрость: ФРАЙЕРОМ РОДИЛСЯ — ФРАЙЕРОМ ПОМРЕШЬ!

На спине несчастного шаромыжка запечатлел свою наивную попытку одолеть сущность теории относительности в невыносимых условиях лагерной жизни: МАМА! ДЕНЬ ТЯНЕТСЯ ДОЛГО, А ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОХОДЯТ БЫСТРО!

Ниже приписал: УЧЕНИЕ МАРКСА ВСЕСИЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО ОНО ВЕРНО!

Дергаю шаромыжку. Ты, что же, говорю, гаденыш, последнюю волю умирающего не исполнил, хлеб даром схавал, фуфло двинул и еще испоганил покойника?

А что я, отвечает, фрайер, что ли, срок себе по пятьдесят восьмой наваривать? Покойник умер довольный, а я помиловку просить буду за увековечиванье слов гражданина Ленина. Знаете, что он просил меня наколоть ужасные вещи? Даже выговорить страшно, не то что колоть!

Тут крайкомовцы начали совещаться и решили, что в таком виде перезахоронение Шварцмана невозможно. Это будет политически неправильно. Вызвали паталогоанатомов. Те удалили со спины покойника ленинский афоризм, и кусочек кожи был послан Сталину к семидесятилетию со дня рождения от имени умерших и раскаявшихся перед смертью врагов лысенковской биологии... Шаромыжку впоследствии досрочно освободили, а на стенах лаборатории, где Шварцман шаманствовал с дрозofiлами, нынче установлена мемориальная доска...

Кис, кис, кис!.. Ишь ты, куда уселась, сиа́мская рожа! Я вот всажу тебе сейчас из своего ласкового «Вальтера» косточку промеж глаз!.. Не верти башкой, мерзкое животное, не мешай, стерва, целиться!.. Успокойтесь, гражданин Гуров. Это я вас пужанул слегка, а вы уж сразу, как Александр Матросов, под пистолет претесь. Может, сами пулю в лоб хотите и — с концами от меня и бессмысленной жизни?.. Тогда садитесь и не питюкайте. Выкладывайте лучше насчет душевных реакций на разрушение нормативных отношений к ценностям. Наш договор остается в силе. Дочь вашу мы не потревожим. Как вещала она для бурлящей Латинской Америки о проблемах коммунистического вос-

питания, так и будет вещать, пока, конечно, латинские страны слушают эту говенную ложь о чистойшей якобы нравственной атмосфере жизни советского общества. Кроме всего прочего, дочь ваша стучит нам, оказывается, со школьной скамьи. Крыса. Настоящая крыса. Ваша плоть, ваши зубки, ваша мертвая серость душонки. Стучит, блядьюга... Молчать! Я повторяю: бля-дю-га, потому что стучит она, как Стаханов в забое, закладывает и анекдотчиков, и сплетников, и тех, кто тряпками фарцует. И ведь никогда ее, паскудину, не расколят сослуживцы, потому что механика функционирования стукачей сейчас у нас совершенна.

Мы изредка дезавуируем подонков, ублюдков или совершенно порядочных людей и убиваем с ходу пару зайцев. Подонки держат себя в рамках, если не катятся в дерьмо, а люди порядочные, узнав, что их считают стукачами, нервничают, умеряют свои либеральные наклонности, некоторые в конце концов перестают доверять сами себе, действительно начинают постукивать, другие, перенервничав, перекомплексовав, перестают осторожничать и исключительно для того, чтобы их не считали стукачами, делают глупости: подписывают письма протеста, распространяют Самиздат, передают содержание Голосов, и тут-то мы их — к ногтю. С работы, от кормушек разных — в жопу, от диссертаций, повышений, допусков к статистике и прочей сверхсекретной документации, от поездок в Соцлаг и в Каплаг, от пирога, короче говоря — ко всем чертям.

Почему, спрашиваете, я говорю «мы выявляем», «мы — к ногтю»? Потому что по долгу службы, по соответствию званию и ролевой установке я ведь все-таки не граф. Я помогаю органам делать всю жизнь как раз то, с чем мне надобно было бы активно бороться и поэтому я дохлое говно, которому нет теперь ни спасенья, ни прощенья.

В общем, дочь ваша будет в порядке... Крыса! Блядьюга! Она еще в либералках, сучка, числится. Во Францию мы ее давеча для понта нашего не пустили, материал зарубили, как якобы недостаточно боевой и бросили временно для пущей маскировки с Латинской Америки на Австралию тискать очерки о моральном облике молодого советского человека — строителя коммунизма. Вот что происходит... Итак, выкладывайте. Слушаю...

Как все оказывается просто! Порожденный истерическим страхом за свою шкуру холодный расчет. Ни отца, ни мать вы в такие моменты не воспринимали как близких по крови, да что уж говорить по крови! Вы не воспринимали их

вообще как людей, как особей, которым дороги и необходимы биологически и воздух свободы, и хлеб с маслом. Вот что такое торжество совершенных принципов коммунистического воспитания, выдуманных Сатаной и воплощенных в жизнь гомункулюсами вроде вас, гражданин Гуров...

Не все, слава Богу, дети предавали родителей, соседей, друзей и близких родственников. Не все. Я понимаю, что вы всего-навсего один из многих. Но все-таки — рекордсмен! Замочить и маменьку, и папеньку — это, согласитесь, и в уленшпигелевские времена считалось мировым рекордом злодейства, штурмовать который не отваживались даже самые низкие души...

Значит: страх, расчет, само мерзкое деяние, после которого не было пути назад, и приспособительная для выживания работа механизма вытеснения из психики импульсов тревоги, боли, сожаления, сострадания и воображения состояний отца и матери. Ну, и время, время, стирающее в памяти и дела, и лица, и дерганье ножками умирающего в последних судорогах стыда... Вот как все, оказывается, просто. А сонм блядей, реки коньячные, социальное счастье, азарт дельца, вечный напряг пребывания в роли коммуниста и руководителя, воспитание дочери, перевод нахапанных бумажных денег в ценности были для вас демагогическими моментами, тащившими по жизни и абсолютно отвлекающими от прошлого. Хорошо, что вы не свистнули насчет того, что идейные соображения поддерживали в вас силу жить после трагического предательства отца. В праве на трагизм вам отказано вообще. И я бы все равно не поверил. Хотя многим говнюкам казалось, что именно идейные соображения поставили их перед страшлищной рожой трагического конфликта. Они хотели идейностью, мнимой, разумеется, оправдать злодейство. Истинная идея в подобных случаях приводит нормального человека к выбору: отказ от отречения и предательства или самоубийство. Это вам, гражданин Гуров, не в брянском гастрономе: тут вам третьего не дано. Я не встречал буквально ни одного подонка, сумевшего надуть самого себя так искусно, что органически уверовал он в свою идейность, как побудительную причину «субъективно трагических» и «объективно необходимых» актов предательства и отречения. Хотели они освятить подонство, слова говорили, и вы говорили слова, личико, страдающее высоким страданием, делали, дымились на трибунах, казались все вы, казались, подчеркиваю, идейными, а на самом деле... Говно вы на самом деле! И никто лучше вас не знал тогда и не чувствовал, какая чудовищно лживая и грязная туфта — ленинская, большевистская, классовая мораль. То есть, антимораль, оружие Сатаны Чертилыча в борьбе

с ценностями, данными человеку Богом. Так я и думал, что никакой реакции человеческой на разрушение этих ценностей не было в вашей душе, гражданин Гуров... Холод... Расчет... Инерция существования... Беспамятство... Бездушие... Пустота... Вы — крыса!.. Вы — крыса! И вы мечетесь по лабиринту от одной крысоловки к другой, к третьей, к четвертой, к сотой, и каждая — вот фокус, — оказывается не смертельно-губительной, а наоборот, спасительной, потому что в той вон крысоловке приманка — мизинец маменьки, вон в той — папашкин вострый глаз, в этой — честь, в этой — совесть, и вы жрете приманки, жрете, и Асмодей открывает тогда затворы, и вы вываливаетесь из крысоловок на волю, жирные крысы, обратно в лабиринт, усваивая с каждым разом все лучше и лучше, что в крысоловках даже с невообразимо страшными приманками не смерть, а спасение!.. Понимаемое, кстати, нормальными людьми как смерть.

Вот что происходит после того, как империалистическую войну превращают в гражданскую спасители человечества от власти капитала, еби их в душу мать!

Я вот слушал вчера «Би-Би-Си». Тухнет мир на глазах. Бессмысленно протухает. Терроризм. Похищения. Те же *Силы*, которые помогли Дьяволу сделать своим плотом одну шестую часть света, гуляют с бесовскими мурлами по остальным пяти шестым. И нипочем этим частям опыт России, Германии, Китая. Ключут они на тех же самых красных червяков.

Хотите знать, какой именно случайности обязаны вы за чудовищную удачу спастись, дожить до седин и стать миллионером? Пока я возился с вашим папашкой, пока бросали меня то сюда, то туда на излов врагов народа, руки до вас не доходили. А когда дошли вроде бы в сороковом... Звоню однажды в обком. Велю доставить рыло ваше гнусное прямым ходом в мой кабинет.

Отряд особого назначения уже полег от пуль, инфарктов и безумия. Одиннадцать человеко-врагов угрохал я своими руками, и испытали они перед концом если не все муки ада, то самые пикантные и мрачные, а Гутман, тот Гутман, который изнасиловал ко всему прочему сестру мою и тетку, тот Гутман имел возможность насладиться перед погибелью тем, как грязные, вытащенные из Бура урки харили его дочь, его жену, его двоюродных сестер, его двух родных теток... И это все преподнес ему я — вонючий палач, старший лейтенант Монтекристов. Я засунул в мясорубку возмездия невинных в общем баб... Я!.. И нет мне ни прощения, повторяю, ни спасения...

Но я ликовал, тихо ликовал, молясь, чтобы увидели с небес это возмездие моя матушка, батя, тетка, сестрица, смаковал, ликуя, последние капли жизни, бродившей от помешательства и горя в бандитских жилах. Я напоминал ему ежеминутно про Одишку, и когда он не выдержал (выходит-таки, существуют некие нормы здоровья и выживания, существуют для последнего злодея и насильника пределы, которые преступает сам он по отношению к своим жертвам, но сам же, сволочь, став жертвой, одолеть психически не может!), и когда Гутман, не выдержав, начал перекусывать себе вену, а перекусывал он ее долго, ибо ослаб, когда, воя, добирался он золотыми клыками до бережков своей жизни, до собственной речки Одишки и, возможно, отыскивал краем сознания тот миг, тот шаг, который привел его к таким нечеловеческим кошмарам, я не мешал ему, не мешал, грызи себя, крыса, грызи, вгрызайся, еще немного и ослепнешь ты от своей крови, ослепнешь, как ослеп в тысяча девятьсот двадцать девятом от похоти, в горевшем уже сарае, на моей тетке живой, на моей живой сестренке, грызи себя, крыса...

Шестнадцать часов добирался Гутман до вены. Уверен, что показались ему часы эти вечностью, что получил он за все сполна.

Но справедливости, как это ни странно, в мире не становится больше от попыток человека уравновесить насилие и зло самым жестоким возмездием, хотя идея поучительности возмездия жива и наглядна, как мудрый гриф над горою трупов, и образ этот удерживает, очевидно, некоторых от зла и насилия. Но не будем останавливаться на этой щекотливой теме, а то вы еще вознадеетесь в глубине души, что я вас пас годами и взял для бурного братания в конце беседы.

Признайтесь: промелькнула, обвеела вас на миг сладким ветерком ласточка надежды?.. Обвеела... Может быть, захотелось вам также спросить меня, куда я гну и где же край вашего трудного часа?.. Захотелось... А не захотелось ли случайно вашему телу, ощутившему полное бездушие и отгороженному гнусью своих дел от Бытия, выбраться, используя последний остаток энергии жизни, из потока бессмысленного существования? Если захотелось, то попросите меня пустить вам пулю в лоб... Ах, пока что не появилось у вас такого желания... Ну, ладно, валяйте, живите.

А вот у меня, кажется, в сорок девятом проходила именно в этих же выражениях беседа с одним поляком... или литовцем... или венгром... в общем, с кем-то из оккупированных нами. Прямо так и спросил, собака, не желаю ли я слинять из органов, из этого унылого ада хотя бы

в прохладное чистилище, и если желаю, а силенок для отвала не хватает, то он с удовольствием и исключительно с целью помочь ближнему вырваться из лап Сатаны, пустит мне пулю в лоб. Вторую пулю он тут же, он поклялся в этом жизнью и свободой сыновей, пустит в лоб себе. Спокойно, без лукавства, с мудростью в измученных бессонницей глазах, втолковывал мне то ли эстонец, то ли еврей, то ли бендеровская харя, что таким образом он избавит мое тело от невыносимого бессмысленного бездушия, а свою душу, соответственно, от возможно небесмысленных, очистительных, но совершенно невообразимых страданий тела. В конце концов, сказал словак, он согласен безропотно ждать смертного часа, согласен превозмочь боль и унижение только для того, чтобы я не думал, что он таким макаром хочет спровоцировать меня на избавление его от ужасных испытаний, лишь бы освободить от собачьего бреда казенной жизни такого пса, как я. Надолго я задумался тогда... Латыш сидел, курил и молился... Серьезным показалось мне его предложение. Многие я передумал. Потом срать захотел. Дождь шел. Я в окно прямо, как сейчас помню, поссал на «Паккард» Берия. Ничего поэту не ответил. Закончил его дело за пять минут, хотя намеревался растянуть на полгода... Значит, говорю, говно меня считаете? Нет, отвечает стервец, говно есть некая цельность, формообразно оно и содержательно. Давайте пистолет. Я вас спасу.

## 27

Тут меня заело. Ах, ты, говорю, падлюка! А сам ты разве не злодей перед Богом, в которого по твоим словам веришь, а в советскую власть, в Верховный Совет СССР и в Сталинскую конституцию не веришь, если ты хочешь совершить двойное страшнейшее преступление: меня убить да еще самоустраниться? Это ли не грех, это ли не слабость?

Теперь уже немец задумался. Долго думал. Плакал изредка, как дитя заливался, сморкался, курил, поссать я ему тоже в окно разрешил, на генерала какого-то попало, посмеялся, успокоился, просветлел, возрадовался белогвардеец старый. Спасибо, вдруг говорит, вам, гражданин подполковник. Спасибо. Буду за вас молиться. Весь пол в камере лбом обоью. Сам же раскаяние глубочайшее приношу к стопам Творца. Воистину человек беспредельными обладает возможностями: ухитряется и в страдании власть в страшную Гордыню и вознамериться распорядиться чужой жизнь и своей... Спасибо. Понятней мне происходящее не стало. Но груза его на душе моей отныне нет. Могу по существу дела показать следующее: вопрос о том, отрезаем ли мы себя от вечного, от бессмертного Бытия, покусившись на чужую

жизнь и на собственную, есть, на мой взгляд, вопрос, приближающий нас к Высшему Знанию, то есть к тому, чего нам знать не надо, к тому, в существование чего надобно верить. Тут предел. За ним — разгадка. И самая соблазнительнейшая попытка на белом свете, на которую подталкивает нас сам Сатана или лично, или с помощью хитро сконструированных тупиков, это попытка постигнуть запредельное ценой жизни. Я, говорит мне, закинув ногу на ногу, как в гостиной, этот оккупированный гусь Видзопшебский... или Чурлёнис... или Стамбла, имею в виду самоубийство. Мотивов покончить с собой бесконечное множество. Они могут быть или осознанными или бессознательными.

Был у меня в приходе добропорядочный прихожанин. Вдруг ни с того, вроде бы, ни с сего топится середь бела дня. За день до самоубийства сказал жене: вот уже три года у меня на каждом шагу почему-то расшнуровываются ботинки. Три года! Я сменил сотни шнурков. Бесполезно. Мне страшно ходить по Вильнюсу... или по Дрездену... или по Пяну... или по Кракову... может быть, по Ужгороду... Мне надоело нагибаться, ставить ноги на тумбы, приседать, делать вид, что ничего не случилось, запутываться, поскользнуться, спотыкаться, всё — к чертовой матери, сказал жене мой прихожанин, и что же это за страшная ведьмища, если у нее такой плохой сын? И утопился. Все у него было в порядке: семья, дела, нрав, набожность и так далее. Допытывался я, допытывался, друзей опросил, коллег, лавочников, родителей, жену, и никто не мог путно и сколько-нибудь неглупо сказать, что за шлея попала под хвост моему прихожанину. Не шнурки же ботиночные в самом деле! Хотя большинство опрошенных мною сходились, не сговариваясь, на том, что это именно они — шнурки проклятые — свели бедного Франца... Казимира... Ласло... Зденека... Василиу на дно озерное. И однажды в сортире театра он прорыдал все второе действие из-за того, что конец одного из его шнурков исплюгавился, незаметно развязавшись, на сортирном полу, в харкотне и моче, перемешанной с грязью. Завязать его снова, очевидно, было чертовски противно. Мысль об этом должна была, по-моему, вызывать тошноту. Вытащить, простирнуть шнурок и снова шнурануть его в коричневые дырочки ботинка казалось делом смертельно унылым и в высшей степени компрометирующим. Выбросить шнурок вообще, плюнуть на него и — все, он тоже не смог: боялся показаться смешным в антракте в фойе, в чинном и туповатом хороводе знакомых и незнакомых меломанов... И почему вообще человек с бессмертной душой вынужден думать обо всей этой херне? Тоска. Тоска...

Полицейский вспомнил, что видел респектабельного господина, задумчиво шедшего по вечерней Праге... ночному Будапешту. На вопрос полисмена, кто его раздел и куда он в таком виде прется, странный прохожий ответил, что к чертовой матери он прется с пьесы красного драматурга «Человек с ружьем». После смерти несчастного супруга обнаружила в его секретере чудовищное количество разных шнурков, шелковых, сыромятных, вязаных, витых, плетеных и прочих. Утопленник бросился в озеро в полуботинках. Шнурки на них были завязаны чрезвычайно туго, хоть режь ножом. Но резать шнурки не стали. Вода стекла. Полуботинки просохли на солнце, пока самоубийцу пытались откачать. В них его и похоронили. На кладбище, над могилой смертельно пьяный скрипач-алкоголик произнес умную и блистательную речь о безвременно погибшем друге. Он же рассказал мне о внезапных вспышках ярости покойника при вечных разговорах скрипача о необходимости наконец завязать, что без завязки — хана здоровью и искусству, что он в полном недоумении относительно своей последней развязки и так далее. Кроме того, покойник странно произносил выражение «к чертовой матери» и скрипач со своим абсолютным слухом не раз улавливал звучание этой фразы то в мажоре, то в миноре. Она оркестровалась в зависимости от настроения бедняги то гармонически, то безумно-какофонически. Но чаще всего слышалась в ней бесконечно-унылая и оттого казавшаяся страстной мелодия любопытства. Да, да! Любопытства! Недаром, произнеся очередное к месту или не к месту «к чертовой матери», глубоко чувствовавший музыку покойник замолкал, на мгновение прислушивался, не задумывался, а именно прислушивался, но так же быстро отвлекаясь от чего-то неизменно поражавшего его в этой, на каждом шагу повторяемой миллионами людей фразе, то шутливо, то жутковато добавлял: что же это за маменька была у такого мерзавца?..

Странно, что поминая ежеминутно чертову мать, мы никогда не обмолвимся ни словечком о его папеньке. Странно... Может быть, он их бросил, и травмированный мальчишка стал изощренным бандитом, мстящим людям за отлучение от отцовства?

В общем, тяжким было бремя любопытства. Не вынес его мой прихожанин.

Но давайте, гражданин следовательно, вернемся к началу нашего разговора. Почему церковь считает самоубийство грехом чудовищным? Потому что жизнь наша принадлежит не нам, а Творцу, хотя свободны мы по Его воле настолько, что и сами себя убиваем и поднимаем руку на ближнего и в корысти, и в беспечности, и в безумии.

Мы висим, подобно плодам, на ветвях бессмертного

древа, пережив цветение и завязь, наливаемся, зреем, трепетно ждем часа радостной спелости и прикосновения руки Сотворившего нас. Ждем часа своего. Но как нелеп был бы, на наш взгляд, плод дерева, если представить его на мгновение наделенным даром самосознания и свободной воли, как нелеп был бы плод, упавший по собственному произволу до срока, до часа своего с ветви бессмертного древа, плод, продолжающий участвовать в круге и в обороте сил жизни, но не возрадовавший Хозяина в осеннее плодоноsie!

Так и мы, употребив не во благо сознание и волю, лишая жизни себя и других, не только не способствуем промыслу Творца, цели которого до времени нам познать не дано, но и умножаем силы зла и бездушия.

Не может так быть, чтобы ветер не сбивал с Древа плоды, чтобы не побивал их град, не может так быть, чтобы не выклевывали ядра их птицы, не может не быть поражена часть плодов червоточиной, не может не грозить плодам тень разбоя, но стоит Древо, и собраны будут плоды на радость Взрастившему их и на умножение Бытия во Вселенной. Не мы, гражданин следовательно, хозяева своей жизни. Нам доверен Творцом этот волшебный дар, и чувство полной благодарности за него во все времена, несмотря ни на какие испытания, ощущается душой человеческой как высшее, единственное, полное Счастье. Все остальное — меньше жизни. Покушающийся на нее теряет дар и убивает душу. Вы — палач. Но вы и тысячи вам подобных, губя одного, губя тысячи, не изведёте жизни. Ликвидируя священника, крестьянина, поэта, повествователя, музыканта, ученого или развращая и уничтожая дар Божий, не убьете ни слова, ни звука, ни радуги многоцветной. Вы — слуга Сатаны и не снизойдет на вас вовек удовлетворения и довольства трудом и жизнью. Ибо труд ваш напрасен, а жизнь бездушна, как бы ни ухищрялся Дьявол, придавая ей видимость смысла, провозглашая заведомо недостижимые цели и оправдывая тцету черных дел...

Так, так, говорю, Франц, чудесно ты шпаришь, здорово чешешь, говорю, Властимил, хорошо излагаешь Митенька, славно трёкаешь, Ионас! Тут, говоришь, предел и разгадка? А откуда ты знаешь, что за тем пределом? Жаль, не могу я вырвать показаний по этому делу у твоего прихожанина и у казненных мною Понятьева, Влачкова, Гутмана, Гуревича, Исматуллина, Лациса, Думбяна и прочих. Жаль! Вдруг за тем пределом покой вечной жизни? Значит, они благодарны должны быть не Богу твоему, обрекшему их на тупое мельтешение в кровавых жерновах советской власти,

а мне — палачу, — избавившему бывших палачей от черной работы. Но если же я угробил невинную душу, значит, я всего лишь ускорил ее отвал из этого проклятого вредного цеха, который ты называешь жизнью, в зону вечного отдыха трудящихся Советского Союза? Выходит, так? И невинная душа еще спасибо должна мне сказать за то, что я снял с нее ответственность за грешные мыслишки о досрочном освобождении от невыносимо трудного существования на земле!

Понял, говорю, Август? Ну, так что за тем пределом? Пустота или вечно-зеленые нивы и бесконечная гармония? Сам ты туда, Богомил, заглядывал? Может, ты, Винчас, доверенное лицо и хранитель Откровения? Какая такая за тем пределом разгадка? Абсолютная ясность того, что Дух бессмертен? Не потому ли ты так клеймишь самоубийц, что они, так сказать, первопроходчики, пионеры, авангард человечества, безумно храбро переступающие за предел, и единственно, что не в их силах, так это ликующе возопить оттуда оставшимся: «Эй, братцы-кролики, тут просто замечательно, айда за нами, чего зря ишачить?» И я убежден, что, получив гарантию бессмертия и услышав личные свидетельства отбывших на тот свет — романтиков риска и поиска, люди, как леминги, стадами побегут топиться. Посыпятся из окон, словно яблочки с крепко тряханутой яблоньки. Прервут, улегшись на рельсы, работу транспорта. Сокровища будут отдавать за веревку, нож, яд и пулю. А мы, палачи, станем миллионерами, хозяевами, спасителями... И работы у нас, почитаемой народом, будет невпроворот. Преждевременная, Збигнев, смерть станет наградой за труд и одновременно освобождением от него. Пытающихся прошмыгнуть в бессмертие на шармачка мы будем принудительно возвращать к жизни. Мы превратим города и веси в реанимационные отделения с самой совершенной аппаратурой, использующей последние достижения научной мысли — верной нашей служанки, преданной нашей помощницы... Должностных лиц, злоупотребивших служебным положением, коррумпированных негодяев, протекционеров и прочих блатюков Всемирной организации Смерти (ВОС), выдававших пропуска в крематории, мы будем беспощадно осуждать на жизнь, иногда на две и на три. На четыре — было бы слишком жестоким наказанием и нарушением Декларации прав человека. Героя труда, выполнившего пять дневных заданий, выдавшего на гора лишних пару тонн, продавшего государству дополнительно сотню пудов хлеба, досрочно выполнившего, возведшего, открывшего, увеличившего, поставившего, добурившего, наездившего, належавшего, поймавшего, расследовавшего, сыгравшего, смонтиро-

вавшего, доказавшего, сменившего, посадившего, спилившего, сочинившего, нарисовавшего и прыгнувшего, мы торжественно проводим на заслуженный отдых. Мы построим воспитание детей на принципах, компрометирующих Жизнь и Свободу — драгоценные дары вашего Творца, Андрей Георгиевич, и основные препятствия на пути достижения нашей основной цели. Мы выведем в конце концов поколение людей, которых будет тошнить от оргазма, материнства, сыновьего почтения, будет бросать в мучительные конвульсии от одного только воспоминания о верности, долге и чести, будет хватать нервная кондрашка от красоты и гармонии. Зачавших, но пришедших с повинной, мы простим и сурово накажем. Влюбленных осудим на страшные муки. Внушим отношение к отчужденному труду как к цели, внушим отвращение к Земле, к миру тварному, к естественным сферам Бытия, и любовь к вечно живому, а на самом-то деле давно врезавшему дуба Антихристу, славному моему сатрапу.

Ты спрашиваешь, Павло, зачем нам внушать народу отношение к отчужденному труду как к главной цели? Потому что для твоего Бога любой труд есть — средство. Средство сохранения достойных и истинных форм жизни. Для нас же труд — цель, дело чести, доблести и геройства. Оболваненные массы, следуя к этой цели, убивают жизнь, выхолощивают ее, превращаются в исполнительных бездушных роботов, а с увеличением хотя бы в одной отдельно взятой стране количества мертвых душ соответственно уменьшаются запасы жизни на земле. И когда вся она начнет приближаться к пределу, можешь называть коммунизмом этот предел, Ян, — мне все равно, мы восторжествуем. Еще одно мгновение вечности, и не спасется НИКТО, ибо мы погубим ВСЕХ. На твою же грубую и ехидную подъездку, Флоренский, что сами-то мы станем тогда делать? — я тебе отвечу так: делать нам тогда будет нечего. Вот и все. Подписывай, говорю, сука, протокол допроса, а то сейчас Дзержинским между рог врежу!

Что же, вы думаете, говорит мне этот Степан Иванович?

Сгинь, говорит, Сатана, не подпишу! Померяемся силенками! Не подпишу! Я знаю, что ты желаешь погубить Всех, но Господь хочет спасти каждого! Попробуй заставь ты меня подписать твой протокол, позорник и гуммозная душонка! Вы, палачи, присвоили себе право судить и распоряжаться свободой и жизнью, вы, используя бесконечно казуистские способности разума, пытаетесь создать новую дьявольскую диалектику для того, чтобы необходимо присутствующую в душе человека мысль о загробной жизни поставить на службу не Бытию, но Смерти. Скажу тебе, палач: вот шар

земной, и на нем свободно произрастает жизнь, и по словам пророка есть время жить, и есть время умирать, и эти времена и сроки установлены сообразно законам возрастания, и они открыты Садовнику, но не тебе, Асмодей, сколько бы ты ни мешал Ему снять урожай, как бы ты ни портил Ниву и ненавидел Время. Нет! И ты торопишь Человека уйти из жизни, лишая ее красоты, добра, любви и достоинства, делая ее невыносимой, а если видишь, что устоял Человек, что не сломить его ни мором, ни голодом, ни горем, то ты, палач, казнишь Человека и устрашаешь других.

Вам, заявляет Франтишек, не удастся успокоить себя, гражданин следовательно, обращением к основной дьявольской посылке о невыносимости жизни. Не про-хан-же! Циничны вы, конечно, и неглупы, но смрадный страшок и холод сквозит во всех ваших трепачествах. Самому-то подышать неохота! Вижу, что весьма и весьма неохота, хотя пробегают иногда по желобку меж лопаток ваших чертенята и гадливость охватывает вас к самому себе от того, во что превратили вы свою жизнь. Вы спросили, заглядывал ли я за те пределы. Не заглядывал, пожалуй... Разве только краешком глаза, после того, как ваши шестерки крепко меня потоптали. Врать, однако, не стану, и по существу дела могу показать следующее... Впрочем, ничего я вам показывать не стану, кроме хера своего несчастного, истоптанного сапогами! Извините за выражение, приходится усваивать в тюрьмах язык народа. Передайте Сталину, Берия и остальным бесам из политбюро, что как веровал я в Мудрость Творца, как благодарен был Ему за дар жизни, как смиренно относился к любой Его Воле, как укрощал гордыню разума, пытавшегося воровато заглянуть в хранилище Высшего Знания, как веселился тихо, причащаясь к тайнам рождения, любви и смерти, так и пребудет все это во мне до конца моих дней, а за спасение ихнее молюсь и молиться не перестану. Верю: и для них, идиотов, найдутся смягчающие вину обстоятельства. Дай вам Бог, гражданин следовательно, раскаяния и очищения от ужасных грехов. Господи, прости и помилуй. Верую в Тебя, а не в советскую власть, Верховные советы СССР и союзных республик и сталинскую конституцию!

Стоп, стоп, говорю, Абрам Соломоныч! Не спеши, пожалуйста, и покончи с заблуждением, что я всего-навсего следовательно. Не следовательно я, дорогой ты мой Федор Михайлыч, я — сам Дьявол вот сейчас перед тобою в кресле кожаном сижу. Брось, говорю, Фридрих, эту несознанку, не думай также, что ты «поехал». Ты, благополучно совершив трансцензус, оказался передо мной. Если желаешь дока-

зательств — пожалуйста! Вот пистолет «Вальтёр». Встань, подойди ближе, возьми его в руку и выстрели мне в лоб, над левым глазом, чуток выше шрамика, и ты увидишь, что будет. Пуля пройдет насквозь, в меня уже стреляли, она пройдет насквозь, пробьет портрет Ворошилова, стену лубянскую, долетит до Кремля и тихонько звякнет Царь-колокол, когда она брякнется об него на излете. А я, естественно, останусь тут в кресле, как сидел, кончая остопротивевшую мне фразу «по существу дела могу показать следующее». Ну! Смелее. Берите. Крепче держите, а то отобьет при отдаче в глаз. Цельтесь. Я сейчас поудобней усядусь. Вам стоит только плавно, если хотите резко, нажать спусковой крючок... Ну! Ну-у! — заорал я на него... черт его душу побрал бы, вспомню я, наконец, фамилию, имя и отчество этого типа или не вспомню? Ну-у! — ору. — Стреляй! А в самом во мне ни капелюшечки страха Смерти, только мыслишка в ухе покалывает странная: если нету страха, значит, нету Смерти. Можно ли трусить того, чего нет? Стреляй, говорю, негодяй, тебе хорошо, ты в Бога веришь, а мне как быть прикажешь?

Тут этот Лев Николаевич кладет спокойно «Вальтер» на стол, проверив предварительно, есть ли в магазине патрон, не доверяя мне, так сказать, кладет и говорит, как простой лагерный прощелыга, несмотря на явную духовность, аристократичность, образованность и, по-моему, священнический сан: ху-ху, гражданин начальничек, не хо-хо?

Как же, спрашиваю, растерявшись, не стыдно вам так выражаться? Молчит, в окошко сквозь решку глядит. Улыбается. Нехорошо, говорю, Габор, уходить от ответа на серьезный вопрос, не-хо-ро-шо! Имеешь ты право уйти на этап, оставив меня тут одного сходить с ума? Кто тебе, сволочь, право такое дал даже не пытаться разрешить сомнения грешника? Что же ты так высокомерно относишься к заблудшей овце?

Ты, отвечает этот тип, не заблудшая овца, а остывший от жизни холодный игрок. С Лукавым в дискуссии я вступать больше не намерен. Логикой, исходящей из дьявольской посылки о невыносимости жизни и смерти как благе избавления от нее, ты меня не увлечешь. Можешь судить меня за антисоветские анекдоты, дискредитацию социализма и попытку изнасиловать певицу Валерию Барсову. Суди и казни, только я не принимаю, знай это, ни суда твоего, ни казни. И советую тебе, раз уж мы живем в стране Советов, не забывать о том, что, губя чужую жизнь, сотни чужих жизней, ты губишь свою душу и существование свое превращаешь в адское. Зови конвой. Мне жрать и спать охота. Это такая прелесть даже в тюрьме — похавать

и покемарить.

Ну, хорошо, говорю, Алексей Александрович, сейчас вы отправитесь в камеру, и обед вам по моему приказанию притаранят царский, из «Метрополя», потом дрыхнуть будете, сколько душа ваша пожелает. Я отлично вас понял, но скажите мне, ради Бога, как вы посоветуете вести себя человеку, бывшему очевидцем чудовищных зверств над его близкими, творившихся безнаказанно, сладострастно, под знаменем передовой идеи, как вести себя человеку, униженному в самой сути своего естества, лишенному органов жизни, как? Что правильней: самоубиться или мстить за поругание? Чему радоваться человеку, сбитому палкой выродка с дерева живого? Чем успокаивать себя падалице? Тем, что сгниет она со временем? Тем, что птица прилетит и склюет? Тем, что ваш Господь Бог, возможно, поднимет павшее яблочко, куснет и скажет: все-таки падалица бывает иногда чрезвычайно сладка и душиста?.. Как быть душе, пребывающей в никчемном теле, даже если не считать счастьем № 1 способность тела размножаться и чуметь от оргазма? Какой смысл и восторг могут быть во времени того человека? Кого винить? Кому предъявить для оплаты счет конечный? Ответьте! Правомерно ли вообще задавать такие вопросы? Какова механика душевного или волевого акта, уводящего человека от торжества гордыни разума в безмятежные кущи неведения? Если вам известно что-либо по существу этого проклятого дела, то грех, говорю, пребывать в глухой несознанке. Грех!

Сидит. Молчит. Хожу из угла в угол. И состояние переживаю впервые в жизни незнакомое и отчасти благодное. Это странно, потому что в одном нашем разговоре, когда я развивал фантазмагорическую идею о гарантированном человеку бессмертии и повальном уходе огромных масс людей из жизни, я до того ясно вообразил себя на миг самим Сатаню, да и Збигнев мой на тот же миг поверил в это, что не чувствовал я в себе ничего, кроме разлитого по всем клеточкам тела торжествующего, сладострастного зла. Отвратительное профессиональное состояние палача, довольного успешным ходом своих дел. А тут, гражданин Гуров, ощутил я в себе покой и промытость, как в Кисловодске, где мне частенько промывали кишечник и желудок колким, пузырьковым нарзанчиком.

Догадываюсь, отвечает, что пережили вы немало и побывали в такой кровавой каше, что мне и не снилась. Догадываюсь, что сюжет вашей жизни необычаен и запутан до невозможности. Почти, оговорюсь, до невозможности, ибо поставив вопросы, обращенные к людям и Творцу, поставив их не лукавя, ощутив меру присутствия в себе сил Тьмы и Света, меру амбиции и бунта, вины и ответственности, вы

уже ступили на путь спасения и смирения... О многом догадываюсь, глядя на вашу физиономию и обмозговывая вашу ненормальную конституцию. Говорю это без подъебки, гражданин начальничек. До конца вы, конечно, не расколетесь, как на духу, чувствую в вас присутствие страшной личной тайны, тяжесть ее изменила черты вашего лица, поэтому практическим советом помочь не могу. Буду за вас молиться. Возлюбите ненавидящих вас. Такой шаг приводит, говорят, к чуду. А органы не мешало бы бросить. Кантайте в грузчики. Вон у вас ручищи какие! Грузчику хорошо! Покидал себе мешочки-ящички — и лети домой легкий, как птица. А с таким грузом на душе, как у вас, доходягой скоро станете и потащитесь на полусогнутых в скорбный лазарет. Молюсь за вас.

Вот, говорю, уйдете вы сейчас, а мне все еще не ясно: простили ли вы врагу вашему, возлюбили ли ненавидящего вас? Сами-то вы как?

А этот, говорит Павло... говорит Георгий Леонтьевич... говорит Христиан... кажется, все-таки это был Христиан... Христиан, но неважно, неважно... этот мучительный, возможно, конечный вопрос, который по моему глубочайшему убеждению несет на себе отблеск Высшей Реальности, Разум своевольно и лукаво переводит в соответствующей сложнейшей ситуации из области Душевной, из сферы чувств безъязыких в свой великолепный вычислительный центр.

А человеческие чувства, Душа человеческая так трогательно неумны в истинно наивном состоянии, то есть в величественном и простом обращении к ничем и никем не замутненному образу бесконечной Гармонии, что Разуму ничего не стоит смутить человеческую душу логическими категориями прагматической очевидности и навязать Душе ответ, устраивающий Разум и делающий честь безупречной работе его вычислительного центра. Сообразно ответу и ведет себя личность, но поскольку ответ на мучительный вопрос принадлежит на самом деле Разуму, лукаво выступившему от имени Души и хамовато присвоившему себе ее прерогативы, то он — ответ — изолирует Душу от Света Истины, он уводит ее от возможности великодушного соотнесения своих обид и чужих зверств с тайной чудесного предназначения человека в участии, возможно, почти на равных с Богом в Высшем Промысле, целью которого, как я уже не раз заявлял, гражданин следователь, является, на мой взгляд, насаждение и торжество жизни во Вселенной. Дайте-ка попить водички... Спасибо... Вы спросили меня: прощаю ли и возлюбил ли я вас, своего палача, уходя в неизвестность?

Допустим, я нахожусь в привычно-бытовом отношении к знаковой и смысловой структуре вопроса. Именно в таком

состоянии и стремится удержать Разум Душу при ее стремлении вознестись от логики опыта, от низшей целесообразности к нормам поведения, интуитивно ощущаемых Душой благодатными и предельно просто разрешающими душераздирающие антиномии жизни в полной больших и малых горестей земной юдоли... Допустим. В очередной раз доказал Разум, что прощение и любовь к врагу — очевидное мудачество. Доказал, подлец!

Но вот я взрываю последним усилием воли или, что одно и то же, полной расслабленностью, гражданин подполковник, бедный палач, эту вонючую, привычно-бытовую, семиотическую и семантическую, черт бы ее побрал, структуру любого вопроса, будь то: можешь ли возлюбить врага своего? Подставишь ли левую щеку, когда заедут ни с того ни с сего по правой, да к тому же, пока ты не успел очухаться от боли и обиды, звезданут по подставленной левой? Способен ли ты не осудить предавшего тебя? Взрываю, короче говоря, камеру, в которую заточил Душу так называемый здравый смысл, этот заурядный недолгожитель, выкидываю к чертям собачьим на площадь Дзержинского сквозь вот эту решку, расплавившуюся от одного моего смиренного взгляда, наручники, плюю на режим устрашения, и... вот уже я, веруя в реальность высшую, переношусь в нее! Я чувствую не боль и обиду, а непозволительность создания отношения, в котором мои страдания и унижения считают себя вообще бесконечно превышающими жизнь. И я вашу злодейскую службу Дьяволу и его идее, ваши грехи, ваши увечья, погибель души вашей вижу более обидными и страшными, чем мои обиды и раны. Но я не говорю вам, ибо словам не разорвать проклятый заколдованный круг, возведенный Разумом, я люблю вас, враг мой, я вас прощаю! Просто я сейчас нахожусь в пространстве такого, потрясающего все мое существо, состояния покоя и воли, где хватит места всем: и вам, и мне, и вашим органам внутренних дел, и страшному прошлому, и абсурдному настоящему, и искупительному будущему, и многому, многому и хорошему, и дурному. Я не говорю вам слов, заводящих в тупик. В силу сохранившегося во мне веселого характера, в надежде на извинительность юмора, я чистосердечно приглашаю вас, Василий Васильевич, в Высшую реальность! Милости прошу! В это мгновенье, стоящее вечности, мы с вами вносим свою лепту во Вселенскую Жизнь, укрепляем душу, смываем грехи и чувствуем, что воистину бесконечно меньше радостного течения жизни наши общие мытарства и что разгадка жизни не больше самой жизни, что она — чудо... А слова... Хрен с ними, со словами... Кланяюсь низко вам. Не вы, так и не посетило бы меня, возмож-

но, такое состояние и такое понимание. Это не означает, что я извиняю и приветствую деятельность палачей. Прощайте. Завещаю вам изъятое у меня при обыске Священное Писание. Читайте в перерыве между допросами. Вдруг поможет оно вам облегчить муки узников? Я ничего, кстати, нового вам не сказал. Я только обрел личный опыт постижения Образа Жизни. Образ Жизни и есть Христос. Передайте Сталину, что он свинья. Господи, прости меня за столь частые выпадения из течения Высшей Жизни... Прощайте, Василий Васильевич!

## 28

Опять мы долго пропетляли... Долго... В общем, просматривая реквизированный у одного теоретика соцгуманизма альбомчик с изображением орудий пыток глубокой древности, жду, когда приволокут ко мне вашу рожу... Это я возвращаюсь к случайности.

Вдруг — звонок. Звонит тот самый дружок мой, секретарь обкома, тогда еще, правда, горкома, Вчерашкин. Подох, говорит, твой человек Понятыев Василий... Как, ору, подох? Очень просто: трехтонка под лед провалилась с агитбригадой. В колхоз я ее посылал, отвлекать колхозничков от ненужных настроений. Снабженцы их охмурили очень и заготовители... Снабженцы не привозят, а заготовители увозят. Колхознички же посасывают лапу. Теперь до весны пролежит подо льдом грузовик. Жалко. И два баяна жалко. Два баяна у меня роту чекистов иногда заменяют. Ну, а трупам, как говорится, вечная слава...

Вот идиот какой я был! Мне бы выехать, водолазов взять эпроновских, вытащить трупешник, и сразу стало бы ясно, что не вы это, а брат ваш двоюродный затонул вместе с казенным грузовичком.

Поскрипел я зубами, что вывихнула вам судьба большой фарт миновать Руку, ох, и поскрипел! Вот вам и случай счастливый для вас и неудачный для братца-агитпроповца.

Очень странная и ужасающая подчас штука — случай. Может, он ничто иное, как удар Рока, нацеленный именно в ваш лоб, но из-за какой-то ничтожной ошибки в расчете, из-за каких-то мизерных ваших перемещений в пространстве вбок, вверх или вниз от мушки прицела, захерачивший не по вам, а по другому, случайно, случайно ли, гражданин Гуров, попавшему в зону действия рокового удара человеку? А? Что вы скажете? Или бесчинствующий Рок не самовластен и на него тоже имеется управа, имеется Судьба, отводящая удар от одного живого существа или его счастья и плюющая на все последствия веселенького рикошета? Но

может ли не ведать Судьба, что творит ее левая рука, а что правая, может ли не задуматься она, что неотвратимость, воплощенная материально в роковом случае, оставила в покое гражданина Гурова, но проломила лед под грузовиком «Зис»? Ведь если бы было иначе, то вам бы кранты, кранты, Василий Васильевич! А ведь вместе с братцем вашим погибло еще несколько человек и два баяна. Ведь у тех погибших тоже были судьбы и ангелы-хранители наверняка были!.. Впрочем, стоп! Возможно, ангелов-хранителей-то и не было у тех погибших, и в этом весь фокус.

Кто-то из моих говорил, что человека, погубившего свою душу, покидает ангел-хранитель, и он, естественно, оказывается беззащитным перед лицом враждебных сил и траекторий роковых ударов, густо пронизывающих пространство существования человечества. Нет! Не могу я допустить такого расклада! Не могу. Едет грузовик отвлекать недовольных колхозников, а в нем специально для того, чтобы гражданин Гуров, эта сука, этот жестокий хорек, эта гнойная, продавшая все на свете пропадлина, продолжал грабить государство и подсовывать народу вместо нормальной колбасы и сосисок хер знает что, продолжал жить, позавтракав рагу «папенькины уши по-пионерски», пообедав супом из материнских слез с бриллиантовыми запонками и поужинав в «Метрополе» с блядами из Совнаркома! Так значит специально для этого Судьба погрузила в трехтонный грузовик «Зис» 26 рыл, покинутых ангелами-хранителями, и 2 невиннейших баяна? Невозможно согласиться с таким раскладом. Не могло не быть в грузовике хотя бы одного праведника или обыкновенного грешника. А в таком случае отвлечение внимания ответственного работника НКВД от приговоренного заочно к смерти В. Понятьева погибелью ни в чем не повинных комсомольцев вызывает недоумение, сомнение относительно тождества наших представлений о справедливости с представлениями о них же Высших Сил и полное непонимание принципов механики Судьбы. Или она никак не может примириться с вмешательством НКВД СССР в свои собственные внутренние дела? Хорошо. Согласен. Нехрена, допустим, совать свои рыла в чужую жизнь и в чужие смерти. Судьбе видней. Каков ни есть негодяй Понятьев, он же Гуров, но его час не пробил, пуцай живет сволочь, никуда не денется, молчать, отставить, крругом... а-арш! Я вам покажу, скоты и разложницы, полюбуйте, что я сейчас натворю и погублю вам в устрашение грузовик, 26 рыл и 2 баяна! И если у вас есть совесть, то в следующий раз семижды семь задумайтесь и не всовывайте свои палки в мое неумолимое колесо! На вас вина за ни в чем не повинных!..

Меня лихорадит мысль о ситуации войны. Десятки миллионов погибли, сгорели, сгнили заживо, в крови, в гное, в кишках, в костях, в грязи, в страданье, десятки миллионов, а гражданин Гуров в это время выменивал по всему Союзу с помощью своих прохиндеев шматы сала на драгоценности и картины. Блудил. Опохмелялся вместе с Алексеем Толстым, был такой случай, в ванне с шампанским. Мать голодом уморил, наплодил гнуси, лжи и разврата, но берегли его силы Судьбы, берегли, близко не подвели к роковой черте, от бандитов спасали, от следствия, от хвори, от бед. Как это понять? Не лично ли Дьявол вас опекал, гражданин Гуров? А на войне и каторгах гибли лучшие, хотя и говна полегло немало. Странно. Странно... Неизбежно ли должен быть поражен ударом Рока, ответственным от тебя, другой? Что это за палка такая хитрая о двух концах используется иногда при ударе? Стараются ли ангелы-хранители, отводя удар от своих подопечных, успеть сообщить коллегам по Промыслу, чтобы не проморгали они такого-то числа во столько-то минут и секунд, в таких-то точках пространства принять необходимые меры безопасности, дабы кирпич упал, никого случайно не задев... на мостовую, отъезд в свадебное путешествие на новом «Бьюике» был отложен... грибы, ужасно похожие на шампиньоны, не изжарены... акции не покупались... девочка не ходила на вечеринку... не выпит мальчиком денатурат... баянисты поехали не в колхоз, а на свадьбу... дедушка Гитлера не познакомился с бабушкой... девушка в Гори не дала сапожнику... Ленин не пошел по другому пути... никому не приходила в голову мысль о коллективизации... не убивали отца и мать... не горела моя деревня... дабы приняли ангелы меры, и я не сидел бы на мерзлой колодине... и мы не смотрели бы сейчас друг на друга, гражданин Гуров!.. Что вы скажете?.. Вы думаете, что и здесь без нечистого не обошлось? Наверняка. Просто удивительно, что я, занявшись вами, начисто отвлекся от него самого.

Конечно, это он, сволота, провоцирует каким-то образом праведника или случайного человека прислониться к стенке дома и залюбоваться бликами солнца на первой листве, глупо к тому же открыв рот, а через секунду тот падает с головой, пробитой тяжелой сосулей, с еще сверкающим в глазах солнцем, не ведая, что предназначена была сосуля дворнику Сидорычу, выдавшему Чека семью эсера для получения жилплощади. Это он, Сатана, спас вас от Руки, он!.. А вот хорошо он поступил или плохо, это уж вам решать, гражданин Гуров. Я же пойду выпью за Судьбу, которой нам все равно не понять, и за согласие с ней, данное, как дар, немногим людям. Пожалуй, вам легче согласиться с ее велениями, чем мне. Но я процитирую сейчас кусочек из

лагерного дневника одного старикашки упрямого, как осел, жизнелюбивого, как дитя с хорошей наследственностью, мудрого, как не знаю кто, и веселого, как птица.

Где моя папочка?.. Вот моя папочка... Это то, что сказал дедушка в интимный момент бабушке... Это мне не нужно... Вот!

*«Милые мои эки! Сижу я, как и все вы, на нарах, жду неведомо куда этапа и благодарю Бога за то, что нагнул я вчера случайно и увидел карандаш марки «Хаммер». Тетрадка была у меня, и вот спешу на глазах у вас посочинять, ибо грех имею не тщеславный, а от немощи мыслительного дара происходящий, не думать вслух или же про себя, но посочинять. Вслух не очень-то, прости Господи, посочиняешь, да и чего чудесного изглаголишь скверным языком своим, к мату привыкшим?.. Шум слова моего мешает зачатую ясномыслия, и уши Душа затыкает, как если бы аэроплан пролетел, пропердел и скрылся...»*

Так... тут дедушка мечет гром и молнии в адрес хлеборезки, нарядчика и Вышинского... пропустим...

*«Ну, что за судьба, думаю, у Хаммера с такой неслучайной фамилией? Ведь за бесценок скупает сокровища национальные, а уж сколько тайком скупил, только он да продавцы знают. Нехорошо пользоваться бедой народа, нехорошо. Проклинаю наживающихся на народной беде и не думаю прощать, грех этот беру на душу! Но да вот карандашик-то я нашел «хаммеровский». Ты же счастливым сделал меня, карандашик ты мой — карандашик! Могу на стенке барака белой начертать «Сталин — говно! Большевики — бесы!» Но я поберегу тебя, поберегу. И лучше я сгорю быстрее тебя, растаю как свеча, чем ты искрошишься, чем останется крошка единственная от грифелька, точка последняя, раньше моего смертного часа. Слава тебе, Господи, за карандашик! Однако душа смущена, Господи! Как же с Хаммером быть? Может, если бы не он, то и писали бы мы от отчаяния одни скверные слова и проклятья пальцами в российских сортирах? Господи! Прими раскаяние души моей, нелепой временами! Прощаю Хаммеру. Ты подал мне этот знак, и каюсь, что сам без него не допер до отказа от ожесточенья. А с Хаммером ты сам разберешься...»*

*Ведь я почему возрадовался карандашику? Я темным моим умом мужикам письмишки накатав домой, ксивами зовем мы здесь письмишки. Помилówki, правда, тискать отказался. Беспользняк. Суета напрасных надежд. Милости у Тебя просим, а не у антихристовых шестерок. По-нашенски это слуги. Но главное, возрадовался я потому (экономя в дневнике карандашик, обозначу тему скорописью), что помыслить желаю в рассказе под названьем «Куда и зачем? или Плач о карандашике.»*

Ну как, гражданин Гуров, не надоело слушать?.. Тогда я продолжу. Мне самому интересно.

*«Вот сидим мы, сырые и униженные, серые, жалкие, пустобрюхие на дереве нар наших. Этапа ждем. Куда? Зачем? Ходили мы некогда свободные по свободным дорогам сотворенной земли, через горы и реки, за моря-океаны ходили. Ветры попутные Ты слал нам на радость. Били вихри в наши лица на испытание упрямства сил наших. Смысл нас подгонял. В землю вращались одни, на мудрость остановки начав, перекатывались по полю иные.*

Но ныне, Господи, бросают нас на этап, бросают в телятники, нарезая поток наш на куски, аки колбасу, чей вкус забыт зубами, по пять рыл в куске, из одной богомерзкой ямы пространства — в другую, из другой — в третью. Доколе, Господи? Доколе? И Твоею ли волей все это творимо? Отворачивают пустые глаза от Лика Твоего бараки лагерей, ибо не понять невинным в сегодняшней жизни знака такой чудовищно большой обиды. Охрип я уже, говоря им: не ожесточайтесь! Он дал нам от века крыло Свободы, не наша ли вина, что залетели мы не туда, хотя залетать сюда не хотели? Не пели ли нам пророки, предупреждая блуд и ложь на этапах долгого пути, не пели ли они нам во гневе своем: летите, птички, летите, не знаем только, где вы обосретесь!

Вот мы и — в клетях! Вот мы и — в силочках! Пой, Вовочка: остался вдали Магадан, столица Колымского края!... Пой, Коленька, стоп, стоп, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза!

Мы, братья, виноваты, мы, и не говорите: не мы! Мы!!! Трижды мы!!! Мы плоть от плоти, кровь от крови тех бесчисленных прошедших, умерших в свой час и сгинувших от чужой воли, но если карандашик мой, крошась, оставляет неведомый и незаметный надзору мира след, то жизнь оставляет после себя нас. Мы след ее. След ее вины и свершенья, пустоты и радости, предательств и подвигов, света и горя, воровства и милосердия, песни и грязи, пролитой крови и безгрешной улыбки дитяти. Не сетуйте на Бога, как на хлебoreза, что птюхи у вас разные, с довеском у одного, с опилками у другого, без корочки у Сидорова, сырая у Фельдмана. Не сетуйте, что обделены сегодня вы! Но если бы не вы, то кто? Отец ваш? Мать ваша? Брат? Друг? Сестра? Жена? Сын? Ближний? Переложите ли крест ваш на другую спину? Даже если захотите, милые, то не переложите. Хер вам! Будем же нести наш крест. Будем ждать освобожденья. А крест наш и есть след жизни, конец ее, дошедший до тебя и меня, и отречение от жизни неразумно, ибо неразумие тоже след и наследует его сле-

дующий за тобой. Так не твоя ли вина, что заплачет он горько однажды от скудости и уродства наследства? Положим же, братья, в копилочку для еще не рожденных, кто что может, кому чего не жалко, а если же жалко, то тем более положим, ибо не будет в копилке нашей дара богаче, неожиданной и радостней для того, кто вскроет ее в известное время. Но что же есть у нас на дереве нар наших? Говна пирога? Вшивота? Струпья? Кажется, что не может быть существ, более обездоленных, чем мы. Да так ли это, братья! Вот Невидимый Некто с шапкой идет по баракам, подадим ему надежды наши и чистые сожаленья, тоску по родственникам и очагам, любовь нашу к ним, не пожлобимся, подадим кусочек Свободы, я знаю, что у вас ее и так мало, подадим раскаянье, что до сей секунды, еще на воле, нам и в голову не приходило, замкнутым самим в себе, уверенным, что жизнь на нас оборвется, поделиться с потомками тем, что сделает их свободней, справедливей, веселей и бесстрашней.

Что клали те, чей прах давно уже стал соком почв, в копилку жизни, если мы сейчас сидим в таком дерьме и ждем этапа неведомо куда, неведомо зачем? Что клали они? Это нетрудно представить... Так говорят иные, но отождествите себя с жизнью, и прошедшей, и будущей, и вы улыбнетесь по-детски, так как мелькнет в вашем сердце, вечно открытом для согласия и раскаяния, детская мысль: елки-палки! Это же мы сами себе поднасрали! Не хватит ли подсирать? И вам станет весело, и вы зажмуритесь, как от солнца, выходящего из-за туч, от ослепительной возможности успеть жить в это мгновение благодарно и правильно. Но ведь можно каждый миг неправильно сгнуться во тьме, братья! Верно?

Так ты не плачь, Трошенька, что двадцать годочков тебе, а ты еще нецелованный, а ты еще с женой не спамши, не плачь! Ты молод, но почти генерал-лейтенант по данной тебе чести в столь молодые лета заслужить горький хлебушек опыта, который я хаваю в свои семьдесят два, беззубый, бессемейный, осужденный на четвертак, пять по рогам, пять по рукам, пять по ногам, прободения язвы желудка ожидаю с минуты на минуту. Не думайте, братья, что жизнь есть только на свободе. Мы — костерки полузатухшие на дереве нар наших, но не зальем слезой отчаяния и ожесточения огоньки угольков, но донесем их с вами до Свободы, но сохраним жизнь, братья, и поддержим ее горенье!

Господи! Господи! Кончается мой карандашик и скоро идти на этап, но растрепался язык и источился грифелек, а я так и не ведаю, куда и зачем? Что же, что же, думаю я в смятенье лихорадочном, что же еще написать,

*когда кончается карандашик? Господи, Слава Тебе за него, за огрызок этот, прости Хаммера, скупающего у несчастной страны ее сокровища и выпускающего карандаши, пошли радость тому, кто обронил карандашик! Что еще, что еще? Господи! Выдай нам на этапе селедку нержавеющей и воды, воды, воды, и прохлады в жару, и дровишек в морозину... Кончается мой карандашик! Зачем не жалел я его? Так ли употребил? Почему не экономил? На кой хрен запятых наставил, точек, знаков, заглавных букв витиеватых, зачем? Из них можно было мысль составить! Куда мне деть написанное, Господи? Нас шмонают такие же несчастные, живущие жизнью тюремной мусора, заглядывают в задний проход... И то ли я наболтал свыше посланным мне карандашиком, то ли? В другой раз, Господи, в другой раз, дай только сил и принадлежность, и я получше насочиняю. Кончается мой карандашик... тает... тает... растаял совсем... Спаси...»*

На этом оборванном слове «Спасибо» кончается, гражданин Гуров, запись упрямого старикашки, с которым немало потрепался я на допросах, немало узнал интересного, за чью судьбою следил. После его смерти я получил от начальника лагеря весь нехитрый ээковский скарб. Умер старик, Владимир Аристович Воинов, раньше, чем кончился его карандашик, от разрыва сердца... Где моя папочка? Вот моя папочка... И вот тот самый карандашик. Взгляните на него, гражданин Гуров. Можете в руку взять. Если хотите, напишите им что-нибудь... Да... Нечего вам написать карандашиком этим, малюсеньким огрызочком этим, нечего. Отдыхайте пока.

### 30

В общем, грузовик, двадцать шесть рыл и два баяна, и вы живы, а упрямый старикашка Воинов подышает на дереве нар своих, как он любил выражаться. Каша. Каша. Каша.

И занесло нас тоже черт знает куда и зачем. Времечко-то идет. Вон уже руководители различных компартий слетаются в Москву к седьмому ноября... Смотрите, как чмокаются взасос! Небось только и ждут и гости, и наши высшие чины, как бы сплунуть поскорей с губ вкус этих идиотских поцелуев... Слетаются. Потом мы с вами посмотрим репортаж о юбилейной сессии Верховного Совета. Посмотрим на очередной апофеоз лицедейства, посмотрим, как ткачихи, горняки, токари, генералы, писатели и прочая шобла единогласно проголосуют «ЗА». Против не голосовал ни разу НИ-КТО за всю историю существования этого феноменального высшего органа народовластия. Почему?

Смотрю на застывшие в одном и том же выражении

лица и умных, и ученых, и тупых, и талантливых, и деловых, и фанатичных, и смелых, и безграмотных, и чванных, и разных, в общем, депутатов, и меня, пусть даже на миг, покидает чувство реальности, ибо происходящее как раз не имеет никакого отношения в основном именно к ней, и я чувствую: вот оно... вот оно... вот он — абсурд, и если я лично окончательно не «спотыкаюсь», то на выход из мгновения или протяженности ощущения чистого абсурда требуется известное напряжение всех сил ума и души. И побившись лбом, окропленным черным потом недолгого помешательства, о невидимую стену, отделившую на всех уровнях существования реальную жизнь от бесовского царства театральной бюрократии, играющей с неистовством и самоуверенностью параноика в заседания, съезды, конференции, слеты, месячники дружбы, трудовые вахты, юбилейные сессии, субботники, митинги протестов, выборы судей, демонстрации всенародного подъема и небывалого единства с родными партией и правительством, я растерянно спрашиваю: что же это происходит, господа-товарищи? Может быть, вы опомнитесь наконец? Почему никто из вас, сознавая ужасную лживость лицедейства и того, что верхушка откровенно считает вас жалкими марионетками, не проголосует против? Ни разу! Никогда!

Из психушки мне позвонил однажды врач-злодей. По вашей, мол, части, Василий Васильевич.

Ну, поболтали мы по душам с гавриком. Вот как было дело. Он резко отреагировал на репортаж в информационной программе «Время» с сессии Верховного Совета. И когда депутаты, как по команде, подняли мандаты, а потом зааплодировали, чувствуя себя, очевидно, растворенными до последних клеточек в мире бурных оваций и не желая вылезать на мерзкую сушу воплощенными в прежние депутатские образы, буйный гаврик заорал на весь дом «ПО-ЧЕ-МУ-У-У?» и выбросил телевизор на улицу. Телевизор упал в пустую, к счастью, детскую коляску и не разбился. Безумца увезли в смиренной рубашке в ганушкинскую больницу. Он до сих пор там, ибо бедный мозг, несмотря на мощное торпедирование всякой химией, не отказался от попытки найти хоть сколько-нибудь вразумительный ответ на вопрос, почему никто из депутатов никогда, ни разу не проголосовал «против».

Ну, а как вам нравится, гражданин Гуров, что если бы телевизор упал в коляску на десять минут раньше и на одну минуту позже, то обкакавшийся на свое счастье младенец, которого мама унесла подмывать, а потом вынесла обратно, был бы уже на том свете?.. Это я не перестаю вам намекать на ту, счастливую для вас, случайность...

Но и у меня самого был случай почище, чем телевизор в коляске... Я наверно разряжаюсь после страшного напряжения,

непонятно уже чем вызванного, поэтому треплюсь, сопротивляюсь, возможно, возвращению памяти к детдому имени против фашизма, и вы уж послушайте.

В тридцать восьмом собираюсь кончать тварь одну, специализировавшуюся на взрывании церквей и сделавшую на этом карьеру, ордена и так далее. В его камере это было. Зубами стучит, падаль, чует, что надвигается темень на душу, в угол норовит забиться, а я ему говорю: сучара поганая, это тебе Божья кара за все твои инженерные штучки по «совершенствованию разовых нерассеянных взрывов под объектами архаичной и реакционной культуры»... Диссертация его примерно так называлась... Взрывал ты, гаденыш, храмы по заданию Гиммлера для провоцирования части верующего населения на ненависть к Сталину и его ленинскому ЦК. Все признания и протоколы я сам за тебя подпишу, а тебя, гадость, кокну вот из этого «несчастья». Кокну, если ты мне сейчас правду, выродок, всю не выложишь. Почему ты с такой любовью и с таким искренним рвением занимался преступным, варварским, грязным и уже (тут я наггал) осужденным всей партией делом? Почему?..

Ах, говорю после его признания, потому что вы, большевики, произвели насильственную смену религий под руководством Ленина и его апостолов, и поэтому совершенно логично, сравнив с землей прежние места отправления контрреволюционного религиозного культа, возвести здесь же детсады, детсады, кинотеатры, тир, бассейны, катки, магазины и клубы воинствующих безбожников! Так, так, говорю, антихристово семя, образование у тебя какое? Вышиблен из шестого класса гимназии за кражу денег и бирюзового колечка в публичном доме... Какими книгами увлекался? Троцкий... футуристы... порнография... анархизм... про взрывы... Ленин...

Так, так, говорю, большой ты специалист, большой, смотри в дуло, погань! Достану из кармана «несчастье». К стенке, пес! Смотри в дуло, смотри в черную дырочку, откуда блеснет тебе последний раз адское пламечко, гляди!.. Тут входит в камеру корпусной надзиратель. Вас, говорит, срочно Сам к себе вызывает. Срочно.

Я уже не могу остановиться, стреляю, промахиваюсь, пуля рикошетом от стены бетонной вжикает мимо моего уха и — в глаз вошедшему, на свою беду, надзирателю. Наповал... Чумею от неожиданности. Не добиваю взрывателя храмов. Иду на доклад к шефу. Готов к суду, к разжалованию, к расстрелу, к бессмысленному концу своей жизни. Ликвидируя, говорю, врага народа, случайно сразил надзирателя Промежняка Юрия Титыча. Кладу на стол «несчастье» марки «Вальтер». Начинаю откручивать кубики с петлиц.

Спасибо, Рука, вдруг говорит шеф, обнимая меня, спасибо,

дорогой ты мой человек с истинно чекистским нюхом! Промежняк этот глаза мне намозолил. Законность ему соблюдай, видишь ли! Не расстреливай в камерах почему-то... В тюрьме должен быть порядок, поскольку от тюремного бардака до дискредитации ленинско-дзержинских идей один шаг и прочая бодяга...

Он объективно мешал нам рубать пятую колонну. А кубики, говорит шеф, откручивай, Рука, откручивай, я тебе шпалу сейчас приверну... Вот так я стал капитаном.

Что с тем хмырем, интересуется вас, стало?.. Привернув к петлицам шпалы, вернулся я в камеру и с удовольствием, с аппетитом большим, с настроением приподнятым и бодрым пришиб его без лишнего шума вот этой кулачиной. Предварительно, конечно, сделал все, чтобы для хмырины смерть была не внезапной. Я спец растягивать последнее время жизни, которое, пожалуй, пострашней смерти, как резину... Как резину, гражданин Гуров...

### 31

Выключите проклятый ящик. Депутаты, кстати, получают после сессии по цветному, новейшему, переносному телевизору. О гостинцах я уже не говорю. Икорка, колбаса, рыбка, ондатровые шапки, дублички. В общем, задаривают этих механических человечков, как туземцев лет двести назад. Кормят свой актив. Без него уркам туго. Без него сложно «держать» камеру, барак, лагерь, район, область, республику, страну, сложно. Все должны быть «за». Чтобы выковырять окончательно из зубов эту навязчивую тему, я вам сейчас, гражданин Гуров, тисну одну занятную, на мой взгляд, байку. Мне ее в свою очередь тиснул во время следствия молодой небесталанный безумец. Попался он при передаче опасной информации, гневной статейки иностранному корреспонденту. Статья называлась «Почем нынче визиты?». Говорилось в ней о тупых ритуалах встреч прибывающих в нашу страну различных государственных деятелей и делался приблизительный подсчет нелепо потерянным при этом времени и деньгам... Вот эта баечка.

Сталин врезал дуба. Никита сталинскими же методами вырезал бывших коллег и союзников. Насажал своих рыл, где только можно было. Укрепил положение. Расселся. Обнаглел. Глупостей миллион натворил, но и деловых решений принял немало. Оздоровил кое-что, ослабил кое-где, кое в чем расширил права руководителей ведомств, но входил в прагматизм, как ревматик в холодную воду, как девица в придворцовый пруд, прикрыв срамоту прелестную ладошками, смущаясь острых взоров, выглядывающих из-за кустиков Маркса-Энгельса-Ленина-Суслова и прочих тупых склеротиков — старых

догматиков...

Оттепель, трудная погода для наших органов, когда по улицам в форме ходить было опасно, прошла... Либералы снова расползлись по щелям и кормушкам. Ряды их поредели. Скомпрометировал себя Никита в их глазах, как ликвидатор сталинской тирании и правдоборец, чистками в учреждениях культуры. Подавлением Венгерского античекистского восстания. Отказом от выплаты населению по облигациям многолетнего государственного долга. Ослаблением и полной приостановкой критики сталинских кровавых сатрапов. Повышением цен на масло и мясо. Первой беззаветной и бесконечной любовью к кукурузе, навязанной насильно русскому мужику, привыкшему жить с пшеничкой и рожью, и многим другим.

Но хотя миновала пора хмельного глумления либералов над славным революционным прошлым, над романтикой классовой борьбы, над великолепно поставленными драмами нашего времени — политическими процессами троцкистов-бухаринцев, над поразительными по красоте и изяществу исполнения операциями контрразведки, вырезавшей накануне отечественной войны еврейско-польский генералитет, ветер возмездия оведал горячие лбы, теплели лица отсидевших по четверть века в лагерях и их родственников, сияли глаза реабилитированных, вновь включившихся в партработу, при упоминании имени Никиты. За неслыханную для вождя коммунистов и тиранической сверхдержавы человечность ему прощались промахи внешней политики, анекдотические ляпсусы в области экономики, присвоение фашистам Насеру и Амеру звания Героев Советского Союза, глупое вмешательство в дела такой верноподданной шлюхи, как Евтушенко, неуклонное подорожание и одновременно ухудшение качества водки, царские подарки — авиалайнеры — вождям африканских племен, все прощалось Никите за доказательство возможности управления государством и особенно обществом, человеком, пьяным и трезвым, глупым и мудрым, расчетливым и мотствующим, бескультурным и развивающим науку, бессмысленно грубым и интуитивно душевным, в общем, не холодильником, набитым трупами друзей и врагов, а обыкновенным человеком.

Тут, говорят, либеральные представители некоторых просвещенных компартий Запада высказали Никите недоумение. Как это, вроде бы заявили они, ни разу за всю историю существования вашего парламента никто из депутатов не проголосовал против? Очевидно имелась ранее определенная тенденция подавления депутатской воли? Не может так быть по всем законам термодинамики, кибернетики и логики, чтобы орган вашей законодательной власти, подобно человеческому мозгу принимал решения, определяющие основные параметры жизни государства и общества, без серьезного критического обсуж-

дения, предполагающего естественную регуляцию всегда несовершенного механизма управления, возможную коррекцию мудачьих проектов, отказ от заведомо неэффективных авантюр, защиту прав и интересов граждан и прочее, и прочее. Как так может быть? Рядовых членов наших компартий, да и нас самих интересует принцип работы вашего мозгового треста. Чья воля направляет его деятельность? А если Верховные Советы только кажутся мозговыми трестами, а на самом деле за них думает кто-то другой, то зачем они тогда? На хрена припудривать то место, где по мысли Маркса должна была быть диктатура рабочего класса? Почему вы прямо не скажете всему загнивающему капитализму, что вы отказались от парламентской болтовни и сосредоточили власть в руках пятнадцати членов политбюро, гарантирующих населению неизменную безошибочность своего мыслительного процесса, абсолютную правильность геополитических представлений, экономическую безаварийность, неуклонный рост доходов, защиту прав личности и так далее. Объясните нам, на хрена вам Верховный Совет? Итальянские, голландские, английские, испанские, французские, сан-маринские рабочие хотели бы взять власть в свои руки, но их пугает перспектива заседать в парламентах своих стран с лицами, отрешенными от земных дел, отрешенными от возможности принять решение, сообразуясь со своим депутатским долгом по отношению к братьям по классу, по труду, по мысли, по искусству, приговоренными проголосовать в полной прострации воли и сил только «ЗА»!

Ведь черт знает сколько раз, вроде бы сказали озабоченные руководители, депутаты были уличены в коррупции, аморальном поведении, безмозглости, чудовищных злоупотреблениях, но мы что-то не читали в прессе о признании Верховным Советом ихних ошибок и о лишении негодяев депутатских мандатов, не читали!

Раз уж Вы, Никита Сергеевич, шуганули кровавого вампира из мавзолея, то давайте боритесь последовательно с методами сталинского руководства страной. Давайте нам пример истинного народовластия, мы задыхаемся без него, мы краснеем, мы не можем больше скрывать от членов наших партий ужасающую правду о реальности советской жизни. Мы не можем, просто не можем больше идеальную, казалось бы, модель человека, человека советского, противопоставлять предложенной реакционным Ватиканом модели Человека Божественного. Божественный Человек, к сожалению, оказался не менее, чем человек советский, жизнестойким, нравственным, культурным, умеющим смеяться и любить, как невесту, свою родину, сознающим высочайшую ответственность перед родом человеческим, окружающей средой и перед своим,

якобы сотворившим все это дело, товарищем Творцом. Вот какие пироги, Никита Сергеевич! Трещим по швам, ревизионизм, как водичка в трюмах тонущего корабля, прет изо всех щелей, крысы всякие сигают от нас к социалистам, выручайте, давайте нам хотя бы парочку депутатов, голосующих «против»! Да-вай-те! Неужели не найдется такой парочки у двухсотмиллионного народа?

Тут Никита, говорят, шарахнул стакан чистойшей, как слеза Жанны Д'Арк, правительственной водяры, крякнул, закусил нежинским огурчиком и задумался. Подумав, сказал: парочки такой депутатской у нас не найдется, мы и скрывать это не намерены. Мы, в отличие от вас, давно кучу наклали на мелкобуржуазные парламентские штучки. Не найдется у нас парочки. Парочка депутатов, рабочий, например, и колхозница, голосующие «против» в высшем органе власти, это уже, товарищи, бунт. Бунт! Цепная реакция! Эдак и все двести наших миллионов захотят, чего доброго, сказать «Нет!» планам партии, планам народа. Но вот одного какого-нибудь типа мы вам подкинем. Не сразу. Нахрап в таком деле, по-вашенски говоря, неадекватен, господа-товарищи. Тут подготовка всесторонняя нужна, как перед запуском спутника, а то как шибанет взрыв, и полетим мы в разные стороны, чао даже сказать не успеем. Подкинем, в общем, одного типчика. Пора. Сам вижу: пора! Жополизов хоть отбавляй, а критика, влюбленного беззаветно в наши идеалы, нема. Нема! Поезжайте. Успокойте западное общественное мнение. Сделаем человека. Будет вам «Мистер Против-64», контра по-нашенски, будет!

Уехали успокоенные представители-руководители, а Никита отдает волевой приказ перетормозить личные дела всех депутатов, найти безупречное дело с русской национальностью, рабочим происхождением, образованием, войной, орденами, участием и так далее. Фамилия чтоб была звучная и красивая типа «Каренин» или «Епишев». На алкоголизм проверить, на слабость передка, на мат, семейное положение и международное положение.

Безусловно, подыщите ему дублера, а еще лучше дублершу. Только чтоб без спевки, без половых сношений и коллективной пьянки... Подготовьте кандидатуры. Я, говорит Никита, лично выберу лучшего и евонную дублершу...

Ну, покопались референты в депутатских досье, пошевелили шариками, попотели, потряслись от страха и предложили наконец Никите пару десятков отборных депутатиков из всей апатично выбранной народом кофлы. Сел Никита за белый стол вместе с зятем Аджубеем в крымском имении. Бутылочку «Столицы» под грибки и баклажанчики приперли к стенке. Подумали. На фото депутатов погля-

дели. Остановились на Боронкове Федоре Кузьмиче, ниже-тагильском металлурге, здоровенном и красивом мужике с веселой, задубевшей от стального жара рожей. Дублершей его выбрали народную артистку СССР Яблочкину. Лет девяносто стукнуло старушке. Старая дева. Не пьет, не курит, не лесбиянствует. Полная потеря ощущения собственной личности от многолетнего пребывания на сцене в чужих шкафах. В общем, то, что доктор прописал.

Ну, начали их готовить к торжественному голосованию на очередной сессии Верховного Совета СССР против одобрения деятельности партии и правительства. Раздельно готовили во избежание создания организованной «Оппозиции Двух»...

Три дня до сессии остается. Никита принял меры по усилению бдительности на всех постах. Приказал объявить в программе телепередач о хоккейном матче СССР — ЧССР после репортажа из Георгиевского зала, чтобы, не дай Бог, не высыпал народ на улицы, нагнав на депутата, голосовавшего «против». Не дай Бог. К окраинам крупных городов были подведены воинские части. Дивизии «Голубых беретов» ночевали в самолетах, ожидая выброса на территориях союзных, особенно прибалтийских, республик, в случае возникновения непредвиденных волнений среди держащего камень за пазухой населения...

Академики не взяли на себя ответственности за прогнозирование возможных реакций народа на проявление одним из депутатов невиданного героического свободомыслия. Эксперты же КГБ не исключали восстания алкоголиков, спорадических вспышек сексуальной революции, глумления над революционными святынями, сжигания некоторой части портретов госдеятелей, еврейских погромов, требования Армении объявить войну Турции, разбрасывания в публичных местах стихотворений Пастернака, провозглашения независимости Украины и Грузии, бегства колхозников в единоличные хозяйства, физического уничтожения работников сферы бытового обслуживания, ограбления банков и спецмагазинов закрытого типа.

В общем, если бы царское или временное правительство приняло хотя бы тысячную часть предупредительных мер по борьбе с оппозицией, принятых нашими советскими, партийными и карательными органами перед неслыханным, первым в истории СССР голосованием «против», то Октябрьской революцией даже не запахло бы на просторах одной шестой части света...

Спецкомиссии между тем разрабатывали предложения по депопуляризации личности Боронкова Федора Кузьмича после его триумфального противопоставления своей персоны планам партии, планам народа. Готовилась к печати автобиография героя дня, где он прямо и откровенно признавался в нали-

чий у него с некоторых пор оппозиционных настроений, в алкоголической наследственности, прослеживаемой до пятого колена, и в регулярной ловле различных вражеских голосов, успешно заглушаемых нашими славными дезинформаторами. На Нижне-Тагильском металлургическом комбинате уже репетировался митинг гневного протеста против антитоварищеского поведения Федора Кузьмича, получившего наказ избирателей добиться в Москве улучшения снабжения ниже-тагильцев продуктами первой необходимости, а вместо этого закапризничавшего, завыебывавшегося и впавшего в беспартийные амбиции. Ну, а газетных заголовков, транспарантов со словами «Боронкову — наше гневное нет!!!», «Никому не сокрушить монолитного единства партии и народа» и прочей хреновины заготовлено было превеликое множество...

После заседания планировался дружный уход всех депутатов из Георгиевского дворца. Федор Кузьмич должен был в полном одиночестве растерянно и тупо смотреть в глаз телекамеры, пока диктор не скажет: приглашаем вас, дорогие товарищи телезрители, посмотреть хоккейный матч между... Тут Федор Кузьмич по замыслу режиссеров расплывался, постепенно превращаясь в клюшку, а потом в шайбу и в лед.

В общем, гражданин Гуров, за день до открытия сессии, когда уже начали съезжаться в Москву депутаты и им выдали талоны в бесплатный ресторан, в закрытые промтоварные магазины и по одной ондатровой шапке на душу, страна наша находилась на пороге новой жизни, а ее вожди в прединфарктном состоянии. Суслов харкал кровью и готовил самолет для бегства в Китай. Лубянку и Старую площадь лихорадило.

Тут скончалась от физической невозможности продолжать жизнь на сцене дублерша Боронкова актриса Яблочкина. Текст своей последней роли она унесла в могилу.

Сам Боронков находился в это время в полнейшей изоляции от мира. Ему прокручивали кинорепортажи, заснятые нашими агентами на заседаниях разных парламентов, кнесетов, фолькетингов, конгрессов, стортингов, дансингов и прочих форумов буржуазной лжедемократии. Натаскивали, разумеется, как надо вести себя перед голосованием «против». Недовольно дергать ножкой. Пожимать плечами. Саркастически лыбиться. Иронически выкрикивать «браво». Прерывать речи вождей правого крыла выражением «а уж это, батенька, не лезет ни в какие ворота!». А также говорить про себя различные грубости в адрес руководителей правящей партии, правительства и мысленно глумиться над их святынями и идеалами. Зачеты по всем этим делам Боронков сдал блестяще.

Когда оставалось несколько часов до открытия истори-

ческой сессии, первого, единственного и величайшего оппозиционера могущественной сверхдержавы, депутата Верховного Совета СССР от Нижне-Тагильского избирательного округа привезли в автофургоне с надписью на борту «Пейте томатные соки!» в кабинет всеильного Никиты. Стол его, говорят, был завален сводками о состоянии здоровья руководителей республик, высшего генералитета, обкомовских и райкомовских работников и прочих урок помельче. Состояние их здоровья было ужасным. Многие сутками не выходили из кабинетов, и самые мощные микрофоны улавливали беззвучный, казалось бы, вопрос, исходивший от всего существа повергнутых в уныние чинов: а дальше что?

Так чувствовали себя, вероятно, самые чуткие к изменению атмосферного давления и тектоническим сдвигам кошки перед последним днем Помпеи. Поэтому в Помпейских развалинах до сих пор не было найдено ни одного, буквально ни одного кошачьего или котеночкиного скелета. Естественно предположить, что почуявшие беду кошки сделали все, что было в их силах, для спасения себя и своих детей от ужасного, неумолимо приближающегося к стенам бедной Помпеи катаклизма.

Только не надо со мной спорить, гражданин Гуров! Не надо! Вы что, полный debil и кретин? Вас действительно больше всего на свете интересует, на самом ли деле кошки были единственными из спасшихся в Помпее тварей, или все это злая сатира? Больше вас ничего не интересует, бесчувственное животное?.. Ах, просто кошку свою вы боготворите, потому что она, в свою очередь, любит вас мистически и беззаветно... Вот как. Тут есть над чем подумать, есть, но продолжим, и не перебивайте меня, сука вы эдакая!

А дальше что?.. А дальше что?.. А дальше что?

Никита включал магнитофон «Сони» и до него доносился этот унылый вопрос, тысячеустно произнесенный в разных концах нашей необъятной родины остро и тоскливо чуявшими глухое шепуршение злых тектонических сил партийными придурками и воротилами вроде вас. Только одного «против» вы опасались, как маленького клинышка, вбитого в трещинку монолита и начавшего тем самым пусть медленное, пусть неприметное иному оку, но все же неотвратимое разрушение вроде бы неразрушимой громадины, под тяжестью которой задыхаются и силы, и дух многих народов! Наложили в штаны, завоняли, затрезвонили друг другу, завздыхали в душной истоме тревог и печали: а дальше что?.. А дальше что?

Началась, кроме всего прочего, после утечки информации о готовящемся событии серия самоубийств некоторых материально ответственных лиц с богатым воображением.

Все они, благоденствующие полвека в коррумпированной сверху донизу структуре государства, живо представили свое сирое и скорбное будущее после исторического голосования Боронкова «против»... Огромная страна стояла, пользуясь тут, извините, гражданин Гуров, выражением Швейка, на грани политического, экономического и морального крахов.

А когда Громыко поэтично обрисовали трагические картины распада огромной Советской Империи, неизбежно наступившего после акции Боронкова Федора Кузьмича, проголосовавшего «против» на глазах всего мира, изумленного и обнадеженного этим героическим, открывающим огромные перспективы шагом, то Громыко, говорят, подумывал о петле. Он сидел на Смоленской площади, молчал, а в кабинете Никиты то и дело звучал усиленный мощной аппаратурой, трансформирующей красноречивое молчание в звуковые колебания, внутренний голос министра, и донныне таскающего по лестницам и континентам свой портфель, несмотря на фантастические провалы внешней политики: а что же дальше?

Вот тут-то и втолкнули в кабинет Никиты Боронкова Федора Кузьмича, шепнув ему предварительно, чтобы отвечал на все вопросы правдиво, весело и непринужденно, и ни в коем случае чтобы не вздумал посылать Никиту Сергеевича в жопу: он Боронкову не директор металлургического комбината, он стойкий марксист-ленинец, а также победоносец над драконами Иосифом Виссарионовичем и Лаврентием Палычем.

— Ладно. Постараемся, — будто бы шепнул в ответ инструктору ЦК Федор Кузьмич.

— Вот ты каков! — сказал Никита. — Здорово, гусь лапчатый. Мы тут уже указ подготовили о награждении тебя за мужество, проявленное при исполнении депутатских обязанностей, орденом Кутузова первой степени. Ленинскую премию тоже получишь за вклад в теорию. В какую именно, пока неизвестно. Академик Федосеев думает... Ну, так что же дальше, Федор?

— Дальше будем голосовать, Никита Сергеевич, против, согласно приказу и личной ответственности. У самого ведь тоже многое наболело.

— Ну, а против чего же собираешься поднять ты свой мандат, врученный тебе не Эйзенхауэром, а народом? Против чего?

— Против всего, — честно и открыто, по-детски при этом улыбаясь, ответил Ф. К. Боронков и пояснил. — Я тут прикинул своим рабочим умишком, что хули уж разбрасываться по мелочам, по пунктам всяким, статьям и параграфам. Если уж рубать первый раз «против», то рубать надо против всего. Хули мучиться, Никита Сергеевич? Что я сюда

ебаться, что ли, приехал за тыщу километров? Неужели уж если мы на партсобраниях возражаем начальству, против говорим, то на сессии Верховного Совета перебздим пердячим паром и рассыплемся в мандраже, как говнюки в своих ёбанных парламентах? Правильно я дотумкался? Давно собирался, да всё стращали нас, когда шапки выдавали пыжиковые: не забывать, что все мы «за».

— Вот как, оказывается, обстоят дела в голове передового рабочего класса, гегемона нашего проверенного и испытанного! — говорит Никита. — Ну, что ж, Федя, давай сядем и прикинем, против чего же ты все-таки собираешься голосовать? Ведь на тебя и так уже весь мир, благодаря журналистской заразе, смотрит... Против чего? Неужели против... нашего сегодняшнего, вчерашнего и завтрашнего... против всего? Ты сознаешь свою историческую ответственность?

— Сознаю! От всей груди сознаю! Я уже и с бабой и с детьми попрощался. Тут я, как Гагарин в космос, запускаюсь и готов на все сто, к любой, как говорится, беде. До конца пойду, выстою, Никита Сергеевич. Вам тяжелее было, и то обошлось, а мы как-нибудь перекантуемся.

— Хорошо, — говорит Никита. — Будешь ли ты, Федя, голосовать за утверждение госбюджета на текущий год?

— Зачем же? Конечно не буду! На хер он мне сдался? — простодушно признался Боронков.

— Поясни, Федя, — почему, если ты разбираешься в международном положении и яичном порошке, — потребовал Никита.

— Много расходов на вооружение, мало на автомобилестроение. Мы хотим жить почище фордовских наймитов и катать на рыбалку на машинах. Затем ковров маловато выпускаем, телевизоров. Обувь — говно, пальто человеческого нигде не купишь, и я, хоть и металлург, но поднимать желаю не тяжелую, а легкую промышленность. От тяжелой у народа уже по две грыжи на рыло имеется. Продолжать?

— Валяй, валяй, — угрюмо, но с большим интересом сказал Никита.

— Еще я желаю перевести часть капиталовложений из атома в сельское хозяйство. Скоро жрать нечего будет.

— Дальше.

— Дальше прошу указать в бюджете точную цифру средств, которыми мы подкармливаем иностранные компартии, а они, как волки, только и смотрят, чтобы в джунгли побыстрее убежать.

— Это ты правильно, Федор, рассуждаешь, но мы так прочно увязли в трясине народно-освободительных движений, что сам не знаю, как быть. Я бы и рад из говна вылезти. Суслов мешает. Любит он это дело, дурак.

Хлобыстнул тут Боронков водки стакан из хрустального графина и совсем осмелел.

— Обязательно хочу, чтобы в бюджете указали выплачивать народу денежку за облигации. Мы же от души давали в долг партии и правительству, от детишков кусок, можно сказать, каждую получку отрывали, а вы — рраз — и накрылись жареной мандой все наши займы. Нехорошо. Так только в тюрьме урки с мужиками поступали. Я против!

— Может быть, ты, Федор, также против Ассуанской плотины, которую мы по-братски строим в Египте? — спросил Никита.

— Против! Все равно они скурвятся, а денежки, миллиарды наши — плакали. Я против! Я думаю, что Индонезия тоже скоро скурвится, как скурвился Китай! Выходит, мы на свою шею обстраивали его? Ведь мы за те же деньги могли школ настроить, новую модель ботинок изобрести, стадо увеличить, лишних ракет десять в космос захреначить! Откуда такая глупая недалёковидность? Спасибо, что вы быстро очухались. А по моему мнению, надо крупные капиталовложения делать не в друзей, так называемых, Советского Союза, а в торговлю с врагами. Они завсегда могут оказаться друзьями, а вот дружки только и ждут, чтобы обхватить нас, ободрать почище, и в удобный политический момент уши приделать. Да кто вам, между нами девочками, дороже, Никита Сергеевич, собственный народ или Насеры, Лумумбы и прочие Ким-Ир-Сены?

— Короче говоря, на сессии ты не собираешься одобрять нашу классовую внешнюю политику, имеющую в виду во главе с Громыко освободить всех из-под власти капитала и империализма, а заодно захватить у миллионеров ихние нефтяные месторождения, концерны и тресты?

— Да! Я голосну против! Ни за что не одобрю внешнюю политику. Нехера нам делать в Африке и в Азии. Дома дел хватает. Нечего самим становиться империалистами. Мы — нижнетагильцы — против! Тут нам все ясно в отличие от Громыко! Против! Да и зачем освобождать от капитала американца, шведа, австралийца, канадца, финна и других рабочих разных наций, включая японца, если они загребают в пять — десять раз больше меня? Чтобы снизить уровень жизни? Где тут логика-то? Не понимаю. Я против, потому что я болею, болею за брата по классу, за пролетария, и зла ему не желаю, но каждую получку завидую. Тут ничего мы с собой поделать не можем. Давайте закусим, Никита Сергеевич. Хороша у вас водочка! Родник! — выпили оба государственных деятеля, закусили, и Боронков живо продолжал. — Отобрать у Морганов-Дюпонов концерны и недра не мешало бы, конечно, но тут есть опасность: вдруг Рок-

феллеру не по душе это дело придется? Вдруг он встревожится, скажет «ну, уж хуюшки!», взбрыкнет копытом, а это уже война, может, и не мировая поначалу, но во всяком случае третья отечественная. Я против войны и никаких не признаю наших кровных интересов в чужих колониях, странах и концернах! Будьте здоровы, Никита Сергеевич!

— Отлично! Отлично! — сказал Никита.

— Стараемся, как можем, хули говорить! — заскромничал Федор Кузьмич.

— Так... Выходит, ты голосуешь против бюджета и стратегических целей нашей внешней политики. Так. А с огромными инвестициями в ядерно-ракетный комплекс согласен?

— Против! Против и еще раз против!

— Почему?

— Даже не знаю. Если все — «за», значит я — «против». Главное, чего спешить с этим космосом? Куда он денется? Темпы его освоения мне не нравятся, ибо прорех на земле много. Врачи участковые, пидарасы, иногда аппендицит от гриппа отличить не могут, учат их мало и времени для лечения дают в обрез. У меня Миронов из бригады дуба врезал. Думали ангина у него с поносом, а зевнули перитонит. Улучшать надо подготовку врачей. Мы же не хрюшки со свинофермы. А вы говорите «Космос»!

— А как насчет кукурузы? — осторожно поинтересовался Никита.

— Я против. Мой зятек говорит, что проклинают ее кое-где крестьяне. Анекдот во многом эта ваша царица-кукуруза.

— Следовательно, раз тебе кукуруза не нравится, то ты, Федор, против постановлений партии о дальнейшем развитии кино, театра, художников, музыки и литературы?

— Конечно! А как же? И кино, и романы только ухудшаются от этих постановлений. Страху они прибавляют деятелям искусств. А уж какое от страха искусство, мы и по телевидению видим, и в журнале «Огонек» читаем, и в тухлых книжках, и в фильмах задристанных, и в прочих шедеврах, как говорится, соцреализма. Я против! Мне остоебенило видеть на заводе и на улицах одно, а читать другое. Что я, сумасшедший, что ли? Это только у безумцев и трусливых писак отличаются представления о советской жизни, так сказать, от самой реальности и наоборот. Мы не идиоты, мы видим все это, понимаем, а если читаем, смотрим и слышим всякое говно, то ведь ничего другого делать не остается. Разве что пить? А мы и пьем другой раз. Ей-Богу, веселее это дело, чем в киношке скрежетать зубами от смертной тощищи... Я против. Талант, полагаю, не чугун: его по одинаковым формам не надо разливать, пущай себе

течет как знает по земле, пока не затвердеет. Я вот в цеху люблюсь на сливки металла застывшие, на лужицы разнообразные, а чушек отлитых видеть не могу. Девяносто процентов ваших писак, художников и режиссеров — чушки! Дошло?

— Дошло, Федя, дошло, и еще как дошло! Чуть не до желудка достало. — Тут Никита выключил усилители, чтобы не мешал ему общий хор, вопрошавший «А что же дальше?», в который вплелись дисканты польских, чешских, румынских, венгерских и других младших братьев, побеждающих нашими танками биологическую несовместимость своих народов с тем, что принято называть социализмом. — Дошло, Федя. Ты и насчет Пастернака не согласен?

— Да! И тут я против. Вы бы дали нам сначала прочитать эту «живагу», а потом уж обливали его помоями. Мы бы хоть знали, за дело или снова по вашей же глупости.

— А целина?

— Целина дело неплохое, но вы бы посчитали, во сколько пуд хлеба обходится на целине, если технику туда и обратно вы возите с другого конца Союза, если половина зерна гниет, горит и теряется из-за распиздяйства, плохих хранилищ и неродственного отношения городских молодых людей, в приказном порядке ставших хлеборобами, к земле, к колоску, к зернышку. Трубить надо меньше. Будто до нас человечество целины не осваивало. Весь земной шар распахали, а звону об успехах не слышать, хотя фермер в одиночку за двадцать наших остолопов работу производит! Тут я воздерживаюсь.

— А Сталин тебе как?.. Выпей, выпей еще, не пужайся.

— Насчет Сталина я тоже воздерживаюсь. Но и против идти не могу. Вы же только начали очищать Кремль от культа. Работы меньше половины сделали, и вообще она, говорят, свертывается. А о полработе чего говорить? Это вроде как всунуть, тут же вытащить и впустую ждать девять месяцев. Кончить надо, одним словом, работу.

— Куба? — коротко, начиная багроветь, спросил Никита.

— Против! Дорого больно платить Фиделю восемь миллионов в день, если не больше, и опасно. Америка ведь не олень сохатый, она чует, что к ней подбираются. А сам Фидель нам, нижнетагильцам, не по душе. Орет с трибуны, как наш секретарь парткома, и фиглярничает по-профурсетски. Я за Кубу, но против заморских авантюр. Восемь миллионов новыми! Просто охуеть можно! Для этого, что ли, цены на мясо, масло повышали. Я против. Кроме того, вся страна охвачена из-за оптимизма очковтирательством.

— А денежная реформа?

— Обьебаловка чистая! Сами знаете. А не знаете, загляните на рыночек. До реформы пучок петрушки сколько стоил?

Десять копеек. Чем десять копеек стали? Одной копеечкой. Сколько нынче стоит петрушка? Двадцать копеек! Во сколько раз цены выросли? Позвоните министру финансов. Он ответит. У него башка большая. Я против!

Тут входит секретарь Никиты. Так, мол, и так, говорит, Никита Сергеевич, Юрий Левитан готов! Трижды гоголем-моголем глотку ему прочистили. Рвется в эфир. Еле держим. Депутаты уже в фойе. В киосках дефицит покупают, в буфетах лимонад пьют, а представители рабкласса — пивком балуются, дефицитную воблочку посасывают. Ждем исторического голосования.

— Выйди прочь, — говорит ему Никита. — Левитану приказать забыть текст информационного сообщения. Велеть прочитать по всем радиостанциям стишок этой обезьяны Рождественко: «Партия — сила класса! Партия — мозг класса! Партия — слава класса! Партия не баба, она мне никогда не изменит, друг к другу прижатая туго!» Но чтобы громче читал! Чтобы весь мир его слышал, и все либеральные компартии чтоб трепетали от нашей титанической негиблемости... Тебя же, Федор, я спрашиваю: как же ты мог говорить «против»? Как? Не укладывается это в голове моей, повидавшей и не такие виды! Ужас! У-жас!

— Так ведь вы... сам и инструктаж, как говорится, — забухтел Федор, теряя логику существования.

— Что я? Что сами? Что инструктаж, етит твою контру в доменную печь! Ну, учили тебя, ну, инструктировали, приказать даже могли голоснуть против, мало ли чему нас плохому вообще в жизни учат? Меня же учил Сталин быть кровопийцей до конца, но я ведь не стал им, я ре-а-би-лито-вал! Я «Иван Денисыча» напечатал, я Пастернака не поставил к стенке, я через себя, можно сказать, перешагнул, через бздилогонов сталинских, через КГБ, МВД, Суслова, Ибаррури, Мао, Молотова, гнусную, кровавую рожу Кагановича, этого Каина нашего времени, убившего брата Авеля Моисеевича, я же перешагнул через железный занавес, а ты? Как ты мог?

— Готовили меня к историческому, как говорится, шагу... учили... Зачеты опять же... Я и слился с тем, что говорю. Мне это «против» родным как бы стало, вроде вас, партии и правительства... — Федор, говоря, трезветь хмуро начал и злиться.

— Я тебя не про то. Я знаю, что тебя учили. Я лично проект сей породил. Я тебя спрашиваю, сукин ты сын, как ты *сам* мог пойти, органически, так сказать, против, *сам*? Вот что в башке моей не укладывается! Как ты САМ мог? А если бы, скажем, ВЦСПС приказал тебе предать родного отца и уморить голодом матушку, ты что, стал

бы злодействовать? Да? Ты и в Венгрию не ввел бы войска?

— Ни за что не ввел бы! Насильно мил не будешь! — сказал Федор.

— А что дальше? Что дальше? Что дальше? — застучал Никита кулаками и затопал ногами.

— Сначала я проголосую, а там видно будет, — беззаботно сказал Федор.

— Нет, Федор, — будто бы сказал Никита. — Белогвардейская, кулацкая, жидовская, модернистская морда. Голосовать ты не пойдешь. Ты воздержишься. Мы так и сообщим в закрытом порядке товарищам: воздержался. Нельзя сразу быть против. Либерализация — процесс бесконечно долгий, как и путь к абсолютной истине. Спешить некуда. Сиди здесь, вот — ключ от бара, пей что хочешь и музыку слушай... Потом домой поедешь. Мы защитим свои устои. Никак, никак, хоть убей, не могу я понять, как ты органически согласился быть против? Молчи, сукин сын, и скажи спасибо, что не ликвидируем мы тебя на месте, как Берию!

Федя в кабинете, говорят, допивать остался, а Никите так и не простили ближайшие сотрудники того, что потряслись они и в штаны наложили. Чем все это кончилось, вам, гражданин Гуров, хорошо известно.

## 32

Я устал. Безумно устал. Я отдыхать буду. В тенёчке полежу на пляже. Помидоры проползу, ботву подрежу, яблоньки подопру. Вы читали «Графа Монте-Кристо»?.. Тогда почитайте. Специально для вас доставлена любимая моя книжечка из библиотеки Дома творчества писателей. Смешно мне стало, когда я давеча порылся там в книжках классиков и вообще достойных авторов, а потом зашел в столовую и окинул печальным взглядом трутней, слепней, клопов, летучих крыс, ящериц, черепах, раков, шакалов, гиен, кошечек, оскопленных петушков, хамелеонов, ценимых начальством за прочно удерживаемый кожей красный цвет, посмотрел я на пауков, свиней, буревестников, прогнозирующих вечный штиль, на соболей, хававших себе подобных особей, на волов, пашущих и боронящих на тучных нацнивах, на лисиц, на кротов, на ручных соколов в наглазных повязках, на грифов, гордо, как орлы на скалах, сидящих на обглоданных до костей останках классиков, посмотрел я на горных орлов, клюющих с ладони тюремщиков и палачей, на низколобых горилл, научившихся выдумывать в неволе тексты пошлейших песен, на попугаев, говорящих за орешки и семечки: «Солженицын — дурак!», «Сахарров — враг!..»

Посмотрел я на грустных, безголосых соловьев-соловушек,

на потерявших нюх и наследственные качества красивых псов всех пород, страдающих от скучной службы и общей шелудивости, на бывших иноходцев, впряженных в тарантасы и трусящих мелкой трусцой по колдоебистым российским большакам, на ослов, осликов, на непьющих месяцами верблюдов, на барашков, готовых стать шашлыками на кухне Дьявола, посмотрел и отчетливо стало мне ясно, что дома творчества писателей — это всего-навсего лагерные бараки привилегированного типа, что питание, шмутки и работенка их обитателей получше, почище и полегче, чем у трудящихся на общих работах. Расконвоированные есть даже в этом бараке. Выездные. Погуляют на свободе, в Англии, например, и возвращаются. На свободе хорошо, а в лагере привычней, хотя и не лучше. На нарах ведь все-таки родились и выросли.

Понимаю, гражданин Гуров, есть среди обитателей этих творческих барачков так называемые порядочные писатели, драматурги и поэты, не буду спорить насчет упомянутых нескольких фигур, не надо делать из меня идиота. Я просто хотел сказать, что когда я окинул печальным взглядом обедающих в лагерной столовке, а столовок лагерных я повидал немало, меня вдруг пронзила, непонятно почему, страстная жажда свободы, хотя я ни разу в жизни не пробовал на вкус этой штуки, не пробовал и был уверен, что вполне, раз уж такая у меня судьба, можно смириться с ее отсутствием, как мирюсь я с отсутствием кокосовых орехов и... невозможностью отхарить в стог сена крепкую, кислотоватую, словно яблочко, девку... Спасибо вам за поправку. Да: мне и не хочется... Но что же это за орган есть в существе человеческом, в таком замызганном черт знает чем человеке, как я, если вдруг просыпается во мне жажда свободы, хотя образ ее неведом, плоть не надкушена и цвет темен бездонно! Может быть, я так остро почувствовал жажду свободы от серого рабского вида общей неволи писателей и невыразимо унижительного процесса общего казенного питания? Не знаю... не знаю...

Думаю и не пойму. Возможно, мы как звери, рожденные в зверинцах, не осознаем значения стальных прутьев — преграды между нами и волей? Но вдруг всем естеством своего существа ощущаем ненормальность отделения нас от чистого бытия чем-то жутким, переставшим быть ощутимым, но именно поэтому ужасающим и еще больше сводящим с ума в мгновение, поразившее душу и воображение жаждой свободы...

У меня сейчас мой голос был? Говорите быстро!.. Вы опять ничего не заметили? Странно. Мысль о свободе мне понятна, но, кажется, я говорил голосом того... не помню, кого... он был неповинен в дьявольщине, это — точно... получил минимум... ни лица, ни фамилии не вспомнить... Ладно.

Доброе утро! Как книжечка? Вы не можете себя насиловать и читать то, что вам не нравится... Так... Вы «уважаете» другую литературу... Про путешествия и зверей... Ясно. Мы, палачи, иногда умеем ставить диагноз: вы, гражданин Гуров, бежите нравственных проблем, изложенных в бессмертной, захватывающей форме... В масть гадаю? А как у вас с детективами? Вы слышите?.. Что у вас с убийствами? Я имею в виду насилие, совершенное вами лично с помощью ядов, холодного или огнестрельного оружия и удушения... За кого я вас принимаю? Это — трудный вопрос. Ну, так все-таки? Как с убийствами у вас в отчетный период, в момент, когда народ обсуждает свою новую конституцию, а если говорить точнее: распорядок внутрилагерной жизни?..

Ваши руки никогда не были замараны чужой кровью, вы не стреляли, не травили, не душили. Согласен, опять же только потому, что не имею доказательств, опровергающих ваше утверждение... Не стреляли, не душили, не травили... А почему вы, позвольте полюбопытствовать, ни словечком не обмолвились о холодном оружии? Да! Не стреляли, не душили, не травили. Но, возможно, размазживали или вгоняли под ребра?.. Ничего подобного с вами не случилось... А вот тут-то я так легко не соглашусь, как раньше, не соглашусь. От чего скончалась в тысяча девятьсот тридцать девятом году ваша приемная матушка, Коллектива Львовна, рождения тысяча восемьсот девяносто четвертого года, в момент смерти было ей сорок пять лет?.. От кровоизлияния в мозг... У вас сохранилось свидетельство о смерти... Допустим, что оно не туфовое, вроде вашего белого билета, купленного у доктора Клонского за пятьдесят штук и пару американских патефонов. Допустим...

Вспомните собрание, где вы прочитали заявление об отречении от отца, прочитали донос, и кодро грязное аплодировало вам, а большевичка Коллектива Львовна Скотникова, взяв в этот патетический момент шефство над вами, двадцатилетней сволочью, как над сиротой, объявила себя вашей партийной мамой. Ей стукнуло тогда сорок три года. Баба она была боевая, по рассказам живых еще ваших сверстников, и красивая. Брила усы, ибо если их не брить, отрасли бы, как у Буденного. Соратница Плеханова, затем Троцкого, затем Ленина. Сталин близко к себе ее не подпускал, но услугами пользовался. Продала на смерть и в ссылку Коллектива Львовна несметное количество дружков по партии. Имя идиотское дал ей папенька, большой поклонник Черны-

шевского...

Вспомнили собрание? Отвела вас после него Коллектива, Клавочка, как вы стали ее звать впоследствии, за ручку, сынульку своего, к себе домой?.. Отвела... Накормила?.. Напоила?.. Спать в кроватку уложила? Уложила баю-бай и сказала: обнимай!.. Так оно было дело в общих чертах?.. Не совсем так. Может быть, вы не жили с Коллективной-Клавочкой, половой, революционной бандиткой?.. Жили... Ничего я, сами понимаете, гражданин Гуров, в сексе не смыслю, но представляю, как, должно быть, жарко и сладко было сорокатрехлетней Коллективе, пылающей, словно вечный огонь неизвестного солдата, уложить вас, здорового, высокого, румяного кобеля, в кроватку и навалиться, исколов щетиной ваши губы, и драть вас всю ночь, как красну девицу. И ваше омерзение представляю я, то возникавшее в паузах, то пропадавшее в вулканической ебле, на которую, по словам живого еще ее любовника, я разыскал его, горазда была Коллектива Львовна. Вот тебе и партийная мамулька. Рассказывала она вам в постельке о романтике конспирации, о допросах в жандармерии, об эмиграции, о славном Октябре, о службе в Крымской ЧК, где она самолично прижигала сигарками половые органы белогвардейцев-мальчиков и стариканов, и о легендарном раскулачиванье? Не помните постельных разговоров... Хорошо... Так от чего же тогда скончалась в тысяча девятьсот тридцать девятом году, седьмого ноября Коллектива-Клавочка?.. От кровоизлияния в мозг, и шел бы я к ебени матери... Хорошо. Оставим на время этот разговор.

## 34

Вернемся к тому, как возлюбил я тюрьму в тюрьме. Точнее было бы сказать: тюрьму тюрьмы в тюрьме. Ибо детдом имени против фашизма был тюрьмой в тюрьме страны Советов, но и в детдоме была еще одна тюрьма — кандей, трюм, карцер. Вот я и подсел в него на семь суток за удар кулаком по черепу похотливого активиста. Я думаю, что мальчики, почуявшие в себе влекущую к половухе силу, не были никакими извращенцами. Просто, когда во тьме жизни нет света женщины, то плоть людская, особенно мальчишеская, существует вслепую. А в темени — на что наткнулся, с тем и стыкнулся. Сам я был невинен, только не вздрагивайте, гражданин Гуров, а мальчишки кого только бывало не употребляли в дело! И самих себя, и соседа, и корову, не без смеха, конечно, не без хохота, и котят совращали, и онанировали прямо на уроках, глядя на старух-учителок глазами, выпученными от похоти к приближающейся цели.

В общем, сию я в кандее еще с несколькими рылами.

Режемся на щелчки в картишки самодельные. Я всё, как назло, проигрывал. Лоб мой гудел уже от щелчков, но, думаю, блеснет фарт и мне, больше одного моего щелчка никто из вас, падлы, не вынесет! Терплю. Зверюю постепенно, но отыграться мне не пришлось. Кто-то что-то сфармазонил, подсек картишку или смухлевал при сдаче. Сначала Гринберг сказал фармазону, что если бы Керенский, блядь такая, у которого фармазонов отец служил адъютантом, не предал Корнилова, то большевистская проституция сразу была бы взята к ногтю, а Россия бы стала нормальной буржуазной демократией, где и народ, свободно дыша, пил и ел от пуза, а не чумел бы от гражданской войны, терроров, голодух, курсов на индустриализацию и головокружения от успехов.

Сашку Гринберга полностью поддержал четырнадцатилетний князь. Керенский, сказал он, мать собственную жарил. За это его Ленин хвалил.

Ты, сукоедина, помалкивай, вмешался Коля, сын одного из руководителей промпартии, если бы не ваша великосветская шобла, блядовавшая за границей и в Ливадии и безответственно относившаяся к дворянскому долгу перед отечеством и народом, то мы бы не в вонище кандейной в карты резались, а на университетских скамьях сидели. Суки!

Все вы хороши, влез в спор младший братишка деятеля рабочей оппозиции, а особенно меньшевистские хари. Цацкались, цацкались с Лениным, вот и получайте мягкую затычку в рот.

Меньшевистская харя с ходу облаяла Сашку, заявив, что во всем не марксисты настоящие, а евреи виноваты. Сашка оправдывался тем, что его папаня учил стрелять эсерку Каплан и ныне проклял марксизм как таковой.

В спор вмешались кадет, брат какого-то опального поэта, племянник личного шофера Троцкого, сын кронштадтского мятежника, двое голодающих Поволжья, пасынок хозяйки борделя, беспризорник и купеческие дети.

Тут за Сашку вступился Пашка Вчерашкин. Отец его был завскладом диетпродуктов в Кремле, проворовался и сидел на Лубянке. Сашка и Пашка дружили, несмотря на разные политические платформы посаженных отцов.

Драка началась дикая и кровавая. Я сидел, наблюдал, ищите теперь виноватых, думаю, давите, твари, друг друга, как папашки ваши давили и мамашки. Нам же, мужичкам, расплатиться пришлось за все почище вашего. Одни из вас потеряли цепи, другие их нашли, а мы и земли, и близких лишились.

Эй, ору драчунам, психованным, как звери, от своей проклятой жизни, кончай бузу!

Стал я их разнимать. Кулаком по темечкам — бах, бах,

бах. Не сильно бил. Так, чтоб только перед глазами поплыло. Как вдарю, так — с копыт. Всех утихомирил. А Вчерашкина Пашку просто от верной смерти спас. Князь занес уже над его башкой парашу, да я успел удержать. Убил бы, как пить дать, убил бы. Сподобило меня вовремя оттолкнуть князя. Несколько случайностей, Пашкина, княжеская и моя, скрестившись на миг, словно лучи, в одной точке, смылись в бесконечность или в долгий оборот до новых встреч с нашими судьбами.

Если б врезал тогда князь парашей между рог Пашке Вчерашкину, то не сидели бы мы сейчас на этой вилле, гражданин Гуров. Поверьте...

Вы думаете, нам только кажется, что в нашей жизни масса случайностей?.. Это — неплохая мысль. На самом деле, уверяете вы, не масса, а всего одна у нас имеется случайность? Так? Но с мгновенья зачатия случайность начинает двигаться вокруг нас по орбите. Я правильно понял? Орбита может быть такой растянутой, что случайность до конца чьей-либо жизни не успевает к ней возвратиться, принести счастье или беду, и получается, что единственной случайностью такой жизни было зачатие. Интересно! Смерть же пришла естественно, на восемьдесят девятом году жизни, в глубоком и, судя по посмертной улыбке, счастливом сне. Интересно. Таких судеб мало, гражданин Гуров, и нехрена им завидовать.

Возьмем вот мою судьбу. Вертясь по короткой орбите, случайность иногда прошивала меня ежемесячно, еженедельно, ежедневно, казалось временами, что ее орбита — мой чекистский ремень из прекрасной кожи, я жил в чудовищном напряге. Но вдруг, неведомо какая сила запускала случайность в многолетнее шествие по космосу моей судьбы и наступал для меня покой, время ожидания возвращения случайности. Потом опять начинались предчувствия, начиналась маета. Когда? Где? В какой ипостаси вернется она? В безумно-нелепой или в счастливой?

В общем, нравится мне ваша мысль, гражданин Гуров, сообразительный вы дядя, но сами вы мне все равно отвратительны. Не надейтесь, надежда вполне могла у вас сейчас появиться, что вы очаруете меня как собеседник. У вас не может быть никакой надежды, кроме надежды на случайность. Вероятность ее залета сюда я, кажется, свел почти к нулю. Почти. Так что надейтесь. Но не надейтесь, что прошлое ваше мертво, Оно в вас, и оно от вас не сгинет. Случайность туда не возвращается. Там все так, как оно есть, даже если вам самому кажется, что вовсе не так, как полагают другие, и вы стараетесь их разубедить или, что еще хуже, запутать. Не про-хан-же! Прошлое — это навсегда покинутые случайностью орбиты. Навсегда...

А Случай!.. Случай, гражданин Гуров, случай! Кто он

случайности? Отец? Муж? Любовник? Нет! Он просто дядя, хорошо одетый дядя с пушистыми сутенерскими усами и порочным лицом. Это он слу—чает, слышите, случает с вами случайность и в зависимости от своего настроения или расположения к вам успевает шепнуть случайности, пощекотав ее холодное от внегалактической прогулки ушко пушистыми усами, как следует к вам отнестись в мгновение встречи, неизмеряемое даже миллионной долей секунды: кокнуть, вознести, отнять, дать, отдалить, приблизить, свести с ума, озарить навек мудростью.

Так вот, если бы врезал тогда князь парашей между рог Пашке Вчерашкину, то не сидели бы мы сейчас на вашей вилле. Вы бы, очевидно, открывали бы в сей момент мясокомбинат в Анголе или Эфиопии, а я... глупо, впрочем, искать для себя вариант иного существования, глупо.

### 35

Разнял я дерущихся. Карты в парашу выкинул. Хватит, говорю, бузить! Но трепаться детдомовцы не перестали. Перли и перли друг на друга потомки большевиков, кадетов, аристократов, люмпенов, нэпманов, богемы, меньшевиков, эсеров, ликвидаторов, бундовцев, богоискателей, банкиров, священнослужителей, кулаков и всей, в общем, российской шоблы, умело разделенной властвующим теперь над нею Сатаной.

А меня, после моей силовой миротворческой миссии, директор Сапов вызвал и сказал: учиться ты, недобитая кулачина, не желаешь, исподлобья глядишь, вот и будь начальником кандеа, с глаз моих долой. Гордых — ломай, смирных — терзай, за чумоватыми — приглядывай, о каждом ЧП — докладывай. Заметил, что я в рифму говорю? Не заметил?.. Значит, ты дурак ненаблюдательный. Покажи лапу!.. Да-а! Кулак — есть кулак, и недаром мы вас раскулачили. Иди...

И возлюбил я тюрьму свою в тюрьме своей. При кандее был у меня закоулочек с койкой, ящичком для ложки-кружжик-миски и лампочкой Ильича. По детдому уже пополз слухок о моей силище, и наказанные вели себя в кандее тихо. Сашка Гринберг, Пашка Вчерашкин и князь по моему представлению стали уборщиками, истопниками, надзирателями, раздатчиками баланды, санитарями, прачками, одним словом, универсалами. Держался я за них, несомненно чуя, что каким-то образом главный фарт моей судьбы связан будет или со всеми ними, или с одним из них...

А общаясь с помощниками, я почуял важнейшую вещь, определившую впоследствии тактику и стратегию моего поведения. Я почуял в них, как чуял это в себе, животную, стойкую, неуничтожимую ненависть к большевизму, коммунизму,

ленинизму, марксизму, мне было все равно, гражданин Гуров, как называть СИЛУ, СИЛУ, СИЛУ, загулявшую по России, мечтавшую о мировом загуле, уничтожившую наши дома, нашу родню и бросившую нас для бессмысленной жизни в детдом имени против фашизма.

Мы — щенки, мы — кутята, раньше всех своих одногруппников и многих старых пердунов разгадали, что под овечьей шкурой, под мельтешением человеколюбивых партийных лозунгов, под сладкими посулами, под приглашением на новоселье в Мировой Коммуне — волчий оскал дьявольских СИЛ! СИЛ! СИЛ! Мы поняли, как легко этой лживой и коварной СИЛЕ, призвав толпу к установлению новых человеческих отношений для торжества коммунистической морали, внести безумный хаос в людское общежитие, как легко разметать по сторонам добрый скарб души, с трудом собранный темными и светлыми веками для умножения в будущем детьми и внуками.

Мы увидели своими щенячьими глазами, еще не залитыми радужной блевотиной советских иллюзий, как сытая страна стала голодной и раздетой. Под знаменем строительства новой жизни хаос проник в торговлю, в быт, в экономику, в правосудие, в культуру, в искусство.

Хаос ездил на службу в «Линкольне» в Госплан. Если что-то где-то строилось, налаживалось, росло, производилось, то это не благодаря озабоченности дьявольской Силы судьбами страны и народа, а вопреки ей, вопреки. Это из-под вылитого на поле нашей жизни адского гудрона выбивались на свет Божий стелечки ненавидимого Дьяволом Естества. Естества труда, естества семьи, естества радости и порядка.

Несмотря на бесовский, запутывающий души и разум шабаш агитации и пропаганды, мы — щенки, чуяли, что кроется за лозунгами и красивыми словами. За ними была мертвая бездна или параша, полная дерьма. Они скрывали от нас чудовищный произвол, кровавую резню, крушение планов, несостоятельность очередных кампаний, злоупотребления властью, тотальное воровство, вырождение нравов, глумление над верой.

СИЛЫ использовали слово, использовали ЯЗЫК, одновременно пытаясь уничтожить его сущность, в своем нахрапистом наступлении на человеческое.

СИЛЫ переделывали мир на одной шестой части света, обольстив лежачую толпу преимуществами переделки мира над объяснением его.

СИЛЫ понимали, прекрасно понимали, что объяснение мира чревато благодатными переделками того же мира. Переделками к лучшему, нежелательными, смертельно опасными для главной цели Сатаны — внесения неуправляемого хаоса

в миропорядок.

Вот СИЛЫ и сыграли на инстинкте торопливости разума, на его страстном, напоминающем детское, любопытстве поскорей, поскорей узнать, что там за пружинки и колесики в механизме жизни общества...

Что там за фиговинки и тайны, которые философы хуевые все объясняют, объясняют, а толку ни черта нет, раз люди умирают, как умирали, а у Путилова бляди в шампанском плавают! Хули объяснять, даешь переделку такого блядства! — завопила толпа. И ей, и ее вождям не терпелось от ужаса ощущения времени существования, всегда присутствующем в человеке, поскорей, поскорей, скача по трупам и ценностям, победить Пространство и Время, обскакать на всем скаку Судьбу и въехать, стирая кровь со лба, в золотой век Мировой Коммуны.

Я скоро закончу, гражданин Гуров, очередную не свою, не совсем свою мысль...

Вы просите пояснить, что я имею, что, вернее, имел в виду человек, невольно цитируемый мною, говоря о попытках СИЛ уничтожить сущность языка.

В слове, так же как в человеке, легко убить душу. Система употребления мертвых слов и есть большевистская или какая-нибудь иная, фашистская, например, демагогическая фразеология. «Народ — хозяин своей земли». «Слава КПСС!». «Да здравствует наше родное правительство!». «СССР — страна развитого социализма». «СССР — страна передовой демократии». «Советские профсоюзы — школа коммунизма». «Наше правосудие — самое демократическое в мире». «Искусство принадлежит народу». «Мы придем к победе коммунистического труда!». «Постановление о дальнейшей борьбе с дальнейшим хищением соцсобственности». «Народ и партия — едины». «Выше флаг соцсоревнования!»

...Что, спрашиваем мы, за этими словами? Ложь, если не пустота. Пустота, если не ложь. Слова перестают постепенно восприниматься как слова. Из них вычерпывают высокооплачиваемые пропагандисты своими бандитскими ковшиками содержание. Мертвое слово теряет свою связь с политической, экономической и культурной реальностью и формирует реальность новую, мертвую, существующую исключительно в черепах вождей и западных идиотов, больших друзей Советского Союза, знающих нашу житуху по рекламным проспектам и помпезным экспозициям выставок.

## 36

Так вот, в кандее, будучи щенком, сообразил я, что если существуют, неважно как называясь, СИЛЫ, летающие

на метлах над нашими несчастными душами, то не может не быть СИЛ других, сопротивляющихся, борющихся, находящихся внутри нас, не сговаривающихся только из страха быть проданными в ЧК, но и в негласном сговоре тоже, неважно как называясь, делающих все, чтобы одолеть бесовщину.

Ну, как? Доходчиво излагаю? Чуете, куда гну? Конечно, это я сейчас задним числом приблизительно формулирую только предчувствовавшееся тогда нами — щенками. А уж потом все происходящее: террор против так называемой ленинской гвардии, опухшие от непонимания смысла всего этого сталинского кровавого бардака мозги оставшихся временно на свободе, узурпация главных кормушек «победителями» и многое другое, то, что нынче принято фанатиками и снобами марксизма именовать «перерождением ленинских идей», подтвердило верность моего наития и определило выбор моей позиции в схватке с сатанинскую Силой... Но это все было потом...

В своем закутке, в кандее, и днем, и вечером, и ночью я хавал книгу за книгой, книгу за книгой. Хавал советскую пошлятину и классику, стихи и детективы. Мне хотелось читать страстно и непрерывно, как Сашке и другим пацанам онанировать. Вот я и читал. И возлюбил за возможность читать свою тюрьму. В ней был порядок. Беспорядки я прекращал одним щелчком в лоб или ударом по макушке... А книги мне таскал Сашка. Его посаженный папашка — эсер успел перетырить массу книг из своей библиотеки к своему дружку — детскому врачу. Сашка бегал втихаря в город и таскал в кандей книжки. И однажды притащил «Графа Монте-Кристо».

Жажда мести мгновенно захлестнула меня. И я возненавидел все, что, сложнейшими, разумеется, путями привело к ужасам, которые я наблюдал лично, которые я пережил, от которых вскакивал по ночам с койки и с безумным криком вслепую бежал до первой стенки. Удар или боль приводили меня в чувство.

Я возненавидел утопистов, Марксов, Энгельсов, Лениных, революционеров, социалистов, Дантонов, Робеспьеров, Чернышевских и прочих бесов. Я возненавидел посулы якобы друзей народа, уверявших слабонервных и маловерных в возможности создания на земле нового порядка. Философски и даже политически я, конечно, не мыслил. Все варилось и запекалось в сердце, но и мой слабый умишко не мог уже тогда не соотнести наличной очевидности советского ада или ада французской революции с его идейными и нравственными истоками. Дзержинские... Менжинские... Урицкие... Буденные... Павлики Морозовы... Блюхеры... Тухачевские... Ярославские... Островские... Крупские... от этих бесов-

ских харь некуда было мне деться.

И я после почти еженощно повторяющихся ужасов воображал свой кандейский закуток островной графской пещерой, а себя самым графом, примеряющим коверкот чекистской формы перед тем, как отправиться со скорострельной пушкой и отрядом верных друзей в мстительный поход против Сталина, Фурье, Каменева, Сен-Симона, Троцкого, Ворошилова, Зиновьева, Карла Маркса, Петра Верховенского, Ягоды, Кампанеллы, Бухарина и прочей шоблы... Я мечтал, я творил в мечтах возмездие и делал это в ненавистной мне чекистской форме исключительно из камуфляжных соображений. Я воображал, как вхожу в кабинет одного из отцов красного террора, Зиновьева например, и говорю ему: Зиновьев! Вы — говно!..

— То есть как это говно, товарищ?

Он выпучивает на меня зенки, а я врезаю ему в лобешник щелчок, говорю: я тебе, падаль, не товарищ, потом другой щелчок, третий... и на следующий день стою такой же серый, неприметный и запуганный до смерти, как остальные совдеповцы, у газетного киоска, покупаю «Правду» и читаю сообщение о скоропостижной смерти от тройного кровоизлияния в мозг, повредившего черепную коробку верного большевика-ленинца, дорогого товарища утописта Зиновьева... упавшего на письменный стол... до последней минуты... в наших сердцах... трепещут враги мировой коммуны...и, как один, умрем в борьбе за это...

Сашка Гринберг иногда спрашивал у меня, почему я не дрочу. Может, у меня вообще пока не стоит? Или вся малофейка в силу кулака ушла? Он искренне пытался растолковать мне, что за неземная радость вдруг пронизывает его до мозга костей, растет, наполняет дрожью даже такие сравнительно бесчувственные части Сашкиного тела, как ногти на ногах, гланды, аппендикс, пупок, мочки ушей, ресницы и левую ноздрю, наполняет, и Сашка не может остановить дрочку во время урока биографии Ленина, потому что, по мнению Сашки, в такие моменты живчики рвутся со скоростью света из чернеющей черни сашкиного тела навстречу новой жизни, думая, по глупости и неведению, что рвутся они, сотрясая Сашкино существо счастьем, в лоно материнское, в лоно Лены, Любы, Насти, Рахили, Ириночки, Машеньки, Нины, Евдокии, Клавы, Гали, Ксюши, а попадают всего-навсего в кулак, на грязный пол, в промокашку, и умирают на тупом и скучном уроке биографии самого величайшего изо всех прошедших по земле людей, тоже умершего, но считающегося, чего Сашка вообще понять не в силах, живейшим из ныне живущих.

Я ничего Сашке не отвечал. Я еще не страдал от

ущербности. Я был уверен, что причащение к жажде мести как бы обязывает человека к безбрачию, деятельному одиночеству, к возвышению и полному отказу от удовольствий типа Сашкиного...

Иногда князь, Пашка Вчерашкин, Сашка и я дискутировали о половой проблеме. Князь уже успел к тому времени переспать с кузиной и преданной их семье горничной. Он без капли похабства делился с нами своими впечатлениями и проклинал себя за погубленную до первой тургеневской любви невинность. Он провозглашал непримиримую ненависть к онанизму и шепотом уверял нас, что все революции — пустопорожняя дробка, бесплодная, хотя и доставляющая удовольствие бесплодным же прожектерам и авантюристам и губящая, главное, запасы жизни в человечестве. Не буду я дробить. Нас, князей, и так мало осталось, говорил князь.

— Интересно, продаст кто-нибудь из нас остальных после таких разговорчиков? — спросил однажды Сашка. — И кто это сделает первым? — Каждый из нас сказал: не я... не я... не я.

Я вижу, гражданин Гуров, как разбирает вас от желания узнать, кто же именно оказался этой падлюкой? Разговоров-то мы вели множество и поопасней, чем тот, о дробке... Распирает?.. А я вам не скажу.

## 37

Вот вы тут утверждали, что когда мы — лишенцы, уроды и голубая кровь выносили свой приговор революциям, энтузиазму масс, великим свершениям, аварии ледокола «Челюскин» и прочей херне, имевшей мало отношения к реальной жизни, вы и вам подобные жили самоотреченно, собирали копейки для МОПРа, металлолом, разбивали на месте церковей скверы и пруды, готовились, в общем, не менее трех месяцев в году к умопомрачительным по пошлятине и безвкусице демонстрациям, просиживали жопы на собраниях и митингах в честь Ромен Ролланов, Димитровых, Тельманов и других героев нашего времени. Вы якобы были романтиками, а мы шлаком истории. Нет! Все это было показухой, фоном вашей истинной жизни, гражданин Гуров!..

Вы учились у папеньки и его дружков даже манерам и прическам представителей правящего класса. На ваших глазах, едва отмыв руки от крестьянской крови, папенька ярел от проснувшейся вдруг хапужности. Он волок домой реквизированные у арестованных шмутки. Добился личного «Форда». Отгрохал домину. Обнес ее забором. Поставил вопрос в ЦК о недопустимости лечения партработников в общих поликлиниках, о необходимости создания сети партпитания и снабжения, о желательности выдвижения на высо-

кие ответственные посты детей проверенных товарищей.

То есть он легализировал тосковавшую до времени подспудную мысль о формировании касты, крепость которой гарантирует на многие годы близость к полному социальным привилегий корыту и самому Понятьеву, и детям его, и внукам. Не так ли?

Личный аскетизм вождей, так импонирующий толпе, дружно рвущейся в адское пекло революции, потому что как бы уравнивал образ ее жизни с вождистским и, следовательно, уже теперь делал Равенство реальным, после захвата власти, после узурпирования ее Сталиным, аскетизм этот, тотально рекламируемый партпрессой, на самом деле в центре и на местах стал возней урок, бросившихся к кормушкам, делящих шкуру убитого медведя, вцепившихся в многоэтажный расстегай вроде того, который был смачно описан во втором томе «Мертвых душ».

Вот чему вы учились, гражданин Гуров! А уж потом, не в силах примириться с тем, что вас обходят более молодые урки, вцепившиеся в глотки таких волков, как ваш папа, вы решили страшной ценой предательства заплатить за возможность остаться поблизости от раздираемого на части расстегая, чтобы, переждав, испечь новый, собственный, вот этот, в котором мы сейчас копошимся... И не надо мне харить мозги, не надо! Не было у вас ничего святого! Пионер вонючий!

Я на днях сказал, что не интересует меня, как к вам попали уникальные жемчужины, принадлежавшие Влачкову... Как так приобрели? Денег у вас тогда таких быть не могло... Вы украли сбережения отца?.. После того, как позвонили нам о том, что он отбыл на охоту? Вы действительно обокрали дом отца своего и матери своей. Но не на краденые деньги купили вы розовую и черную жемчужины, которые сделали бы честь любой короне и митре... Не на эти. Да вы и не покупали жемчужин... Почему я в этом так уверен? Сказать? А ху-ху, гражданин Гуров, не хо-хо? Попробуйте сами догадаться... Пошли искупнемся... не спешите...

Живем мы, значит, в кандее, книжки читаем, болтаем, незаметно для самих себя образовываемся, в карты режемся, подрастаем, никто нас не тревожит, на митинги не зовут, считают нас ублюдками, врожденными тюремщиками, похабниками, которых скоро механически переведут в исправительно-трудовой лагерь, где мы и подохнем со временем в статусе разложенцев и отрывков старого мира... Самое спокойное время моей жизни прошло в кандее...

Пашка Вчерашкин, отпросясь у меня, рыскал целыми днями по городу, пытался найти дружков отца, с которыми тот брал Царицын, переходил Сиваш, и скидывал Врангеля

в Черное море. Бешено просто рыскал. Найду, говорит, все одно сильную руку, спасу батю. Другие вагонами тащат, а он всего-навсего мешок сахара уволок и два окорока...

Собирает он однажды чинарики около Большого театра. Я его туда послал. В Большом было в тот вечер «Озеро». Опаздывавшие наркомы, секретари ЦК, Тухачевские, Толстые, дипломаты, послы, шлюхи, ученые и прочие Лебедевы-Кумачи обычно бросали недокуренные папиросы и сигары прямо у дверей. Тут Пашка и занюхивал их в сидорочек. Табак мы смешивали, делили и покуривали себе, читая интересные книжки. Кайф ловили.

Так вот, берет вдруг Пашку за шкуру какой-то хмырь в орденищах и ремнищах, берет и говорит: ты чем тут, стервец, занимаешься, когда мы стремим полет наших крыл, виноват, птиц, черт знает куда? Когда мы метро, так сказать, рыть начинаем и покорять пространство и время! Ты что? Очумел!

Смотрит Пашка и узнает, узнает хмыря орденосного, и в этот самый миг, не раньше и не позже, прошла меня, верней, мою судьбу счастливая Случайность, а я этого и не заметил...

— Дядя Коля! Это — я! Пашка! Сын Вчерашкина! Помогите! Злые силы отца загубили! Троцкий копал под него!

— Как так? Есть ли такие силы, чтобы загубили они моего друга, жизнью, как говорится, обязан, говори, Пашка, сукин сын, кто курить тебя приучил в наше героическое время?

Баба большого человека от Пашки уже нос воротит, а сама, падла, подмываться небось научилась на курсах два дня назад. Ника, мы опаздываем, говорит гнусаво. Рыковы и Розенгольцы опять всю нашу ложу займут. Идем, Ника!

— Молчать, чушка! — заорал хмырь — дядя Коля, и уши у него, по словам Пашки, побелели, а глаза прищурились, налились кровью, и жилка синяя на лбу психованно затикала: тик-тик-тик.

— Ебал я всех ваших умирающих лебедей, а также синих птиц, если друг мой боевой и хозяйственный Ванька Вчерашкин в лапы лягавых попал!.. Молчать! Пошла вон домой! Я тебе, — орет хмырь бабе, — покажу ложу! Шагом в стойло свое — а-арш!.. Идем, Пашка, к Сталину! Я это дело так не оставлю!

Хмыринскую бабу как ветром сдуло из Большого театра... Пашка — ни жив, ни мертв. Ведет его дядя Коля прямо в ложу к Сталину. Приводит и говорит, вот, Иосиф, сын друга моего, ты его уважал, Вчерашкина. Троцкисты заточили Вчерашкина, состряпали дело, чтобы кадры наши стереть с лица Красной Площади. Рассказывай, Пашка! — велел дядя Коля, а лебедям приказал передать, чтобы подождали минут

пятнадцать на своем озере, ибо ни хера с ними за эти минуты не произойдет, не помрут.

Весь Большой театр в полумертвой тишине ждал конца беседы Пашки со Сталиным. Пашка и рассказал, как отец его был переведен с боевой работы заведовать диетскладом в Кремле. Как тыркались к нему жены Каменева, Зиновьева и другие бабы за кофе, чаем, семгой, икрой, телятиной, каплунами, и как отцу было трудно всем угодить. Особенно на отца окрысился Троцкий, когда у него был запор, а на диетическом складе не оказалось чернослива, потому что чернослив съел Куйбышев и золотка Бухарина. Окрысился Троцкий и стал ждать момента. К тому же на первое мая однажды икра показалась ему недостаточно красной и свежей. А Вчерашкин сказал Троцкому, что если он думает, что икра стухла, пусть бросит икринки в аквариум, ждет, появятся ли из них мальки, а тогда уже трепется, свежая икра или тухлая. И вообще зажрался кое-кто в Кремле, хер моржовый за мясо не считает. Нам из продуктового склада все видно... Вот Троцкий и окрысился еще больше. Ты, говорит, Вчерашкин, лучших барашков в сталинскую утробу запикиваешь! За шашлык всемирную революцию продаешь! А у меня запор! Не превращай Кремль в броненосец «Потемкин»!

Сталин слушал Пашку внимательно, набивал табаком трубку, а секретарь что-то записывал. Дядя же Коля вытирал красным платком белые слезы и сморкался.

Наконец Троцкий лично поймал отца Пашки, когда тот нагрузил перед новым годом грузовик всякой всячиной для того, чтобы с однополчанами поднять бокалы и закусить, чем попало. Задержал Троцкий грузовик прямо у Спасской башни, хотя были на него квитанции, разрешение Калинина и прочие ордера.

— Так, так, — тихо сказал Сталин... — Запор... Барашки... Моя утроба... Шашлык мировой революции... Броненосец «Потемкин»... Это уже призыв к восемнадцатому помидору Луи Бонапарта...

Пашка божился, что Сталин именно так и выразился: к восемнадцатому помидору, и распорядился: Вчерашкина освободить сегодня же! Восстановить на работе! Иди, Пашка. Брось курить. Из тебя выйдет хороший партработник!

Дядя Коля махнул саблей, дирижер поднял руки вверх, балет начался.

## 38

Могли бы вы сами, гражданин Гуров, восстановить в общих хотя бы чертах последующие события?.. Трудно и неинтересно... Да! Неинтересно. Что верно, то верно. Вы

ведь рождены, чтоб сказку сделать былью. И, действительно, с первых часов советской власти сказки стали твориться на каждом шагу — и страшные, и со счастливыми концами. Россия, вся Россия казалась тогда людям, счастливо и неожиданно избежавшим тюрьмы и смерти, или наоборот, внезапно потерявшим имущество, привычный покой, близких, родных, свободу и жизнь, вся Россия казалась тогда, да и теперь она мало изменилась, жутким царством Случайности.

Сказки стали былью. Начался умопомрачительный и леденящий душу шабаш ведьм и бесов... Миллионы людей, возмущенных, лишенных, утративших, обобранных, мысленно и так — пешкодралом, подобно сказочным добрым молодцам, шли воевать с засевшим в Кремле Кащеем и его всемогущими прихвостнями...

...Милый! Отец твой в родной нашей, в новой тюрьме-злыдне. Ключ от нее в лебедином яйце. Лебединое яйцо под колготками принца. Сам принц работает балеруном в Большом театре, а театр — в Москве. Москва — столица одной шестой части света. Там живет Сталин. Он любит балет. Иди к театру. Собирай окурки. Увидишь Дракона — вся грудь в орденках, с дурой-драконихой, подбегай смело и проси что хочешь. Но в глаза смотреть не бойся самому главному змею, а на озеро не гляди. Там лебеди наших надежд помирают... Это — Пашкина сказка.

А сколько людей блуждало в поисках заветного яйца, в котором ключик лежал от сундучка с удачей, по мертвым, страшным, кишасим крысами-чиновниками коридорам советского бюрократического ада! Одни там сходили с ума от безнадёги, другие тупели душой и рассудком, третьи бессмысленно погибали, заживо съеденные крысами и пауками, четвертые, облепленные мокрицами, воя от ужаса и гадливости, чудом вырывались, оставив надежду чего-нибудь добиться, кого-нибудь спасти, на чистый воздух!.. Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси и помилуй! Ой! ой! ой!.. Бр-р-р!

Но, бывало, самые, казалось бы, неразрешимые истории, самые запутанные клубки судеб, самые безнадежные дела, как по мановению волшебной палочки, мгновенно разрешались, распутывались и улаживались. Кто-то из прокуратуры поддавался заклинаниям, кто-то в райкоме пугался Духов, кто-то в Совнаркоме завораживал крыс, кто-то опаивал стражу ЦК приворотным зельем, открывались тогда врата резные, дубовые и входил не робея, Иванушка-дурачок в хоромину рабочую Секретаря-Свет-Сергеича, в пояс кланялся, на бой честной его вызывал, целый час сражался, не с пустыми руками домой возвращался, а кирпич привозил для коровника, для коровника, где коровушки зимовали бы, молочишко детиш-

кам давали бы, а не мерзли те коровушки до смерти, бедные...

Вот как бывало, гражданин Гуров! И сказок таких и других, пострашней, я знаю больше, чем Арина Родионовна. Внуков бы мне, внучат, рассказал бы я им сказочек, рассказал бы!

Вы-то сами сожительствовали с бабой-ягой костяной ногой, с Коллективной-заразою-Львовною, с вашей мамой партийною, стукачкою гнойною... Про холодное оружие не забыли?.. Это мое дело — брать вас на пушку или не брать... Змей Горыныч!.. Цыц, сука!!

И попал я тогда в Пашкину сказку! Сидел его отец на Соловках. Посылают туда с военного аэродрома аэроплан. Привозят Пашкиного отца в Москву. Отдают ему обратно склад диетпродуктов в Кремле, ордена, квартиру и дачу.

Возвращается однажды Пашка в детдом на «Линкольне» открытом, как челюскинец или же Папанин. Входит вместе с отцом в кабинет директора. Десять минут ничего не было слышно в детдоме, кроме ударов по директорской морде и пинков. Затем активисты бросили директора в полуторку и сгинул он навсегда, неизвестно где. А я, князь и Сашка Гринберг уезжаем на «Линкольне» в Барвиху, на огромную дачу, и дядя Ваня Вчерашкин говорит нам: живите тут, учитеесь, я вам буду как родной. Метрики завтра выправим всем новые. И начинайте новую жизнь. Кем быть хотите?

Князь хотел, освободив из плена кузину, стать актером. Сашка сказал, краснея и путаясь, что его мечта заниматься в науке и в жизни половыми сношениями, потому что в них есть, на взгляд Сашки, важная для людей тайна.

— Чекистом хочу быть, — брякнул я, — врагов народа давить хочу! Пока не подохну, давить буду!

— И я — чекистом! — завопил Пашка.

Посмотрел на меня и на сына удивительно заговорщицки Вчерашкин, словно повязывал он своим взглядом себя, нас и еще неведомо кого, известного только ему, на общее дело.

В ту первую после детдома ночь сны мне снились странные и страшные.

*Выхожу я на единоборство с многоглавым драконом. По асфальту след за ним тянется мокрый и аспидная слизь. А головы у дракона — сплошь рожи, примелькавшиеся на портретах. Одну отрублю, другая появляется. Три сразу смахнул, но три же и возникли, приросли к кровавым мерзким срезам трех шей снова. Я их рубаю, рубаю и рубаю... А они прирастают и прирастают. Умаялся. Дух вышел вон, руки опустились. Вышел тут покойный Иван Абрамыч из трамвая с задней площадки, вырвался из рук бесновавшихся в те годы контролеров и говорит: оставь их, Вася, оставь головы, хрен с ними, душу лучше свою спаси, чтобы сви-*

*деться нам, спасай, Вася, душу! А дракон сам собой протухнет! Нам свидеться надо, Вася!*

*Толкнул я в грудь отца Ивана Абрамыча в страшной злобе, что помешал он мне сомнением, и говорю: «Я граф Монте-Кристо! Я за тебя отомщу!»*

*Горько заплакал в ладоши Иван Абрамыч, и увели его с площади контролеры по мокрому следу дракона, по аспидной слизи в вечную со мной разлуку, в кромешно-темный какой-то переулок...*

*Что? Скучно вам стало, гражданин Гуров?.. Какая, говорите, страшная, чудовищная и потрясающе необъяснимая штука жизнь?.. А вы выпейте рюмочку «Еревана», сразу полегчает, сразу все станет понятней...*

*Тут сразу меня другой сон одолел. Это было странно, потому что сны снились мне в детдоме крайне редко. Были они бесстрастные, смысл их и образы словно заволакивало беспросветным унылым ненастьем, сотканным холодными нитинками кладбищенского дождичка...*

*Стою я разгоряченный, сильный, пожилой уже мужичок, с пилой двуручной у той самой злосчастной колодины, а около меня толпа. И зову я из толпы помериться со мной силенками то Маркса, то Крупскую, то Муссолини, то Микояна, то Гитлера, то папеньку вашего. Но все они, попилив слегка, до смерти, до железности промерзшую колодину, сдаются, отходят, лбы обтирая, в сторонку. И вдруг вы выскакиваете, пацан в буденновке, к пиле, и мы легко, как трухлявую осинку, перепиливаем колодину на четыре чурки, и под аплодисменты толпы знаменитостей начинаем, играючи, их колоть. На полешки, с плеча, с закида, обушком об чурку, и, стоя на коленках, на щепочки. Вот уж ни толпы, ни колодины, ни щепки нет со мной рядом. Один я. Совсем один, и не соображаю, где я, зачем я и кто я есть вообще. Кто? И у меня стоит хер, как у парней в детдоме, здоровый такой сучок, но я чувствую только полную его для себя ненужность, он мешает мне, я его без боли, крови и сожаленья отламываю, отрываю, выкидываю в речку Одинок и его закручивает водоворот, как случайный сучок...*

*Вот какой был сон. Налейте и мне рюмашку... У вас на какой день с похмелья ужасная тоска и обида?.. У меня тоже на третий, потом на девятый... полагаю, что от запоя что-то помирает в нас. Дух здоровья, должно быть. Помирает, бедный, от дьявольской сивухи, а на третий день и девятый... То есть как это «все наоборот!»... Прошу пояснить, раз вы меня перебили...*

*Интересно... Очевидно я хотел сказать то же самое, но все перепутал... Значит, от запоя ничего в нас не умирает,*

а, наоборот, рождается в нас сивушный бесенок с оловянными глазками и гунявой ухмылочкой... Затем он поддыхает в нас же и, подобно тому, как с телом и духом покойника на третий и девятый день совершаются различные тайны, так и сивушный бесенок поражает соответственно именно в эти загадочные дни покидаемую им обитель нашего тела тоской и обидой... Стройно... Не уверен, однако, что все обстоит так, как вы говорите. А если я прав? Значит, дух здоровья, временно померший от сивушного угара, воскресает вдруг в трезвости, а бесенок алкоголя мается особенно тоскливо и обиженно как раз в моменты острого нашего вытрезвления на третий день и девятый...

А вот что происходит с алкоголиками на сороковой день, я не знаю. Одно из двух: или запой начнется новый, или совсем избывается старый...

Хорошо, конечно, было ошиваться на даче Вчерашкина в Барвихе, но в кандее, честно вам признаюсь, чувствовал я себя лучше. Уж больно много всякой высокопоставленной швали приходилось видеть. Но «Графа Монте-Кристо» я перечитал уже раз десять и понимал: если хочу попотрошить Силу, стережущую с лица земли мою деревню и моих близких, да и не только моих, а еще миллионами таких, как я, то нужно зажаться, нужно чистить клыки зубным порошком «Вперед», нужно стричь когти дамскими ножничками, нужно мазать репейным маслом волосню, встающую на загривке от бешенства. Нужно, кроме всего прочего, учиться видеть, слышать, понимать, сопоставлять, владеть своей волей и рожей почище Станиславского и Немировича-Данченко. Нужно закаляться, как Сталин.

Эту фразу мне и Пашке частенько говаривал Иван Вчерашкин, когда мы гуляли по лесу или рыбачили. Держитесь, говорил он, братцы, скоро мы с вами погуляем по буфету, скоро придет ваше времечко, вам жить предстоит и править, а *ихнее* времечко кончается, кончается оно, братцы, сил моих больше нет!

В объяснения Иван Вчерашкин не вдавался...

Мне он твердо внушил, чтобы обо всем, что было, как бы я забыл. Забыл — и ни писка чтобы, ни пуканья, ни скрежета зубов. Точка. Меня нашел сам Иван Вчерашкин в Ростове, в вокзальном сортире... Я писал на пол, орал, а мать моя умерла от тифа прямо на вокзале, о чем Вчерашкин узнал от пассажирской шоблы. Отца же моего, большевика-рецидивиста, грабившего царские банки, расстрелял лично Деникин. Вот такое мое прошлое, и Вчерашкин меня усыновил, как социалистический гуманист.

Ко всякой такого рода фразеологии он тоже приучал

нас с Пашкой, объяснив, что она вроде жаргона и без нее в нынешних компашках никуда не деться. А меня, за то, что спас я Пашку от верной смерти и пристроил придурком в кандей, он, Вчерашкин, отблагодарит по-царски, царство небесное зверски убитым и замученным злодеями...

О том, что речь шла о расстрелянной семье царя, я тогда не догадывался...

Учились мы с Пашкой в небольшой школе, в закрытом, так сказать, загородном колледже для детей и родственников высших руководителей. Но учеба нам была до лампы... Учились — и все.

Забыл вам сказать, что Вчерашкин добился освобождения отца Сашки Гринберга. Сделать это ему, наверно, было нелегко. Недели две возил он на дачу четырех гусей с ромбами в петлицах и, кажется, самого Буденного. Пьянь шла дымная. Бабы ихние, напившись, пели под гитару и под джаз Утесова. Джаз специально привозили на автобусе «Буссинге»...

Однажды Сашку позвали в столовую. Вот он — жертва троцкизма, сказал Вчерашкин. Какая-то баба, Сашка потом уверял, что киноартистка Вера Холодная, посадила его на чудесные коленки, дала выпить шампанского и шепнула Сашке, чтобы приходил ночью в биллиардную. У Сашки чуть не разорвалось сердце от волнения всего естества... Ромбы расспрашивали его об ужасной жизни в детдоме, они, оказывается, ничего об этих ужасах не знали, о педерастах-активистах, и, смеясь, велели Сашке бросить драть, потому что от этого, говорят, высыхают мозги, как у нашего умника (Сашка был уверен, что речь шла о Ленине) и наступает паралич ума, что и доводит страну до разрухи и кровавого разгула. Отца обещали освободить.

Ночью Сашка пробрался в биллиардную. Артистка уже лежала пьяная и голенькая на зеленом сукне, как на лужаечке, а один из ромбов дрых на кожаном диване...

Не буду рассказывать, что там и как у них происходило.

Я забеспокоился вдруг: меня прошиб страх, почему это у меня не стоит? Почему мне по ночам не снятся бабы, и я, как князь, Пашка и Сашка, не успев трахнуть их во сне, едва только дотронувшись до руки, до ноги, до губ, до волосиков между ног, не содрогаюсь от неведомого счастья и трусиков не сушу украдкой на солнце. Почему? Я тоже вместе с Сашкой, по его приглашению, подсматривал не раз в щель дверную или в скважину замочную, или в окно на бардачные сцены, и Сашка, бледнея, чуть ли не в беспамятстве, отходил в сторону. Его трясло от слез и злобы. Он скулил: почему все так устроено, что хочет он, хочет, и не велено кем-то, ждать надо черт знает чего, когда он уже в принципе может в любую минуту

десять раз стать папашей собственного ребенка...

А я могу? Почему я не мучаюсь?.. Что со мной?.. Ничего я себе не отшибал... До прихода Понятьева в Одинок бегали мы к баньке на баб поглядывать, и подступала же какая-то тогда духота к сердцу и жарок разливался в паху... Почему я сейчас так спокоен? Почему?

Понимаю, гражданин Гуров, что вы сейчас не прочь потребовать тщательной медэкспертизы в надежде на компетентное заключение спецов о моей врожденной патологической недоразвитости, и таким образом снять с себя обвинение в непредумышленном нанесении увечья, приведшего к невозможности гражданином Шибановым продолжать род человеческий... Понимаю. Оставьте эту надежду. Консультировался я через несколько лет со светилами. Один из них хвалился нескромно, что не раз держал в своих руках член Сталина. Гениальный и неповторимый якобы член. Я попросил подробней рассказать светило о незабываемом впечатлении. Вы понимаете, сказало светило, это трудно выразить словами. Держу, смотрю, чувствую всей душой, что гениальный, что исторический, безусловно, член в моих руках, и остальные по сравнению с ним — пипки от клизм, не более, но выразить подобное впечатление словами мог бы только Гомер или же Джамбул, в общем, поэт эпического склада. Не-вы-ра-зи-мей-шее, батенька вы мой, впечатление!

Цыц, говорю, старая вредительская вонь, я тебе не батенька, давай подписку, что никому, никогда не будешь открывать государственную и партийную тайну о члене Сталина! Быстро! С ума сошел? Сегодня это, а завтра японская разведка узнает секрет устройства жопы Кагановича? Или сердец остальных членов политбюро?.. И давай мне диагноз! Почему у меня не стоит? Быстро, эстет проклятый!

— Возможно, временная, очевидно, неполная атрофия функций яичек и простаты из-за предположительной травмы последних в предродовой или ранний послеродовой период жизни...

Но оставим этот идиотский разговор...

### 39

Идем мы однажды по лесу. Грибы собираем. Нюх у меня и сейчас гениальный на это дело. Деревня все-таки! Иван Вчерашкин, Пашка, князь и я идем однажды по лесу. Сашка уехал от нас к освободившемуся папане. Вдруг вижу в ельничке человек в белом кителе. В руках — корзинка. Спиной к нам стоит. Курит. Палочкой лапы еловые приподнимает. Пашка по старой привычке подходит к нему и наглово говорит: «Дядь, оставь покурить! А?»

Дядя оборачивается... Сталин!!! У меня дух зашел от

ужаса, но и тоненькое жужжание только подлетающей или уже отлетевшей случайности уловила тогда душонка моя. Сталин! Пашка обалдело молчит. Иван Вчерашкин ходит где-то в низинке. Я тоже три на девять зубами умножаю, не могу помножить.

— Закуривай, Пашка, — вполголоса говорит Сталин, достав из кармана коробку папирос, — закуривай. Но мерзавец ты все-таки, что курить не бросаешь. Ты же партработником должен стать. Где отец?

— Папка-а! Папка-а! — заорал Пашка, однако быстро закурил, затянулся глубоко и жадно раз десять подряд, даже шибануло его, бросил папиросу и сказал Сталину, что это — последняя, Иосиф Виссарионович!

— Верю. Не обижайся, если обманешь Сталина!

Тут Пашкин отец подошел. Здравствуй, говорит, дорогой Иосиф, спаситель мой!

— За это не благодари. Не обижай, — говорит Сталин. — Ты лучше скажи, Иван, почему ко мне гриб не идет? Почему даже сраная-пересраная, вроде Крупской, сыроежка не хочет назваться груздем и полезть в так называемый кузов?

— Ты, Иосиф, горец! Орлам привычной зайцев с высоты пристреливать, да и кланяться низко ваш брат не привык.

— Хорошее, научное объяснение, — говорит Сталин, — даже лести не вижу в нем. Кланяться я, действительно, не люблю. Бессознательно не люблю. А это кто такой с полной корзиной? Верзила! На палача похож не помню, из какого кино.

— Это — Васька! Везет ему на гриба! Сорок семь белых набрал!.. — Тут Иван Вчерашкин быстро рассказал Сталину, как мой отец три раза грабил с ним банки, и что Сталин должен его помнить, а белые расстреляли такого замечательного чистодела, мать от тифа умерла, и вот вызволил он, освободившись благодаря Иосифу, Пашку и меня из гробового детдома, основанного Крупской, чтоб у нее совсем глаза на лоб вылезли, до каких пор троцкисты будут измываться и калечить педерастией нашу молодежь?

— Не спеши, Иван, не спеши. Тише едешь, приедешь на масленицу, — говорит Сталин...

И вот тут, гражданин Гуров, я вас попрошу расшевелить воображение, вот тут, откуда-то из-за берез, не лая, не хрипя, стрелой вылетает гигантского роста овчарка, в пасти пузырится пена, глаза безумные остекленели, белки их кровавы. Вылетает и несется прямиком на Сталина, уже выбирая на бегу мгновение для прыжка. Это было видно по вздутым в пружинистые комки мускулам. Оскалив зубы, отчего собрались на ее морде яростные морщины, вылетает из-за берез овчарка невероятной, искаженной бешенством

красоты, и как будто гипнотически приковав всех нас к месту, взлетает в воздух, уже уверенная, что через секунду клацнут ее клыки, замкнувшись на горле усатого человека в белом кителе с папиросой в зубах, клацнут клыки, и это — все, что ей нужно в жизни, целиком вложенной в смертельную силу прыжка! Всё!

От неожиданности и замороженности Сталин даже не шевельнулся. Я стоял ближе всех от него, и когда пес, взлетев в воздух, был уже уверен, что клыки сейчас наконец-то клацнут на хряще кадыка, я без раздумий и прицела молотнул его кулачиной по хребтине. Он упал оглушенный у ног Сталина, только клок пены шмякнулся на белый китель, и пока пес не опомнился, я схватил его за задние лапы, крутанул пару раз вокруг себя вытянутую громадину и изо всей силы разможил собачий череп о ствол старой березы... Мозгами сапоги забрызгало Сталину.

— Я приглашаю вас всех на скромный обед, — говорит Сталин невозмутимо и, как прежде, вполголоса, но, прикуривая, прячет побледневшее лицо в ладони. Я присел на пенек, потому что дрожали коленки. Корзину уронил. Грибы вывалились.

— Покажи, Вася, свой кулак, — говорит Сталин. — Показываю засаднивший от удара кулак. — Да! Это рука! Это — настоящая чекистская рука, перебившая хребет бешеной собаке!

Сталин нагнулся, собрал мои грибы в корзину и повторил свое приглашение.

— Сейчас, друзья, мы с вами отлично пообедаем... Я знаю, чья это собака. Она была неглупа. Я знаю, чья это собака.

— Будем брать? — спросил очухавшийся Иван Вчерашкин, а Пашка присыпал листвой и дерном труп собаки.

— Подожди, Ваня, подожди. Надо натаскать из колоды побольше козырей. Надо воспитать побольше таких парней, как... Рука, как твой Паша.

— Мне дурно, господа. Я — домой, — сказал князь.

Мы с Пашкой шли сзади вождя и его приятеля по банде урок, курочивших царские банки и почтовые вагоны. Они говорили так, чтобы нам не было слышно ни слова. Но уверен, что именно тогда был в общих чертах разработан стратегический план тотального террора, то есть того, что теперь принято называть тридцать седьмым годом. Жутко и сладко было наблюдать за шепчущимися воротилами, ибо я чуял, что вот-вот придет мой час, отольются кое-кому кровь и слезы одиноковских мужиков и баб, а то, что спас я сейчас главного и единственного виновника уничтожения крестьянства, отыграется в будущем, отыграется! Отыграется!

Сталин еще раз повторил Ивану Вчерашкину, что все

kozyри из колоды должны быть ихними, и в башку мою первый раз закралась, гражданин Гуров, в ту минуту мысль о мерзкой колоде, на которой просидел я верхом несколько часов... Закралась, но я ее отогнал. Я не мог увязать всей этой херни со смыслом физиологическим, а поверить окончательно в неизлечимое уродство своего тела инстинктивно боялся...

Обед на даче Сталина был вкусным и веселым. Сам подняв тост, окрестил меня Рукой, и с тех пор редко кто, особенно из коллег, называл меня иначе. Лобио, травки, маринованный чесночок, сулгуни, шашлык и вино изумрудного цвета, привезенное только что из Гори... Тосты, тосты... Произносили их те, и пилось вино за тех, которые через пару лет глупо улыбались, думая, что пришли мы за ними исключительно по ошибке, и что если я разрешу позвонить Сталину, то недоразумение уладится сию же секунду... Два раза Сталин, я в этом уверен, вспомнив вылетевшую из березняка овчарку с бешеным оскалом, бледнел, и тогда темнели оспинки на его носу, на щеках, на лбу, становясь заметней и отвратительней. Он перебивал воспоминание глотком вина, приветливо кивал мне головой и удивленно поглаживал пальцами чудом не перекушенный кадык... Вдруг он ни с того ни с сего смеялся, но теперь-то я понимаю, что это был благодушный смех зрителя, имевшего удовольствие понаблюдать за игрой счастливого случая со своей удачливой судьбою и прокрутившего еще раз эту игру в памяти.

Прощаясь, Сталин сказал, что завтра в десять утра заедет за мной и возвратит должок: острое ощущение...

— Ну, Рука, выпала тебе масть, — сказал дома Иван Вчерашкин. — Держись! Ходи только с нее и дружков не забывай. Ты — в фаворе, хавай авантаж!

— Добра, — говорю, — не забуду, а зло кой-кому вспомню.

— Всё вспомним, Рука, всё вспомним, но ты главного не упускай из виду. Проломав черепа асмодеям, надо будет страной править. А она большая. Она тебе не кандей, не тюрьма, она — держава! — сказал Иван Вчерашкин. — Пашке мы область нашу отдадим, тебе другую, я с третьей справлюсь, да и республики не пужнусь. Князя послом в Японию отправим. Иди спать. Завтра, собственно, твоя житуха начинается! Иди, Вася! Иди, Рука!

Заснул я, завернувшись в одеяльце, как в монте-кристо-ский плащ. Вспомнил лица все до одного: ваше, папеньки вашего и его дружков по отряду. Вспомнил лица все до одного... Царство небесное вам, отец и мать. Меры мести моей за смерти ваши не будет! Нет такой меры! Я зарыдал от всех потрясений и заснул, как писали в старых романах.

Я вот искупался утром в дождичек и понял, что лет двадцать еще можно бы вам протянуть здесь на вилле. Можно бы... Море, йод, овощи-фрукты, воздух чудесный, Эмма Павловна и одновременно Роза Моисеевна. Я на днях получил несколько фото из вашего альбома. Где моя папочка?.. Вот моя папочка... Взгляните... Только не багровейте. Следите за давлением. Вам это удавалось даже при вызовах в ЦК... Все-таки что-то было в роже Коллективы-Клавочки омерзительно-притягательное. Одно из лиц, запечатлевшее в своих чертах то гнусное время. Чистота вроде бы и открытость, а на самом деле прозрачайший, не замутненный муками совести, аморализм. Генеральная линия бедер... Грудь, на которой вместо соска значок «Ворошиловский стрелок». На лбу страстная мысль «Пролетарии всех стран, соединяйтесь со мною!» А усы-то, усы какие! Мелко кучерявенькие, и родимое пятнышко капитализма в них скрывается... Косыночка... Кожаночка... Блатной, в общем, вид. Но я лично, если бы был действующим мужиком, конечно, можете ухмыляться сколько угодно, я бы лично не полез на Коллективу ни за деньги, ни, как говорят урки, за кусок копченой колбасы. Я бы скорее убил ее, падлу! Какой это, должно быть, ужас, чуть не блюя от гадливости, чувствуя сопротивление всей плоти, кроме тупого служачки-члена, ложиться рядом с выхаренной всей Первой Конной армией бабой! К тому же она пьяна после вечеринки в честь усыновления нового Павлика Морозова и бешено взбудоражена необычным сексуальным сюжетом, обещающим полное, давно желанное благоденствие гениталиям, а душе долгую, теплую, осеннюю улыбку бабского счастья... Ложиться рядом, дотрагиваться, целовать, залазить... Нет! Я бы скорее убил ее, сукоедину!.. Вот — рюмка... Пожалуйста, пейте. Я не буду... Я лучше, убил бы ее, тварь! Вам не приходила в голову эта мысль? Ужас ведь было почувствовать, кроме всего прочего, что Коллектива казалась сама себе в этот момент молоденькой, нетронутой девицей, которой первый раз в жизни вот-вот откроется то, о чем она читала у Мопассана, то, что надвигается, как гроза, то, что давит и отпускает, и уже пронизывает молниями от пяток до макушки, погромохивает в висках и разрешается каплями дождика... дождика... дождика... И вы открываете глаза, и она видит в вас свою молодость, а вы в ней потасканность, чужбину, смерть...

Вам приходила тогда в голову естественнейшая мысль убить насильницу?.. Нет. А что вы, собственно, так быстро реагируете? «Нет!» Подозрительно быстрая реакция. Я бы на вашем месте ответил: «Да. Хотел». Ведь помыслить об

убийстве, хоть и грех тягчайший, но все-таки, слава Богу, еще не убийство, и нормального человека от подонка и сволочи как раз и отличает осознание злого помысла и освобождение от него постепенно, если не сразу. А вы с ходу брякаете: «Нет!» И я, хоть я хреновый криминалист и преимущественно палач, склонен поэтому призадуматься.

Ну, хорошо. Вы были, допустим, в момент изнасилования так чисты и невинны, что после вынужденного, просто вытасченного из вас оргазма заплакали, и Коллектива осушала ваши глаза партийно-материнскими губами и нашептывала сказки о челюскинцах, Стаханове, Николае Островском, о счастье выполнить пятилетку в четыре года, о наших горячих органах, и вы наконец заснули. Допустим, так было первый раз? А второй? Третий?.. Сотый?... После сто первого раза захотелось вам удавить, отравить, пришибить или обварить кипятком Коллективу Львовну?..

Вы правы, гражданин Гуров, теперь уже ничто для вас не имеет значения. Вам на все наплевать, и неужели, раскапывая прошлое, я этого не понимаю? Понимаю. Но вот не уверен я, что вам на все наплевать. Так ли уж на все? Чего ж тогда беспокоиться о судьбе дочери, о сиаемском коте и собачке Трильби? О здоровье супруги?..

Только не надо! Не надо! Не надо меня уверять, что тогда вы жили интересами страны, народа и мирового коммунистического движения. Уверен, что, распевая «если завтра война, если завтра в поход», вы лично думали сделать все, чтобы только петь, а не воевать. Голову сейчас положу на плаху — так оно и было. И все вам было до лампы, потому что вы втрескались в Элю, вернувшуюся после смерти отца к беспутной мамане — Коллективе, в Элю, дочь вашей ненавистной сожительницы...

По утрам мама Клава поила вас кофе, делала бутерброды и провожала в институт... Но вот приехала Электрочка, названная так в честь лампочки Ильича, Эля приехала... Спокуха, гражданин Гуров!.. А-а! Вам просто захотелось походить по холлу. Походите... Взгляните по дороге еще на одно фото... Вы, Коллектива и Электра в Ялте под кипарисом. Совершенно ясно, что вы втрескались по уши в дочь, но тщательно скрываете это, что дочь любит свою беспутную мать, несмотря на десять лет, проведенные с отцом в другом городе, что сама мать подыхает из-за всех этих дел от смертельной грусти и кажется сама себе лишней даже на фото. Сами скажите: кажется? Бросается же в глаза!.. Вам это не кажется. Зато, думается мне, хотя не могу утверждать этого точно, что, возможно, именно тогда, под кипарисом, задохнулись вы от любви и ненависти и не

надо вам было смутно чувствовать, что третий — лишний, когда вы ощутили необходимость избавиться к чертовой матери от орущей и царапающей по ночам кошки. Фотография выразительная. От нее никуда не денешься. Не про-хан-же! Желаете расколоться? Меньше времени потратим и нервов, хотя жить нам с вами еще несколько десятков лет. Вы — в тридцать восьмом, я — в тридцать пятом. Вам, говорите, спешить некуда... Я, по-вашему, зарпортовался, охерел, выпить мне надо аминазина... Напрасно, напрасно вы так думаете. Ум мой день ото дня яснее, но есть, правда, помрачение души. Это у меня всегда... Раскалываться не желаете? Правильно. Не надо. Неглупый шаг. Покидаем шашечки, покомбинируем. Игровое состояние иногда почти предсмертное... Почти предсмертное состояние...

Подойдите сюда... Вот план квартиры, в которой вы проживали после ареста отца и высылки матери в квартире Коллективы Львовны. Две комнаты смежные, одна отдельная. После приезда Эли вы, не без труда, очевидно, в нее переселились.

...Вам стыдно. Коллектива должна это понять. Нет! Вы по-прежнему хотите ее. Страсть ваша мило перемешана с уважением и благодарностью, но все-таки, все-таки вам лучше спать отдельно. Физически вы тоже очень переживаете ситуацию, но нельзя же скрипеть кроватью под носом у Эли! Если бы ты еще не кричала, кончая, Клава! Давай спать отдельно. Не надо только говорить ерунду. Я хочу тебя, хочу! И когда Эля уйдет в школу или на каток, мы возьмем свое. Ты первая моя женщина. Ты всему меня научила. Я, бывает, шалею. Но давай лучше спать отдельно...

Ну вот, проняло вас наконец, гражданин Гуров! Передернули вы плечиками от омерзения! И чего было упираться? Я не могу понять, какое удовольствие испытывают мужики с хорошими бабами, но какая бывает в теле и в душе гадливость и опустошенность от бабы ненавистной, вполне, извините, могу себе представить. Это — своеобразный фокус воображения, и разгадка его тайны давно занимает меня. Но стоит ли разгадкой лишать такой милый фокус печального и горького обаяния? Не стоит...

Представляю, как мерзостно вам было.

Вижу: сейчас жалеете себя и считаете решение спать отдельно одним из мужественных шагов в своей жизни. Вы вот только не задумываетесь, не возвращаетесь к тому, что я не раз вам втолковывал. Ничего подобного, и еще в тысячу раз более страшного не произошло бы с вами, если бы вы получили от рождения не советское, а человеческое воспитание. Я не люблю слово «мораль», но если бы вы с молоком матери, под взглядом, под нормальным призо-

ром нормального отца всосали с детства мораль человеческую, а не классовую, вы знали бы, как поступить с отвратительной, насилующей вас бабой, вы не позвонили бы с козырной целью в УВД, вы не оставили бы мать, вы бы... десять тысяч раз я могу повторить, чего бы вы не сделали, и что сохранили бы, каждый раз поступая соответственно с представлениями о достоинстве человеческой личности.

Что? Что? Вы наконец ощутили себя злодеем?.. Это — да!

Согласен, злодеи были во все времена, у всех народов, согласен, что есть они, уверен, что будут... Согласен... Без злодеев, очевидно, было бы скучно. Речь не о том, хотя приятно, хотя злорадствую, почуяв в вас сокрушение. Но заметьте, гражданин Гуров, заметьте! Первый раз за всю нашу долгую и страшную подчас беседу вы ощутили собственное злодейство не через потрясение отца после известия о вашей подлянке, не через страдания и смерть матери, не через многие безобразия вашей жизни, а через гадливость воспоминания об изнасиловании вас партийною мамою, Коллективой Львовной! Вот как нашла на вас тень сокрушения! По шкуре вашей она пробежала!..

Правильно... Согласен. Собственный опыт поучительнее чужого. А боль своя чужой больней боли?.. Не знаете... Может быть, и больней, но чужую боль можно выразить словами, а свою невозможно?.. Правильно я вас понял? Вы у нас прямо философ боли. Можно вас больно ущипнуть?

Мы отвлеклись. Тень сокрушения пробежала по вашей шкуре, она задела вас лично, а не ближнего! Следите за моей мыслью внимательно. Вас передернуло. Вас еще не раз передернет, поверьте, но нет вам успокоения от мысли, что злодеи всегда существовали и будут существовать. Вы все себе простили. Не простите никогда того, что, колебая от блевотины чужого тела, без тепла, без страсти, без безразличия, что было бы благом, вы спали с ним рядом, брали его, себя и его ненавидя...

Вот Сатана, глядя на вас, и радуется, и потирает пемзой лапки. Подсунул он вам и тысячам таких, как вы, вместо морали Божественной свою — дьявольскую, классовую, и — все в порядке. Вы не то что буржуев, помещиков, священнослужителей, инженеров и добрых хозяев земли перебили, вы — братья по классу — друг за друга взяли и сами за себя! Вот тут я подхожу, как всегда в такого рода рассуждениях, не без помощи воззрений одного из моих подследственных, к тому, почему классовая мораль может довести человека и общество до грани полного вырождения и перекантовать еще дальше. В коммуне, как поется, остановка...

Классовая мораль разрушает поле человеческого существования, совместно возделываемое людьми с начала времен. Поле связывает, обязывает, воспитывает способность к сопереживанию, удерживающему почти всегда от причинения ближнему боли и обиды, мы рождаемся в этом поле, в нем нас хоронят, и если становимся сорной травой, то с поля нас — вон!

Вот тут-то Сатана Асмодеевич задумался, как бы поле это перепахать начисто, почесал рога о письменный стол Карла Маркса, о жилеточку Ленина, о борта крейсера «Авроры» и говорит: «Ба! Да здравствует классовая борьба! А ну-ка, разделю я их, негодяев, и пересажу на другую почву, один от одного чтобы росли, корешками чтобы не связывались и боли соседа чтобы не чуяли, стеною при появлении моем чтобы не вставали, сволочи окаянные, а другие чтобы наоборот в кучки сбивались, в партии! Партиями их легче на тот свет отправлять. Спрессовал, упаковал, штамп поставил и отправил. Сто тыщ людей, а выглядят, как один! Во как, падла! Я перепашу ваше полюшко! Я его гудроном залью и асфальтом. У меня этого зла в аду хватает! Пролетарии всех стран, соединяйтесь одной цепью! Так мне легче будет вас закабалить! Вы ведь глупые, вы словам верите, так я их вам подкину... Слава труду! Налетай! Не жалко! Ключи на Маркса! Ключи на Ильича! Верная наживка! Вы только соединяйтесь, как в Питере в семнадцатом году, соединитесь хоть на недельку, а там я вас быстренько разъединю, рта разинуть не успеете. Я прикую вас кусками той цепи к рабочим местам, и вы больше не побушуете на забастовках, как фордовские пижоны. Вззоете, как взвыли рабочие Питера, вспомнив «Союз освобождения рабочего класса», да поздно будет! И мораль будет у вас соответственная: мораль рабочего места. Упирайся. Получай, сколько дают. Скажи и за это спасибо. Молчи, сволота, в тряпочку!.. Марш — под нары! За тебя партия думает. Она и решит, когда быть концу света. Цыц! Классовая мораль лишает вас всех наконец ответственности за все! Партия торжественно берет на себя эту проклятую ответственность. Слава труду! Вперед — к коммунизму!».

## 41

Мы отвлеклись, черт побери! Нельзя сбивать лягавую со следа! Взгляните еще раз на фото, на план квартиры и на последнюю фотографию Коллективы Львовны. Тоже — чудесный снимок, не правда ли? Красная площадь. Седьмое ноября 1939 года. Коллектива весела, немного пьяна, демонстрация — ее стихия. Помните, как пятился раком перед вами фотограф? Как он приседал, гримасничал, прищуривался и щел-

кал Феликсом Эдмундовичем Дзержинским? Вы держали под руки Коллективу и Электру. Но заметьте, как непроизвольно-нежно вы прижимаете к себе руку Эли и как безжизненно висит ваша рука на кармане кожанки мамы-любовницы. Да и лицо у вас словно склеено из двух половинок. Обращенная к Электре жива, улыбчива, возбуждена. Другая, на которую бессознательно старается не смотреть Коллектива, брезглива, раздражительна, мертва. Ненависть, чистейшая из страстей, посещавших вас, стянула на скуле кожу, сузила глаз, прижала рысье ухо к черепу... Над вами транспаранты: «Кадры решают все!» «Да здравствует всепобеждающее учение марксизм-ленинизм!» «Сталин — это Ленин сегодня!» «Пролетарскому гуманизму — дорогу!» «Приветствуем советско-германскую дружбу!» «Даешь — миллионную тонну стали!»... Вас оглушает орово оркестра и вопли «Ура-а!» Но это — к лучшему. Кажется вам, что вся площадь и вожди на трибуне могут услышать, как рвется из вас на волю одно выношенное, взлелеянное, натасканное уже на свою жертву слово: убую! убую! убую!

А невинная Эля, лукаво улыбаясь, открыла ротик, она поет, полуобернувшись к вам: как невесту родину мы любим!.. И вы не можете не подпевать. Губы у вас сложены в трубочку: береже-е-ем, как ласковую мать!

А Коллектива, глядя на трибуну мавзолея, продолжает: молодым везде у нас дорога! Старикам везде у нас почет!

И фотограф все еще пятится раком, гримасничает и щелкает, щелкает, щелкает Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Вот они — дюжина фотографий. Смотрите! Щелкает фотограф, вспоминайте, вспоминайте, гражданин Гуров, Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, что весьма символично и мрачно, в чем я усматриваю совершенную иронию и понимаю ее как полное удовлетворение Дьявола самим собой и его издевательство над еще живой толпой, восславившей палача номер два, да еще причислившей его к лику святых...

Вспоминайте! Поддайте еще, поддайте, но не надирайтесь в сардельку. Я хочу, чтобы меня понимали. Вспоминайте!.. Вы поете, вас разрывает от крика: убую! Фотограф снова щелкает. Отвлекаясь от вас, он направил объектив «ФЭДа» на мавзолей, взял немного ниже и левей, и вот вам, пожалуйста, — еще одна случайность: дядя в коверковом плаще с мельхиоровыми пуговицами и цигейковым воротником. Фигура нелепа. Руки длинные. Рыло искажено тошнотой (от вида одуроченной толпы) и фанатической страстью мщения. Но коллеги принимают это выражение лица за усталость: всю ночь допрашивал Рука, всю ночь, а вот вышел-таки на парад и демонстрацию. Фуражка на мне тогда плохо сидела и жали хромовые сапоги... Жали...

Узнаёте меня, гражданин Гуров? Узнаёте жертву свою, но и палача своего? Ну, не странно ли все это? Может, у нас с вами одна случайность на двоих, или обе наши случайности, взявшись иногда за ручки, погуливали себе на пару по космосу наших судеб? Стоит дядя, стоит Рука, стоит и не поет «широка страна моя родная». Он смотрит на Лобное место, на белую каменную плаху, выросшую рядом с Храмом Божьим.

Храм заброшен, но крепок и, говорят, только мистический ужас перед страшной карой удержал Сталина и маршала Ворошилова от претворения в жизнь дерзкого плана. Храм, гордо встававший на пути танковых, конных и пушечных колонн, раздваивавший своевольно и их, и монолитную толпу демонстрантов, гордый храм, ужасно раздражавший этим вождей, должен был быть снесен... Вожди, вздохнув, старались не смотреть вслед нехорошо раздвоенным, покидавшим площадь войскам и толпе, и раздражителя как бы не существовало.

Храм стоял, и Рука смотрел на его радостное, многоцветное, счастливое, непостижимо сложное и бессмертное как характер, как личность ночного своего подследственного, Существо... Христо... Август?... Павел?.. Иван?.. Збигнев?.. Лазарь?.. Не помню... Он преподавал мне, палачу, урок жизни, он, будучи невинным, мудро принял страдание тюрьмы, простил меня, палача, перед гибелью, он помолился за всех и за каждого... А я думал: говно я поганое, а не граф Монте-Кристо, если я не могу спасти невинного. Не желтого, не зеленого, не белого, не красного, а просто невинного... Говно поганое, и даже не собачье! Вот кто я!..

А белая, каменная плаха, в отличие от храма, была проста. Круг из белого камешка. Крепкая, на липкой крови, кладка. Стою я на ней, как положено, в красной рубаше, топорище ручищей поглаживаю, чуб на глаза надвигаю, чтоб пострашнее мне быть и позагадочней. Палач привлекателен вроде бляди прекрасной, от которой тоже теряют голову люди. А вокруг — море голов, и над ними белые транспаранты с черными буквами:

«Позор кучке авантюристов, вовлекших народы Российской империи в кровавый эксперимент!» «Господа! Оказывается, учение Маркса не всесильно!» «Крестьянское спасибо — за землю!» «Будь проклят рабский, низкооплачиваемый труд!» «Да здравствует свобода, возвращенная народу!» «Слава Богу!»

Поглаживаю ручищей топорище. По одному выводят их на Лобное место. В кителях они, в гимнастерках, в косоворотках и пиджаках. И совершенно очевидно, что каждый — бандюга нового типа. Не содрогающийся при воспоминании о пролитой крови, о скверне души, подлейших злодеяниях и суде людском, а угрюмо насупившийся, жалкий, трясущийся от

бессмысленного страха, не видящий света ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Вот Каганович, не без подмоги, голову на плаху мою кладет. Я ему шепчу на ухо: метрополитен теперича будет имени Соловья-разбойника... Поднял топор, содрогнулись души, и чувствую, что заревела бы толпа от восторга и очищения, если бы сейчас не казнь свершилась, а Высочайшее если бы помилование было явлено отвратительным, злобным, ничтожным злодеям...

Но уж — хуюшки! Толпа пожалеет, да палач не простит! Я не прощу!.. А-ах!.. Не за что ухватить голову Кагановича, чтобы показать ее народу: лыс разбойник с большой железной дороги. Молотова привели... Привет, говорю, тебе от Риббентропа! Ты знаешь, говорю шепотом, склонившись к его уху, что за дружок у тебя в Берлине?.. А-ах!.. Этот тоже лысый. Ворошилова с Буденным рядом я положил. Высший, говорю, класс сейчас толпе покажу. Лучше такому говну, как вы, отрубить головы, чем в случае войны, по ничтожеству полководческому, вы сотни тысяч солдатиков в землю положите. А-ах!.. И вот наконец сам, не спеша, и трубочку покуривая, к плахе подходит.

— Спасибо тебе, — говорит, — Вася. Спасибо. Спас ты меня. Было дело под Полтавой. Я тебя в люди вывел, меч чекистский в руку твою вложил, а теперь от этого горе-меча сам погибну. Спасибо. Делай шашлык из Сталина!

— Ничего, — отвечаю, — Иосиф Виссарионович, другого не поделаешь. Сами виноваты. Пришла пора вас убрать. А если не убрать, то и представить страшно, до чего вы доведете Россию своей дружбой с фюрером. Гражданская война конфеткой покажется по сравнению с Отечественной, а коллективизация — шоколадкой. Сколько можно крови из страны выпускать?.. Война ведь, война, страшней которой не было вовек у народа, дышит на вас голодом, мором, нашествием Зверя, а вы за табачным дымком и не чувствуете смертельной беды? Да и колхозы лично мне надоели. Хватит, в общем, гулять по буфету. Умирать вам не страшно, вы по части Смерти — большой ученый! Будьте здоровы, дорогой и любимый Иосиф Виссарионыч, друг вы наш и учитель! Чао! А-ах!..

Узнаете на снимке, гражданин Гуров, дядю в коверкоте, мельхиоре, с мечом золотым на рукаве? Я это, я! И в этот момент вы, Эля и Коллектива проходите как раз мимо меня, мимо белой моей каменной плахи, мимо Лобного места, а фотограф пятится, гримасничает, и Коллектива машет ручкой Сталину, не глядя в вашу сторону, и поет «бережем, как ласковую мать», и это ее последний снимок... Через три дня Коллективы Львовны не станет...

Где моя папочка? Вот моя папочка! И вот медицинское заключение о смерти мадам. Кровоизлияние в мозг... Насту-

пила мгновенно... Тра-та-та... Подпись... С врачом вы, конечно, не были в дружеских отношениях?.. Вы не заручились предварительно его поддержкой?.. Вы не обдумывали тщательно план убийства?.. Вы не реализовывали его совершенно цинично и артистически?.. До смерти Коллективы Львовны вам и в голову не приходило жениться на Электре?.. И наконец, черная и розовая жемчужины достались вашей молодой семье по прямому наследству, как и многое другое, из реквизита арестованных, сосланных и казненных, к чему Коллектива имела прямое отношение? Я имею в виду аресты, доступ к реквизиту и распределение ценностей между урками...

Выпьем. Наливайте. Помянем Коллективу Львовну... Лимончика попрошу... Спасибо. Но насчет царства небесного не знаю. Думаю, мадам в другом месте, где и нас с вами ждут-ожидают...

Значит, я слышу от вас только «нет!». Третью жемчужину — белую — вы не преподнесли на черной бархотке доктору, давшему заключение о смерти? Нет. Хорошо. Нет — так нет. Пошли, позагораем, старый нильский крокодил! Анаконда вы моя прожорливая!.. Акула тигровая!.. Крыса!

Значит, вы убеждены, что ваша позиция в этой нашей партишечке предпочтительней?.. Ничью предлагаете. Вы, может быть, мысленно и проклинали эту бабу, и смерти ей всячески желали, но лично покуситься на чужую жизнь вы — ни-ни. Да и медицинское заключение не туфтовое, подпись не подделана, доктор Вигельский, приведи я его сейчас за рога в это стойло, отмажется от подозрений в два счета. На наличие в этом деле всяких корыстных мотивов вам начхать... Мотивов может быть миллион. Без прямого доказательства вашего участия в убийстве сей миллион — не миллион, а старая гандошка... Затем, срок давности истек. Истек... Ничью предлагаете?.. Нелегка моя позиция. Нелегка. Разрешите мне еще немного помозговать над ней?.. Я очень уж выиграть хочу. Прямо зубы чешутся!.. А вот на кой хрен мне так хочется выиграть, я вам не отвечу. Партишечка продолжается...

Я вам забыл рассказать, извините, но не могу отделаться от той мизансцены на Красной площади, как после Сталина подводят ко мне Вышинского. Вот кто похож был на крысу! Серая мордочка с белыми глазами. Казнить даже тошно такую крысу. Ну, говорю, сучара, ну, фурункул хронический, клади крысиную свою голову на плаху, испогань место казни и руки такого палача, как я!.. А он и говорит:

— Позвольте, товарищ, простите, гражданин Палач, спросить вас, за что? За что вы хотите привести незаконный приговор в исполнение? Я требую вызвать к плахе прокурора по надзору! За что вы обезглавливаете нашу юстицию в моем лице? За что?

— За блядское и хамское отношение к презумпции невиновности, — отвечаю я и... а-ах!.. Мимо!.. Еще раз а-ах!.. Снова мимо. Только на третий раз отшваркнул крысиную голову.

— Рука!.. Рука! Очнись! — это меня мой шеф растолкал, вывел из сладких грез. — Ты, — говорит, — давай, не гори на работе, а то сгоришь. Сейчас не тридцать седьмой. Пора на нормированный день переходить. Пошли на банкет к Берия.

— Пошли, — говорю, — на банкет к Берия. — И, действительно, пошли мы тогда на банкет к Берия...

Вы не верите, что я, да и не один я, знал, предчувствовал и, более того, был уверен, что при таком ходе событий, при явном охмурении Сталина Гитлером, через пару лет начнется война. Причем такая жуткая, что отца и мать я забывал, когда прикидывал, во сколько жизней, рук, ног, глаз, яиц, подбородков, желудков, коров, свиней, овец, домов, слез, страданий, нечеловеческих мучений, квадратных километров, центнеров, алмазов, музеев, деревьев и прочего неисчислимого добра обойдется эта война несчастному нашему народу... Вы не верите, что я знал?.. Знал!!! Знал!!!

Помолчите. Вы обнаглели. И вы тоже знали про войну. Крысы такие дела чувят не хуже осведомленных палачей. Знали и готовились к войне по-своему. Обдумывали систему хищений на мясокомбинатах, способы реализации похищенного, подбирали кадры, подставных лиц, сконструировали тройную страховку, завели шашни с медициной. Это — для белого билета... А вот доктор Вигельский, подписавший медзаключение о смерти Коллективы Львовны, утонул в проруби первого января 1940 года, якобы по пьянке... Я не верю в вашу непричастность к его гибели. Но вопросом этим мы заниматься не будем. Вигельский был плохим врачом и неинтеллигентным человеком. Он и получил свое. Надо было знать, с кем связываешься и на что пускаешься... А из-за крупных жемчужин погибали личности более интересные, чем Вигельский.

Раскалываться по-прежнему не желаете?.. Нет. На вашей совести смерть Коллективы?.. Хорошо. Двинемся дальше... Кстати, визу вашей супруге, дочери и зятю не продлили по моему указанию. На днях они простятся с прекрасной Францией и отбудут на родину. Они нужны мне здесь!.. Зачем? Если расколется, скажу... Не хотите — двинемся дальше.

Сталин тогда действительно заехал за мной ровно в десять ноль-ноль на черном «Линкольне». Сзади ехала охрана, разбившая, как я сразу понял, окружающее пространство на

секторы и аффективно прощупывавшая их якобы всевидящими глазами. Порыв ветра, разметавшего вдруг подзаборный кустарничек, привел охранников в неопишуемый ужас. Второй автомобиль рванулся с места и встал между кустиками и «Линкольном» на случай, если в кустиках залегли агенты японской разведки. В тот год именно она была страшной фавориткой нашего вождя...

— Поехали, — сказал, усмехнувшись, Сталин. — Уже в штаны наложили. Это Сталин должен их охранять, а не они Сталина. Верно, Рука?

— Должно быть, — отвечаю. — Бздиловатых коней видать за три версты.

Мчим по Минскому шоссе, а впереди нас на пробке радиатора, привстав на задние лапы, летит блестящая на солнце металлическая собака, и Сталин глаз с нее не спускает, и спокойно ему от скорости и оттого, что собака летит не навстречу ему, как вчера в лесу, а от него, над шоссе, к Москве, к Кремлю, летит, рассекая воздух грудью и перебирая стройными лапами... Молчит Сталин, и я молчу. Я думаю: видит меня сейчас отец покойный Иван Абрамыч или не видит? И если видит, то что он сам обо всем этом думает и что хотел бы сказать по этому поводу?.. Замочить, может, мне с одного удара Сталина?.. Не отвечает Иван Абрамыч. Нет, думаю, не надо Сталина замачивать. Всех вождей не замочишь. Да и говна такого сейчас хоть пруд пруди. Десять Сталиных за его место начнут грызть друг другу глотки... Я лучше сначала с Понятевским отрядом разделаюсь, потом с самим Понятевым, потом с сынишкой его, а уж потом примусь за остальную чуму...

— О чем думаешь, Рука?

— Думаю, Иосиф Виссарионович, что в органы мне надо. Подучиться и — туда. Там мое в это время место, хотя и от службы при вас не отказался бы.

— Может быть, на партработу? Нам кадры нужны как вертела для шашлыков. Подумай, Рука.

— Нет! В органах я пригожусь получше, — отвечаю и показываю Сталину свою ручищу. — А на партработу пусть Пашка выходит.

— Пожалуй, ты прав, Рука. Только скажи: почему ты так рвешься в Чека? Кого ты ненавидишь?

— Не знаю, — говорю, — кого лично ненавижу, но чувствую вокруг себя такую... силу, в общем, которую надо, как бешеную собаку — об ствол и мозги вон!.. Извините, если что не так, — сказал я это и перетрухнул, но, как оказалось, попал в точку.

— Наоборот! Именно так, Рука! Я тоже чувствую эту

силу, мешающую жить людям, либеральничая с ней, но дни ее сочтены. Сочтены! Я только не хочу уподобиться той небезызвестной собаке, которая, возомнив себя Немезидой, не приняла во внимание такой решающий фактор, как ты, Рука... А учиться тебе на чекиста нечего. Опыт научит. Была бы цель. Цель же тебе ясна. Интуитивно ясна. Это — залог нашей победы. Детали твоей и тысяч таких, как ты, — Сталин странно усмехнулся, — взаимозаменяемых в работе товарищей уточним в будущем, в процессе работы... Сейчас в ЦК в параллельном с моим кабинете ты будешь сидеть, смотреть в амбразуру и внимательно слушать. Если в моей фразе проскользнет вдруг собачья тематика, знай — я говорю с врагом, дни которого сочтены. Не удивляйся, — Сталин весело хлопнул меня по коленке. — Поводов для удивления будет немало. А первым твоим делом должно быть дело о хозяине немецкой овчарки по имени Альфа... Но не будем забегать вперед, как эта симпатичная собака на пробке моего радиатора... Посмотрим, Рука, по так называемым сторонам...

И вот, гражданин Гуров... Вы что, собственно, нахотились? Думаете о прибытии родни?.. Прикидываете, что вам может выгореть от такой масти?.. Лихорадит? Ищете варианты? Я уже уведомил вас ранее о том, что постарался свести к нулю вероятность вашего избавления. Подтверждаю это еще раз. Ровно двадцать секунд, а то и меньше понадобится мне для того, чтобы пустить вам пулю в рот или в лоб при какой-нибудь случайности... Рябов! Притарань, пожалуйста, самого старого коньяку. Согрей слегка. Он посильней нитроглицерина расширит ваши сосудики... Пейте. Не берегите здоровья. На хера оно вам сдалось?

И вот сию я в небольшой комнатушке для отдыха и, возможно, амурных дел Сталина. Смотрю в прибор типа перископа на то, что происходит в его кабинете. Слышимость прекрасная. Акустики потрудились на славу...

Деловой был человек Сталин, деловой! Звонил. Распекал. Шутил. Пёр на буфет. Иезуитствовал. Брал трубку. Бросал. Нажимал кнопки: вызывал помощников. Закуривал. Пил чай. Подписывал. Смотрел на карту мира. Ходил из угла в угол. Снова звонил. Снова брал трубку. В сортир сходил. Вернулся пободревшим. Но все это — херня. Он привез меня к себе не за тем, чтобы я за ним наблюдал и передал впечатления потомству.

Лица многих людей, входивших в кабинет, были мне знакомы по портретам, газетным и журнальным фотографиям. Вот, звякнув шпорами, прошел по ковровой дорожке Ворошилов. Показал Сталину макет какого-то противопехотного капкана. Попадают в него сразу сорок три человека. Испытания прошли более чем успешно. В контрольный кап-

кан попало сорок пять с половиной человек.

— Пошел ты, Клим, к ебени матери со своими изобретателями-шизофрениками. Мне сейчас не до твоих капканов!

А я понимаю, что этому идиоту ничего не грозит. Свой человек. За ним в кабинет, корча из себя самостоятельную личность, ввалился Бухарин. Стал пороть чушь о ликвидации противоречий между городом и деревней.

— Скажите, Николай Иванович, — обратился к нему Сталин, полностью одоббив бухаринскую идею, — какой породы вы посоветуете мне завести щенка?

— Мы с Ильичом тяготели к кошкам, Иосиф. Плохой я поэтому советчик, хоть мы и живем в стране Советов, — пошутил Бухарин.

У меня глаза на лоб полезли от удивления. Пиздец Бухарину, значит!

Тухачевский заходит. Приглашает Сталина на день рождения жены.

— А что, если я подарю ей мальтийскую болонку? — говорит Сталин.

— Нет, нет! Боже упаси! Лучше — букет роз, Иосиф Виссарионович...

Вот так штука!..

У Зиновьева и Каменева Сталин ни с того ни с сего спросил, как проходит изучение академиком Павловым условных рефлексов на собаках и когда, наконец, будет установлен памятник другу человека на территории Павловского института?..

Пришедшим на совещание двум маршалам, трем дипломатам, Рыкову, Ягоде и другим, незнакомым мне высшим чинам, Сталин сказал, что, готовясь к войне с Японией, нам необходимо дрессировать собак-минеров, собак-санитаров, собак-связистов и собак-адъютантов. Раздались бурные аплодисменты.

Я хорошо запомнил лица аплодировавших. Я вглядывался в них, как вглядывался, лежа на печи, в лица бойцов вашего папеньки в тот несчастный день, последний день Одиноки, пытаюсь постигнуть перед шоком природу поведения людей, пришедших грабить и убивать крестьян под лозунгами какой-то мировой коммуны, освобождения пролетариев всех стран и построения нового мира...

Я хорошо запомнил лица аплодировавших роковой для своих жизней «собачьей тематике», затронутой Сталиным, и пытался найти в облике генсека черты, отличающие его от всех этих воротил революции, коллективизации, военщины, индустрии и дипломатии.

Что такое невыносимое было в их личностях для Сталина? Почему они приговорены им к смерти? А сейчас,

в полном еще неведении насчет своих кошмарных, но, очевидно, заслуженных судеб, кипятятся, цитируют Ленина, возражают, советуют, непочтительно предостерегают, аплодируют, как кретины, дурацкой мысли о собаках-адъютантах, ошеломляют генсека эрудицией, предлагают экстремистские проекты отлучения части поколения от родителей, растопления Северного полюса с целью затопления социал-демократов Скандинавии, проекты уничтожения теории относительности, введения униформы, реорганизации Большого театра для создания из него трех малых, отмены национальностей, расстрела на месте проституток и карманников, покушений на Гитлера и Муссолини, похищения одновременно всех цюрихских гномов, Шаляпина, Рахманинова, Бунина, Куприна, Дюпона и Моргана, выведение в Москве клопов и тараканов силами пионеров и комсомольцев и, наконец, выкупа за всю Третьяковку останков Карла Маркса для перенесения их в Кремль.

Последний проект совершенно вывел из себя невозмутимого, внимательно слушавшего выступающих Сталина. Он встал и, закурив, еле слышно произнес крайне смутившую прожектеров и меня фразу:

— Породистая собака, товарищи руководители, сама себе откусывает хвост. Совещение окончено!

— Из Конфуция, товарищ Сталин? — поинтересовался какой-то кучерявый умник.

— Сталин не из Конфуция. Сталин из Гори, — тихо сказал Сталин, и я почувствовал, может быть, понял, как смертельно надоели ему эти люди, от сногшибательного параноического прожектерства и экстремизма которых воняло ужасной тоской и завязью каких-то новых уродливых форм жизни, которые доведут черт знает до чего доверенную ему, Сталину, счастливым случаем страну и ее ничего не решающие кадры.

Пора принимать высшие меры! Пора возратить этим людям чувство реальности, которое они ежедневно вышибают из-под ног своими мудацкими мечтаниями, а сами замышляют, заговорщики проклятые, снять его, расстрелять и обгадить портреты. Вот этого он не допустит никогда!

Я сообразил тогда, что если обречены такие хмыри болотные, как Зиновьев и Каменев, то шишки помельче обязательно полетят в тартарары в республиках, областях, районах, армиях и наркоматах. Вот я и доберусь до Понятыева, до отряда его, до вас, гражданин Гуров. Может быть, вообще удастся, думал я, потому что был идиотом, одолеть нам, неважно какими методами и под чьим руководством, бесовскую незримую Силу, разрушившую весь строй и ход моей жизни, Силу, орудиями которой, возможно, слепыми, являются растопители Северного полюса, похитители Дюпона

и Форда, разлучники отцов и детей, освободители английских колоний и эксгуматоры Карла Маркса... Как вам нравится последний сверхрамантический прожект?.. Мне он тоже омерзителен. Что вообще может быть омерзительней мощей лжесвятого, проповедей лжепророка, программы действий Антихриста? Ничего! И Сатана, конечно, прекрасно понимает, что люди, доверчиво клюнув на обольстительный ЗНАК, на СЛОВО, не только не соответствующее своей сущности, но полное до краев говна, как золотая винная чаша, что люди эти отныне будут видеть только золото чаши, не замечая истинного вкуса ловко подsunутого им Сатанюю напитка. А уж чего можно наделать, надравшись дерьмом, мы видели и в нашу гражданскую и в нашу культурную революции, в нашей российской истории, в общем, видели, а теперь видим в действительности Китая, Кампучии, Эфиопии и других стран, переживающих в дерьмовом угаре бурный роман с Марксом и Лениным...

Вас, гражданин Гуров, не первый раз интересуется: как это так откровенно, вызывающе и бесстрашно трёкали со мной и днем и ночью некоторые мои подследственные на любые, подчас смертельно опасные для них темы. Так вот и трёкали бесстрашно о Боге, о Сатане, о мистическом ужасе перед бесовскими Силами, содравшими, по мнению одного моего гаврика, шинельку с бедного Акакия Акакиевича и продолжающими разбойничать не только на колдоебистых дорогах российской истории, но и на шикарных автострадах Старого и Нового света и в афро-азиатских джунглях. Трёкали, потому что это были бесстрашные души, не унижившиеся перед палачами, как Зиновьев, до облизывания их хромовых сапог. Трёкали, потому что не могли иногда не почувствовать, что не простой перед ним палач, а раздваивающийся на глазах, снова сливающийся в одно казенное лошадиное рыло и опять внезапно раздваивающийся на светлую и аспидную половинки. И в нем, по ходу беседы или допроса, вспыхивает ум, пронзительно ноет сердце, разливается серая тупость, волнуется понимание, старается не выдать себя согласие, просыпается грубость, пульсируют смех, боль, родовая память о земле, сочувствие, и, рискуя погибнуть, распахивает себя пропащая душа! Правда, распахивание воспринималось почти всеми как хитрая провокация. В таких случаях я, смеясь, выслушивал одну и ту же фразу: Только не надо темнить, гражданин следователь. Я — не фрайер! Шли бы вы на хер мелкой походочкой.

Да! Эту жаргонную фразу я слышал от священников, богемного рафинада, аристократов, дипломатов, поэтов, рабочих и добрых, стареньких докторов. Тюрьма-сука быстро и не тому еще научит... Вы предпочли бы следствие в

тюрьме? Я понимаю. Я поэтому и яшкуюсь с вами на вашей вилле... Не надо меня поправлять!.. Да! Я намеренно пытаю вас тем, что вы, как бы у себя дома, а на самом же деле вы — в тюрьме, среди кучи конфискованных вещей, камешков, пачек банкнот, картин и несравненных, заморозивших меня жирандолей. Да! Это — пытка. Какой же палач забывает о пытке?.. Казнь — самая легкая в нашей профессии штука. А пытка... пытка... она — конфеточка, кисанька, птичка!..

Я не знаю, куда девались ваш кот Трофим и собака Трильби... Я повторяю: не знаю!! Я не слезу за ними, как жареный японец за Зорге!! Понятно? Думаете, на Лубянке вы бы сидели в камере в обществе Трошки и Трильби?.. Там бы вы даже с мандавошкой не смогли отвести свою душу, сукоедина! «Где Троша и Трильби?» Ах, я шантажирую вас самыми низкими способами!.. А почему бы и не пошантажировать такую дрянь, как вы? Я вот возьму и на самом деле пошантажирую! Рябов!.. Рябов!.. Куда девались кот и собака? Я не приказывал их охранять, но ведь было сказано, чтобы муха не влетела и не вылетела отсюда! Найдите!!! Доставить ко мне живыми или мертвыми!!! Выполнил!

## 43

Еще не нашли ваших тварей... Не дергайте меня только... На чем мы остановились?.. Вам, кстати, интересно слушать-то? Отсутствие животных мешает сосредоточиться... Повторяю: не дергайте меня!..

Тогда в комнатухе много промелькнуло передо мной будущих жертв Сталина. Молодежь, здоровяки-красавцы средних лет, лоснящиеся от сознания причастности к элите и «пульту великих свершений», старые, считающие, что они уже отмыли руки от голубой и кулацкой крови, ленинские и дзержинские сатрапы. И я никогда не забуду поразившее меня жуткое впечатление! Чиновники, военные, философы-марксисты, ученые, администраторы, партийные и советские боссы, теоретики новой политэкономии, крупные чекисты — все они вдруг до единого показались мне живыми трупами, мертвыми душами.

Поэтому я воспринимал в те часы истинный, сатанинский смысл сонма идей, владевших умами обреченных, фактически уже не существующих людей, хотя объяснить мне вам, гражданин Гуров, почему я считал, вернее, ощущал их тогда не существующими, если они сидели, курили, докладывали, смеялись, спорили, пили чай, входили и выходили, невозможно... Расстрел или гибель от пыток, как бы исключительно формально завершали работу Сатаны над жутким образом

прижизненной смерти попавших в его лапы людей. И более полного, более страшного, происшедшего от лицемерия этих людей ощущения присутствия в мире того, что мне иногда казалось моим собственным сумасшествием, того, что я всегда называл Сатанинскою Силой, обольщающей Души, убивающей их и уверенно ведущей мир к хаосу и Смерти, более полного и страшного ощущения я не испытывал никогда.

Мне было ясно, что живые трупы скучны Сталину и отвратительны. Он смотрел то рассеянно, то внимательно поверх обреченных голов, словно пытался разглядеть пучок невидимых веревочек, которые дергала ненавидимая им в глубине души страшная двуликая ИДЕЯ, управляя поступками и образом мыслей марионеток, специально для меня вызванных на совещание в Кремль.

Сталин выходил из-за стола, прохаживался по кабинету, передергивая плечами, резко вскидывая подбородок и вертя головой. Он безусловно проверял, свободен ли он лично в своих движениях, поступках и в образе мыслей или тоже, как эти трупы, опутан веревочками и целиком подвластен игровым прихотям ненавистной идеи.

Причесавшись, как бы оторвав при этом от себя ниточки-веревочки и откинув их решительно в сторону, он зябко поеживался. Так поеживаются дети, нырнув в кроватку и спасаясь от шебуршащей под ней нечистой силы. Поежившись, Сталин садился за стол и окидывал присутствующих долгим, теплым, отеческим взглядом. Так этот взгляд воспринимали трупы.

На самом же деле Сталин по-детски радовался, что он жил, жив и будет жить, а они все очень скоро загнутся, и он искренне им за это благодарен. Если бы не осторожная сдержанность в острейших ситуациях, прямо встал бы сейчас и расцеловал бы каждого в синюшные, уже слегка засмердевшие лбы, в заостренные носы, в белые холодные губы, в мертвый оскал зубов, в желтые восковые щеки, в черные глазницы. Но нельзя встать и расцеловать. Подозрительна была бы такая сопливая нежность. Прерывая очередного оратора, Сталин весело говорил:

— Спасибо, товарищ Каменев! Благодаря вам я теперь знаю, где собака зарыта! — И растроганный лаской вождя, Каменев смахивал с уголка мертвого глаза слезинку.

Покинув Кремль, обреченные разносили по всем сторонам света заразу легенд о деловитости, прямотушии, сдержанности, отеческой заботе, мудрости, учености, всенародности и гениальности Сталина. Трупы внушили сами себе, затем другим, вопреки очевидности и логике, а следовательно по повелению Нечистого, любовь и страх к своему убийце. И любовь к убийце изобличает в них, я убежден, ЛЮБОВЬ

К СМЕРТИ, принявшую хитрющую, лукавейшую форму влюбленности в идеалы социализма и коммунизма, в идеалы Богоборчества и разрушения мира, заразить которыми мертвые души мечтали пролетариев всех стран.

Вы справедливо замечаете, гражданин Гуров, что Сталин «выступал объективно» как враг Сатаны, если он собирался покончить с его «парнями» в одной шестой части света. Собирался. Верно. Но собирался исключительно потому, что если не он их укокает, то они ему и его прихлебателям из жопы ноги выдерут, а заместо них спички вставят! Это как в лагере: если урки были пооборотистей, то сукам плохо приходилось: на пики их сажали. Если же наоборот, то блатным кишки из пуза выпускали, и бежали они на вахту, пока не падали рылами в пыль, в грязь, в снег. А мужикам, которых и блатные и суки вообще за людей не считали, от их беспощадной и бескомпромиссной резни жить иногда бывало полегче. Так что я лично никогда не считал Иосифа Виссарионовича религиозным мыслителем. Однако заблуждался одно время относительно стратегических целей сталинского террора. Мы еще потолкуем об этом, когда дойдем до вашего папашки. Скоро уж дойдем, скоро!..

А в том, что Сталин ненавидел марксистскую идею и лично Ленина я и сейчас убежден... Нет, гражданин Гуров, не потому, что добр был Сталин, мудр, светел, человеколюбив и не суетен. Нет! Он ненавидел идею за то, что не верил в нее, но служил ей, выбрасывая псу под хвост десятки лет, пожертвовав ради спасения шкуры и партийной карьеры близкими и друзьями. Разве может не почувствовать любой злодей и тиран, как ужасна его судьба, как бесплодна она, если платой за спасение от пуль Троцкого, Бухарина, Зиновьева оказывается сама жизнь, а целью жизни — спасение от страха. Страх же не покидал моего друга Иосифа Виссарионовича никогда. Как же было ему не ненавидеть лобызаемую поэтами, композиторами, скульпторами, художниками и философами ИДЕЮ, если сам он олицетворял ее в одах, романах, фильмах, монографиях, картинах и скульптурах. Он ненавидел и себя и ИДЕЮ, в жернова которой попал не столько по воле Рока, сколько по собственной тупости. Ненавидел себя и идею. А ныне миру внушено, что исключительно из любви к собственной персоне насаждал, холил и лелеял Сталин «культ личности». Из ненависти к себе он его лелеял!

Кроме всего прочего, попав в заколдованный круг, Сталин злобно и инфантильно решил, что лучше уж он будет олицетворять ненавистную ИДЕЮ, чем кто-нибудь другой, Молотов например. Нельзя Молотову с таким плоским лицом олицетворять ИДЕЮ. Раз уж выпала такая масть, думал этот

крупный урка, раз уж никуда от нее не деться, а смыться с кона, двинув фуфло учению и идее, значит быть посаженным на пику, то хрен с вами — славьте меня, воспевайте меня, лепите, пишете, прибарахляйте бронзой, мрамором, чугуном и гипсом!

Это ваше дело, гражданин Гуров, соглашаться со мной или считать сказанное белибердой... Замечание же насчет того, что и я угрожал десятки лет коту и псу под хвост... Рябов!.. Что там с животными?.. Продолжать поиски!.. Я угрожал десятки лет, в отличие от Сталина, на личную идею... Не вам судить, плодотворна идея возмездия или дурна. Вы — небеспристрастны. Прочих аспектов дела касаться не будем. Скучный вы все-таки собеседник! Но поняли, надеюсь, что несколько дней, проведенных в комнатухе Сталина, настроили меня на лад охотничий... Поняли? Вот и хорошо.

Уезжал я из Кремля вместе со Сталиным. Я считался его телохранителем для особых поручений. Сталин любил конец дня, обещавший временное освобождение от страхов и ненависти, а летевшая с «Линкольна» в благожелательном направлении собака успокаивала нервишки и утверждала веру в удачу...

Вы можете, гражданин Гуров, сколько угодно подъезывать меня насчет того, что вы называете «литературными штучками», как бы намекая на погибшее во мне дарование писателя... А по рожу... по рожу... по рожу... по рожу... не хотите?.. Сука!.. При чем здесь писатель? При чем, я вас спрашиваю, погибший талант?.. А?.. Я, может, кладбище талантов!.. Вон — могилки хлебопашца, пастуха, плотника, кузнеца, фермера, хозяина, писателя, лентяя, пьяницы горького, буйного купца! Поклонитесь им!.. Живо!.. В пояс, сучка, в пояс!.. А теперь, блядища, иди в мой сад, срежь ножницами самую большую, самую красивую, самую белую розу и возвратись, тварь, и положи, крыса, эту розу еще на одну могилку! Бы-быстро! А то через десять минут на кладбище — обеденный перерыв...

Хорошая роза! Белая роза! На колени мне клади ее, змей!.. Лепестками — к паху. Ближе... еще ближе! Здесь закопал ты в тысяча девятьсот двадцать девятом году талант родителя, сволочь, здесь ты прервал в убийственный мороз существование бесчисленных мальчиков и девочек!.. А теперь — обед!

#### 44

В том, что вы взяли тайм-аут, виноваты вы сами. Не распускайтесь. Не хамите. Попробуйте быть раз в жизни душевно-тактичным человеком... Сустак пьете? Инъекцию вам сделают такой прелести, какую нефтяные шейхи за золото

у нас покупают. Выкарабкаетесь. Вы уже в порядке... Думаете, у вас нарушен гормональный обмен из-за вынужденного простоя? Хорошо сказано и с большим душевным тактом! Ну что ж! Будет вам баба. Дело — есть дело... Ах, я забыл, что у вас комплекс Сциллы и Харибды!.. Бедняга. Но об Эмме Павловне и Розе Моисеевне забудьте. Будет вам, так и быть, другая парочка. Хорошие бабенки. Агентура моя. Глунями мы их зовем. Глуне-70 и Глуне-74. «Глуне» означает: глухонемая, а цифры — год вербовки... Моложе, моложе вас, успокойтесь... А вы, я смотрю, порозовели! Зарделся, козел! Есть в тебе еще силенки и страсть пожить. Это — Хорошо. Я не люблю иметь дела с мертвыми трупами. Живых вокруг хватает... Животных ваших ищут. Оцеплено пол-Абхазии. Патрули проверяют багажники «Жигулей». Размножены вот эти милые фото Трофима и Трильби. Понадобится — подключу к поиску «Интерпол». Живы во мне еще кое-какие таланты!

Сталин однажды и говорит мне:

— Экспертиза, Рука, установила, что ликвидированная тобой немецкая овчарка была, действительно, бешеная собака. Подозрительно другое. Владелец одной соседней дачи и хозяин собаки троцкист Кудря Илларион Матвеевич бесследно запропастился. В прошлом он очень досадил мне. Дал в присутствии Ленина пощечину, от которой не застрахован даже Сталин. Политический враг. Жесток, как десять вместе взятых Неронов... Отъявленный марксист-догматик. Правда, удачно ликвидировал оголтелую аристократию Ленинграда и помог мне в двадцать девятом. Займись им. Я хочу посмотреть, на что ты годен. Мы уничтожили царский правопорядок. Каноны классической юстиции выкинули на свалку истории. Поэтому наши следственные органы и правосудие далеки от совершенства. И поэтому же будь свободен в своих действиях, Рука. Я обязан тебе, но ошибок не прощаю. Валяй!..

Сами понимаете, как я тогда загорелся, и как заиграла кровушка моя, моя плоть, навечно заключенная в тюрьму! Первым делом обследую покинутую, закованную Кудрей дачу. Тоже, вроде вас, нахапал дерева, кожаных диванов из графских гостиных, картин, бронзы, фарфора и прочего барахла... Все вы, как один, сволочи, умрете в борьбе за это!.. Обследую. Явно бежал Кудря. Интуиция сработала. Чувал, что скоро — крышка. Слился, небось, с массажи или сиганул в Турцию. Обследую дачу. Подготовки сыщицкой — никакой. Только страсть, бешеная охотничья страсть и интерес взглянуть на отношение палачей к собственной боли, к унижению, к неминуемой смерти. Не нахожу, увы, ничего, что подсказало бы мне хотя бы направление поиска. Решаю объявить розыск. Стою тупо на участке, детектив вонючий, тру-

хаю Сталину на глаза попасться и вдруг: ж-ж-ж-жу, зазвенели мои жилушки в резонанс со случайностью, не замеченной, конечно, в тот именно миг, но приведшей меня ни с того, ни с сего к собачьей конуре. Вернее, это была не конура, а собачий домик, чем-то напоминавший мавзолей. Пирамидка такая деревянная. Только стесаны грани, наляпаны резные планочки, чтобы не сквозило слишком явное сходство с известным шедевром архитектуры. Пародийность конуры была очевидна. Наверное, бежавший троцкист одинаково относился к своим двум врагам, умершему и живому. Цепь с ошейником наборным и чеканкой «Альфа». Ошейник не перетерт, не сброшен псом, а снят с него кем-то. Присел я. Смотрю на громадные, просто громадные, обглоданные Альфой, целые, неразрубленные даже бараньи тазы, свиные ноги с копытами и думаю: что же это за печь такая охуенная, если в нее целый хряк влазит?.. На даче такой нету. Углей и вертела на участке не видать. А главное, обожжены копыта и края костей дочерна, до хрупкости, до полного праха! Ну-ка, думаю, Вася, проверь версию! Все ж-таки ты не голову, а жопу обморозил на проклятой колодине.

Хотел сначала взять с собой человека три из особого отдела, к которому был прикомандирован по звонку Сталина. Потом передумал. Взял пару «несчастий» на всякий случай и машину. Валяй, говорю шоферу, в крематорий! Есть — в крематорий!

Вечер. Дождь. Тоска. А если я ошибся? Тоска и дождь. Подъезжаем. Стучу в железные ворота. Никого. Перемахнул через них с верха подъехавшей «Эмки». Захожу в сторожку. Сторож, как это ни странно, мертв. Не остыл еще. Возможно даже, умер от моего стука. На столе — бутылка. На полу — выпавший из рук стакан в луже водки. Не успел сторож опохмелиться. Удар. Удачная смерть...

Вы считаете, что лучше подохнуть, опохмелившись?.. Я так не считаю... У нас разное отношение к предсмертному состоянию... Я думаю, что лучше вообще не пить...

Мертв — так мертв. Приказываю шоферу, открыв ворота, подъехать, желательно потише, к самому крематорию. Дождь. Отвратительное серое здание закрыто. Ищу черный ход. Нахожу. Лестница ведет в подвал. Оттуда доносятся голоса лиц мужского и женского пола, как пишут в протоколах допросов. Смех, кажущийся похабным и на расстоянии... Я был в штатском, хотя Сталин с ходу сделал меня лейтенантом. Форму я люто ненавижу по сей день... Человек десять там, думаю. С двумя маузерами и парой кулачин справлюсь. Вынимаю из кобуры «несчастье»... Постоял под дверью. Пир там у них горой. Тосты, блядские шуточки, трёканье насчет

мировой революции. Суки, думаю, позорные! Мало вам бледей и вина! Вам еще мирового бардака не хватает! Достану из кобуры второе «несчастье». Встаю на корточки. Смотрю в замочную скважину... Ба! Вот тебе и классовая борьба! Стоит посередине странного, не имеющего правильных очертаний помещения стол... Я подчеркиваю, что это было именно помещение, то есть низкий закопченный потолок, одна стена выгнутая, полукруглая. Другая — мерзко вогнутая — образовала с полом тупой угол. Под потолком виднелась какая-то черная ниша. Стена третья была, как я понял, собственно вратами самого крематория. Частью обгорелый, потрескавшийся от жара кафель, частью сталь раздвижных створок с глазками, амперметры, вольтметры, градусники, кнопки-лампочки, два внушительных рубильника «Симменс». В общем, изломанное безрассудно, случайно или вынужденно, пространство помещения было нежилым и отвратительным. Посередине, хотя определить середину такого пространства очень нелегко, стоял продолговатый, типа теперешних журнальных, длинный низкий стол. На столе, на железных носилках с колесиками лежала жареная свинья... Не поросенок, а свинья... Не понимаю, гражданин Гуров, зачем вам понадобилось такое уточнение... Свинья лежала...

Ах, это по вашему личному распоряжению она была выдана с мясокомбината субутыльнику Кудре?.. И опять же только случайность помешала вам быть в том обществе с девушкой? Потрясающе!.. Вам не удалось отправить жену Электру в Большой театр, и вот — наша встреча снова отложена на десятки лет!..

И это была не свинья на самом деле, не чушка, а молодой хряк... Я потрясен!.. Лежал на столе молодой жареный хряк, похожий на загорелого в Сочи ответственного работника, разомлевшего и додремавшего до солнечного удара... Зелень. Огурчики-помидорчики, грибочки, бутылочки. В последнюю очередь я обратил внимание на гуляк. Они как бы не попадали до этого в поле моего зрения. Их было, что тоже странно, всего четверо. Но шумели, болтали, взвизгивали, хохотали и орали так, словно их было рыл восемь—десять. Сидели они на красных пуфиках совершенно голенькие. Только на башке одного прекрасно сложенного брюнета красовалась турецкая феска с кисточкой. Я тогда не ошибся. Это и был Кудря — троцкист, романтик мировой революции, садист, ворюга и палач. В нос мне из скважины замочной бил жареный душок и духота... Окно, кстати, в помещении не было... Толкнул тихонько дверь. Открыта. Вхожу. Меня не замечают. Подхожу ближе к столу в тот момент, когда Кудря старинным тесаком начал отрубать хряку голову.

— Жаль, что это не Сталин! — сказал он.

— Р-руки вверх! — гаркаю. Твари, привыкшие к безнаказанности и собственному произволу, не успев сообразить, что к чему, тут же вскидывают, как говорят шакалы-урки, сушить лапки на веревочке. Тесак старинный так и остался в загривке хряка. Полный бокал застыл в поднятой руке второго голого гуся, и красное вино через край стекало ему по ладони и локтю в волосатую подмышку. У блядей трепетали от дрожи алые и розовые ноготки. Заострились груди, побледнели соски... Все, как сейчас, помню... Мне бы только не забыть: уж очень аффективно вживаюсь я в воспоминание...

Приказываю блядам срочно одеться. Отобрал у них паспорта. Велел сесть в «Эмку» и ждать моего возвращения. Живо, говорю, ударницы разврата!

Смылись бабенки.

— В чем дело, товарищ? — спрашивает, приходя в себя, Кудря.

— К стенке! — говорю. — Быстро!.. Встать!

Встают оба лицом к вогнутой стене. Прячу в кобуру одно «несчастье». Свободной рукой загребаю в ладонь, как на вас, рыло и скальп Кудре. Первый раз я тогда испробовал эту штуку, вышибающую из тела дух, жизнь и волю. Кудря обмяк, соплю заглотил. Беру в лапу рыло второго гуся... Поворачиваю его... и кровь ударяет мне в голову. Один из понятияевских молодцов!.. Он, гаденыш! Таким же, как сейчас, было его лицо, когда он не спеша целился в мужиков, таким же! Только годы стерли с этого лица злое сладострастие и угрюмую, жестокую деловитость, но я возвратил ему его истинное выражение и узнал его! Обрушиваю уже точно зная, как я вскоре поступлю, кулак на потное лысое темя. С копыт!.. Обрушиваю на нешелохнувшегося при падении собутыльника, Кудрю. С копыт! Прячу «несчастье» за пояс. Открываю створы печи крематория. Там внутри тьма и свиной жареной пахнет. Остыла уже печь. Скидываю с железных носилок поросенка, то есть свинью, простите, хряка и разную закуску, кладу на них Кудрю и понятияевского молодца и посылаю носилки по рельсинкам наклонным прямо в печь. Закрываю створы. Открываю глазок. Жду, когда падлы прочухаются. Стакан водяры заглотил: так волновался и такое нечеловеческое удовольствие от впервые совершаемой мести начало потрясать все мое существо...

Смотри оттуда, Иван Абрамыч, смотри! И ты смотри, бедная моя мать, Мария Сергевна! Смотрите!..

Закусывать не стал. Не из русской печи поросенок... Хорошо, я буду называть его хряком... Вы — зануда и педант, гражданин Гуров!.. Пожевал петрушечку. Заглянул в глазок. Зашевелились, поросята! Кудря, кричу, Кудря! Подползи к

глазку! Подползает, во рту слюни хлюпают, взвизгивает глухо от ужаса. Товарищ, бормочет, товарищ, спасите... Я все, я все... все отдам... товарищ!

Второй тоже подползает и Кудрю от глазка отпихивает по-зверинуму. Сказать ничего не может. Только воет: ы-ы-ы...

— Кудря, — говорю в глазок, — если бы тебя предупредили о таком конце перед тем, как вывел ты в расход сотни душ, поизмывался над дворянами петербургскими и крестьянами невинными, стал бы ты убивать, измываться и грабить?

— Нет!.. Нет!.. Нет! Клянусь — нет!.. Товарищ, спасите!.. Я... я... я волю партии исполнял... Спасите!..

— А ты, гусь, — говорю второму, — помнишь деревню Одинку и своего командира Понятьева?

— Ды-ы-ы, — стучит зубами, — больше не дыбу, дольше не дуду-ду-ду-ду... больше не дубу...

— Да! Вы больше не будете, — говорю. — Это — приказ Троцкого! Он пришел к власти, когда Сталина загрызла в Барвихе бешеная собака! Собаке присвоено звание комбрига. Она награждена орденом «Знак почета».

Вот тут они совсем очухались.

— Сво-о-олочь! — заорал Кудря. Второй гусь набросился на него, молотя головой по его лицу и с бешенством выкрикивая:

— Говорил!.. Говорил!.. Сталин — вша! Троцкий — блядь!.. Все вы... вши! Вши!.. Вши!

Крики их смешались. Я включил первый рубильник, потом второй и стал следить за приборами и градусником, повернув ручку реостата до предела вправо. Наверно они там, пока прогревалась и накалялась печь, плясали, извиваясь, взвывая, и копошились, шипя на адском огне. Я туда не заглядывал. Замигала красная лампочка Ильича на щитке. Я понял, что все кончено. Выключил рубильники. Заглянул в глазок. В печи никого не было. Только на носилках и на плитах печи лежали бесформенные кучки темно-серого пепла...

Я сгреб пепел совком с длинной ручкой, пересыпал в бутылку из-под шампанского, собрал вещи кремированных, хряка оставил валяться на полу в полном одиночестве и вышел из жуткого подвала, где вогнутая стена приводила меня в ужасное уныние, а выгнутая просто сводила с ума.

Блядей этой же ночью выслали в Казахстан. Директора крематория сняли с работы и назначили каким-то красным крестом в красный полумесяц...

— Иосиф Виссарионович! — докладываю. — Ваше приказание выполнено. Кудри больше не существует в природе!

— То есть как это?.. Где он, если не в природе?

— Вот! — показываю Сталину бутылку из-под шампанского и высыпаю на ладонь немного теплого еще пепла. — Это — Илларион Матвеевич Кудря с точки зрения материализма.

— Ты превзошел мои ожидания, Рука... Как странно. Был Кудря и нет Кудри... Только горстка пепла... Кучка праха... Пожалуй, надо сообщить советскому народу об открытии мною четвертого состояния вещества, следующего за газообразным, жидким и твердым: прахообразного состояния. Мне всегда казалось, что между твердым и газообразным чего-то не хватает. Что ты сказал Кудре?

— Что испепеляю его по вашему приказанию.

Сталин, схватившись за живот, засмеялся веселым, чистым, детским смехом.

— Иди, Рука. Я же займусь четвертой главой истории ВКП(б). Я хочу, чтобы людей тошнило при чтении от идей Маркса-Ленина! Спасибо! Продолжай стажироваться! Прах развеи, согласно традиции, по ветру...

Заснул я под утро и опять приснился мне отец Иван Абрамыч.

*Он молил меня на черной площади мертвого города оставить месть, не губить душу, дабы дать ей возможность свидеться с ними со всеми. И снова я толкнул отца в грудь, так, что отшатнулся он, и сказал ему: меры мести моей за вас, убитых, нет и не будет!.. И горько плакал отец Иван Абрамыч, и утешала его моя мать.*

## 45

А вам как спалось?.. Паршиво?.. Кто же вам велел не спать, а думать... Моя мысль о том, что Сталин бешено и хитро ненавидел Идею, донине властвующую над двумястами пятьюдесятью миллионами людей и их вождями, возмнившими себя самостоятельными при разработке внешней и внутренней политики СССР и его сателлитов, кажется вам совершенно безумной? Мне так не кажется. И не только физике, в конце концов, двигаться дальше в постижении структуры мироздания и вещества с помощью достаточно безумных идей! Не мешало бы обществоведам и историкам, хотя бы в порядке эксперимента, попробовать объяснить некоторые феномены общественной жизни, оперируя безумными идеями, то есть идеями совершенно простыми и естественными, которые марксистские, например, идеологи перестали замечать, поскольку мозги их залиты догмами. А идеи простые и естественные чисто растворены в самом Бытии и для идеологов, отчужденных от Бытия, как бы не существуют, следовательно, и не мыслятся. А тех, кто мыслит иначе и пытается выбраться из гнусного существования в

мертвой идее в животворное Бытие, где примером нам служат птицы небесные, а не военные летчики, слепые писатели, знатные шахтеры и бездуховные цензоры, проститутская бессовестная пресса называет диссидентами.

Недавно, исключительно по долгу службы, мне пришлось вызвать к себе для разговора одного странного молодого человека. Вспомнил я сейчас его мысли. Он вообще временами считал разговоры о правах человека слишком абстрактными. Он считал, что сущность их подменяется зачастую либеральными требованиями свободы творчества, свободы слова, свободы уличных шествий и так далее. Сущностным же правом человека он считал право жить в естественной атмосфере Бытия, дыша Свободой, незаметной, как воздух, где Свобода — неперенное и истинное условие существования и самостоятельности каждого, а не баллончики с воздухоподобной смесью, к выдаче которых гражданам СССР принуждают наших вождей «противники разрядки» на представительных форумах.

— Значит, — говорю, — ты, тунейдец, пошел еще дальше тех, кто хочет сочинять, что им взбрдет в голову, рисовать увиденное внутренним оком, уезжать, куда вздумается, дальше тех, — говорю, — ты пошел, которые жаждут, чтобы судили их справедливо, как в Англии или в Дании, чтобы правительство отчитывалось перед народом за внешнюю политику, обсуждало ее стратегические цели, чтобы оно уничтожило уголовную ответственность за попытку иметь собственное мнение о деятельности всех советских социальных, культурных и коммерческих институтов? Так? Ты хочешь, чтобы Громыко отчитывался за каждую копейку, потраченную в Сомали, в Египте, в Эфиопии, в Чили и на Кубе? Ишь, — говорю, — чего ты захотел! Ты, выходит, хочешь, чтобы функции государства по бытовому, желудочному и прочим обслуживаниям населения были переданы частным лицам, сознающим свою ответственность за быт, желудки, одежду и здоровье людей? А не хочешь ли ты, — говорю, — проведения всенародного референдума с целью выяснения, существует, по мнению граждан, в стране социализм или нет? А потом ты пойдешь еще дальше? Ты попытаешься узнать, что думают представители разных поколений о коммунизме? Верят ли, хоть на грош, в возможность его построения?

Может быть, — спрашиваю, — ты уверен, что Россия в миллион раз богаче Кувейта и Швеции, и если бы не советская власть и ее безмозглый, ленивый и авантюристичный госкапитализм — эта собака на сене, — то мы бы уже сорок экономических чудес натворили? Отвечай!

— Да! Уверен и желаю всего, что вы перечислили в своей неглупой, но провокационной речи! — говорит этот стран-

ный молодой человек, с удовольствием затягиваясь сигарой, забытой у меня стукачом из Союза кинематографистов. — Я, — говорит, — понимаю, что невозможно с ходу радикально изменить структуру нашего государства, его экономики и общественной жизни, как нельзя сделать того же в Штатах или Японии. Поэтому я и послал по почте со своим обратным адресом письмо членам политбюро с требованием немедленно начать содействовать в деле создания естественной атмосферы Бытия в нашей стране в согласии со свободно выраженной волей граждан. Рецептов в таком деле, написал я, давать вам не стану. У вас есть институт по изучению экономики США и еще сотни организаций, занимающихся хуйней на постном масле. Вот и поручите им заняться этой проблемой. Остальное вам, гражданин следовательно, известно. Я получил ответ из ЦК. Там была всякая чушь насчет того, что я агент сионизма и ЦРУ. Я — чистейший русак, и сочувствую главным образом нациям, стремящимся к самоопределению: литовцам, украинцам, армянам, евреям, самим русским, венграм, полякам, тибетцам и многим другим.

Еще письмо посылаю на имя всех членов политбюро, кандидатов в члены и секретарей ЦК, еле на конверте все уместились. Вот пишу, чего я хочу конкретно: для начала необходимо стереть с лица земли нашего великого, могучего и прекрасного русского языка, а также с земли иных, не менее прекрасных языков, сотни СЛОВ-МОГИЛ, в которых были похоронены и уже давно истлели и съедены червями ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. Коммунизм. Социализм. Советская власть. Соцсоревнование. Выборы в Верховный Совет. Народный судья. Советские профсоюзы. Светлое будущее. Единство партии и народа. Слава труду. Слава КПСС. Соцреализм. Самое передовое искусство. Пролетарский интернационализм... Сотни имеются у нас таких могил. Но трупы, истлевшие в них, властвуют над нами и нашими вождями. Для начала давайте обретем, после ликвидации слов-могил, чувство реальности. Потом нужно захоронить по-человечески покойника № 1, Ленина, потому что не может быть порядка в стране, как сказал мой бывший друг, в которой не похоронен хоть один померший человек. Нелепо и непрагматично запрещать веру в Бога живого и насильственно прививать любовь к мертвому чучелу, выставленному вами, дорогие товарищи, в мраморном подвале и доступному странным взорам охмуренной толпы, инстинктивно ищущей, кому бы поклониться. Потому что желание поклониться есть неистребимая страсть души, на чем и играют Силы Зла.

А затем расписываю членам политбюро перспективы нашего развития, когда начнет оживляться между нами и вокруг атмосфера естественного Бытия, и так далее, вплоть до

Страшного Суда. И спадет с плеч забота о запрещении свободы слова, печати, творчества и переезда на местожительство в другие страны. Плохого писателя никто издавать не будет, а хорошего, возможно, сами читать не станут. Так ведь и раньше бывало. А Совет министров я предлагаю переименовать в Думу министров, потому что вообразить, как сидят министры в позе роденовских мыслителей и *думают*, я могу, а вот как и о чем *советуются* министр деревообрабатывающей промышленности с министром культуры и наоборот, я вообразить не в силах. Какие они друг другу дают советы?

Передайте, пожалуйста, всем членам политбюро мой сердечный привет и душевную просьбу. Я прошу их поскорей освободиться от ряда соблазнительных ложных идей, в которые они никогда не верили и не верят, а если им все-таки кажется, что верят, то уровень современной медицины позволяет надеяться на частичное, переходящее постепенно в полнейшее, излечение пациентов от одной или множества структурно-окостеневших навязчивых идей. Гораздо труднее обстоят дела в СССР не с навязчивыми, а с навязываемыми идеями. С ними у нас полный завал.

Я полагаю, что СОВЕТ это и есть НАВЯЗЫВАЕМАЯ ИДЕЯ. Читайте лозунг, покоровший своей бессмысленностью массы: «Вся власть Советам!» — «Вся власть навязываемым идеям!» Никогда так прочитанный лозунг не привел бы ваше кодро к власти! Никогда!

И вообще многие правильно прочитанные лозунги перестали бы существовать в миг дешифровки и обнажения своей оборотистой сути... Но я, пишу, отвлекся и настаиваю на том, что борьбу за права человека необходимо увязать с борьбой за права людей, занимающих самые высокие посты в государстве, партии, армии и органах. Надо начать борьбу эту немедленно и в мировом масштабе. На что уходит жизнь вождей при служении навязанной идее? Почему должны они жертвовать радостями личного существования во имя царствования мертвых догм? Почему должны мучиться, запутавшись в постулатах выжившего из ума Учения? Почему? Пусть же простые люди доброй воли дружно воскликнут: Свободу вождям и руководителям от ложной коммунистической идеи!..

Увязать необходимо, повторяю, борьбу за права человека в Советском, читай: в навязанно-идейном, Союзе с борьбой за права людей, занимающих высокие посты: здесь мы все сейчас рабы сатанинской идеи и ее силы и должны сочувствовать друг другу. Если не вожди нам, то мы им. Ибо нам легче: мы увидели свет. А на вопрос: что же делать, если у обеих сверхдержав масса пороков, а радикально изме-

нить их политические и экономические структуры не представляется возможным до начала олимпиады-80, я отвечу так: нужно создать международный координационный и исполнительный комитет по выявлению и корректированию социальных и общественно-политических пороков, имеющих место в жизни сверхдержав и стран, находящихся в сферах их влияния. Вот и все. Но для начала вы — руководители — должны стать не инакомыслящими, а свободомыслящими существами, хотя бы украдкой подумывающими на охоте, в бассейне, в супружеской постели и на заседаниях о том, что не мешало бы свергнуть тиранию идеи и зажечь практически по-человечески. И вот когда вы осознаете необходимость бороться под властью тиранической идеи за свои человеческие права, когда вы почувствуете непреодолимую страсть освободиться от всеильной лжи существования и достойно сформулируете его высшие цели, тогда инакомыслие и свободолюбие подданных будет восприниматься вами не как проявление вражды и ненависти к вам — «горстке смельчаков и провидцев, — ведущим корабль державы по бурным волнам океана к коммунизму», а как солидарность, сочувствие и ответственность перед живущими и следующими поколениями людей страны и земли. И в атмосфере естественного Бытия, трагизм которого не снимается наличием у общества гарантированных свобод, сама собой пропадет нужда бороться за права человека. Нелепо ведь тигру, выпущенному на волю, часами разгуливать взад-вперед по полянке, как по клетке, а орангутангу гневно и тоскливо расшатывать воображаемые решетки. Правда, есть в каплаге группки молодых людей, которые ведут себя как тигры и обезьяны, вообразившие, что они живут не на свободе, а в клетках. Жизнь может сыграть с ними жуткую шутку. Она уже сыграла ее с русскими интеллигентами и рабочим классом, получившими взамен захудалого, в либеральном смысле, но все-таки свободного государства полицейскую империю с концлагерями, судебным произволом, новым суперкрепостным строем и кабальным трудом...

Как вам нравится этот странный молодой человек, гражданин Гуров? Не нравится, но смешной?

Я приказал, отведав более сильный удар, продержат этого симпатичного молодого человека пару месяцев в психушке. Сейчас он, очевидно, в кафе «Лира» глобально мыслит за рюмочкой низкокачественной водки.

Я все это вам к чему, собственно, рассказывал? А!.. Теперь вы понимаете, что и к идее можно относиться как к бабе? Понимаете, что Сталин относился к идее с такой же ненавистью и омерзением, как вы к Коллективу-Клавочке? Он рад был бы поступить по-вашенски, да не мог. Не то

что реформация, а ревизионизм любого толка были для него смертельны. Ненавидя и содрогаясь от бессильного бешенства, он третировал, где только мог, и дискредитировал свою проклятую жену-идею, а мстил за все унижения, страх и пожизненное заточение ее старым и молодым пылким любовникам. Он мечтал погубить их к чертовой матери всех до одного. Но террор для этого был слаб, каким бы тотальным он ни казался. Можете считать мою идею безумной, но я лично убежден, что война представлялась Сталину идеальной союзницей в деле уничтожения ленинской гвардии, интеллектуальной большевистской элиты и, может быть, самой ИДЕИ...

Да! Он страстно мечтал поиграть в войну, и поэтому, только поэтому не внял здравым предупреждениям своих загипнотизированных советников, донесениям талантливых шпионов и представляемым в сводках тревожным картинам объективного положения дел... Война должна была стать достойным объектом приложения его сил... Пусть танки фюрера перепашут и переутюжат пол-России... Пусть гибнут миллионы. Их у него немало за Уралом... Пусть гестапо перешлепает уцелевших большевистских фанатиков и ревнивых жрецов Идеи, пусть! Когда немецкие танки и солдаты сделают свое очистительное дело, он скажет: Смерть фашистским оккупантам! И люди с его именем на устах бросятся в атаку, освободят занятые территории, а там что-нибудь придумаем. Начнем строить что-нибудь новое. И может быть, на его закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной... Ему необходима была война, чтобы встряхнуть приунывшую от внутренних потрясений страну, чтобы заставить людей забыть о миллионах их родственников, подыхающих на Севере, на Колыме, в Казахстане, в Сибири, в двух-трех километрах от дверей родных домов за колючей проволокой.

Он один понимал, что не продержится долго в живой почти на осадном положении стране. Суд за опоздания и прогулы. Запрет беспаспортным колхозникам бросать колхозы и искать работу в городах. Офицерство, не уверенное в безопасности, чекисты, ждущие своей очереди попасть в расход, народы Литвы, Латвии, Эстонии, прочие только и жаждущие освободиться от советского ига, республики, многочисленное ворье, шпана, богема, коррупция, рахитичная технология и многое другое — все это не давало ему покоя денно и ночно, он уже не знал, на кого положиться, и идея войны закономерно показалась ему спасительной. Во время войны он и сам станет иным, другим Сталиным. Он станет Сталиным — величайшим полководцем. Сталиным — освободителем Европы от фашизма, этого родного брата ненавистной Идеи, отвратительного шурина вождя. Он проживет как мужчина,

как орел, а не как хорек-политик с вымазанной кровью мордой...

К тому же пропагандисты устали, философы вот-вот рехнутся от осмысления его произведений, а советских людей уже не взволнуют и не отвлекут от разгула опричнины ни перелеты через полюс, ни зимовки на льдинах, ни блуждания летчиц по тайге, ни жуткий фарс процессов, ни шельмование в прессе бывших кумиров. Всё! Только — война! Она займет умы и руки, она сплотит разобщенных в распрях, она спишет все чудовищные грехи, она зажжет чувство родины в проклявших ее сердцах, сообщит единство усилиям, освятит ненавистью к врагу ошибки тупиц и ненужные жертвы. Война!

Конечно, гражданин Гуров, Сталин из-за отсутствия гениальности, а подчас и воображения, иначе представлял себе начало и течение войны. В октябре сорок первого он раз по десять на день, посасывая мундштук и степенно шагая, чтобы не выдавать мандраже, удалялся в сортир. Там он переживал острейший, истинно опасный момент своей жизни, не зная, чем кончится для него рискованнейшая игра, и испытывая обыкновенное человеческое волнение, дарующее не совсем приятное, но истинное ощущение личного существования. Он как бы перестал быть по законам военного времени пленником Идеи. Наоборот, он чувствовал, что никогда судьба ее так не зависела от *его* поведения и решений, как перед зимним сражением под Москвой...

Рябов! Это — ты?.. Войди!.. Ну вот! Пойманы Трофим и Трильби. Нас приглашают взглянуть на них, гражданин Гуров!

## 46

Мне понятно потрясение человека, которого не узнают его лучшие, любимейшие и нежные друзья. Но, поверьте, «мои ветеринары» не делали им никаких прививок. Тем более разрушающих привычные связи с хозяином и его уютным домом. Даю слово: я здесь ни при чем... Эту пытку, к сожалению, придумал для вас не я. Не я... Поймали их, обнаружив с помощью нашей агентуры, в Сухумском обезьяньем питомнике. И Трофим и Трильби ели из одной кормушки с гиббонами. Спали под обглоданным до основания деревом. Обезьяны приняли их доброжелательно. Изучали. Выискивали блох. Грубовато, но не жестоко шутили и играли. Служители думали, что ученые, совсем уже охренев, проводят новый эксперимент по изучению проблем сосуществования разных видов животных в рамках Советско-Эфиопского научного сотрудничества...

А вот почему отловленные животные не узнают вас и явно чураются, я не знаю. Своих любимых насиженных

мест, лежанок и вообще всего дома они не признают тоже. Здесь все им вдруг стало чужим. Их заперли... Идите, общайтесь, выясняйте отношения, а я подумаю. Тут есть о чем подумать...

Трофим поцарапал, а Трильби укусила? Поздравляю!.. Оставьте на время желание разобраться в происшедшем... Мне ясно, в чем дело. Бегут от вас кот и собачка. Почувствовали невинные существа злодейскую вашу душу, вашу черную беду и страшную пустоту жилища. Посмотрите на себя их глазами. Старая тварь, мечущаяся, как крыса в лабиринте, в поисках выхода. Животные не узнают ваших глаз, черт лица, фигуры, тона голоса, походки, стати. Вы им страшней чужого человека, потому что они не могут осмыслить совершившейся с вами перемены и того, чем она вызвана. Наверно, вы излучаете какие-то ужасно неприятные волны или, если вас это больше устраивает, запахи, наверно вибрируете вы незаметно для себя и меня, наверно Трофим и Трильби не могли перенести моих криков, непонятной трансформации вашей личности, всей теперешней атмосферы дома, наверно они восприняли каким-то образом ужасную информацию, начали сходиться с ума и в конце концов слиняли, болтались где-то и добрались до питомника, где обезьянье общество показало им почти человеческим.

Огромного самца они приняли, очевидно, за вас, потому что, ласково визжа и мурлыкая, прыгали на него, лизали лапы и отчаянно сопротивлялись, когда служители силой отдирали их от гиббона, пытавшегося сообразить, что происходит в вверенном ему вольере. Они и сейчас скулят, отказываются от жратвы и тоскуют по первобытному коммунизму обезьяньего стада. Они хотят спастись, как я понимаю, сами не зная от чего. Вполне возможно, они перестали принимать вас почему-то за представителя рода человеческого...

Вы не помните, испытывали вы что-нибудь подобное перед тем, как написали письмо с отречением от отца, позвонили нам, а потом отреклись в актовом зале своего института?

Может быть, вы ничего не прикидывали, не рассчитывали, не соображали, не химичили, а просто спасались, как обезумевшее, предчувствующее беду животное?

Вы говорите: «возможно все было именно так». Только я не верю, что так оно было. Вы находитесь не в системе самообличения, как это бывает с потрясенными злодеями, даже наговаривающими иногда на себя лишнее для более острого прочувствования вины, а в системе самооправдания вы находитесь, гражданин Гуров. Оживлю я вас хоть на миг, или не удастся мне это сделать, спящая вы моя уродина!..

Мы, как всегда, отвлеклись, но, пользуясь любимыми штампами нашей партии, поступательного движения не утратили и не потеряли из виду столбовой дороги... Мы ведь с вами в одной партии... Вы это очень лирично заметили.

Я знаю, что день, когда вы, не без помощи Коллективы, получили партбилет, был чудеснейшим днем вашей жизни. Партбилет вы справедливо и точно считали пропуском к кормушкам, в которых лежали все вот эти штучки, вилла, картины, камешки, многолетняя жизнь по колено в коньяке и по яйца в блядстве. Тема эта примитивна и неинтересна.

Просто в тот день вы сказали, не вслух, конечно, и неизвестно к кому обращаясь, так: а теперь, сволочи, вы посмотрите, на что я способен! Вы обосрали идеалы, всосанные нами с молоком от бешеной коровки, вы заставили меня убить отца и мать, вы никакие не коммунисты, вы — мародеры, блядуны, пьяницы, садисты, ничтожества, доносчики, предатели и трусы! Я знаю вас! И раз так, то я возьму свое! Я буду брать только свое, потому что я был никем, а теперь стал всем, и я употреблю свою волчью хватку. Она у меня есть, товарищи! Я употреблю ее до конца, пока в последний раз не клацну клыками на лакомом кусочке. Вы хотели отнять у меня всё? Держитесь! У вас на глазах, плюя в них, с партбилетом коммуниста в кармане, я стану капиталистом! Я отомщу вам!.. Я буду мстить вам ежеминутно, ибо постараюсь употребить каждую минутку с пользой и весельем для себя! Для себя! Для себя!.. А ты, сука, ты, мразь, спасительница и насильница моя, ты получишь в первую очередь, в первую! И последние твои минуты будут страшны, падаль усатая, на ляжках пупырышки, ложись уж, ложись, пьянь, раздвигай ножищи мерзкие, не лезь ко мне с поцелуями, получи напоследок удовольствие, больше не будет у тебя его никогда, никогда, никогда, никогда не будет, кончи, проститутка, последний раз, кончи, гадина, ненавижу, ненавижу, не-на-ви-жу те-бя, сексотская ха-ря!..

Я не фантазирую, гражданин Гуров. Вот — подборка дат, чтобы долго не мямлить. Сегодня, скажем, вы получили партбилет. Вечеринка, обмыв. Ваши вышеизложенные мысли. Безусловно, половой акт с устроительницей вступления в партию. От акта вы отказаться не могли. Всегдашнее омерзение, замешанное на мстительной, потрясающей радости, что это есть ваш последний и решительный половой акт, что завтра он уже не повторится, что завтра никто не даст царапающей, хрипящей под вами твари избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой, и что добьетесь вы освобожденья своею собственной рукой!.. Назавтра — вот точная дата, Коллектива Львовна Скотникова, согласно компетентному медицинскому заключению,

подписанному главврачом спецполиклиники УВД Вигельским, скончалась от кровоизлияния в мозг. С ситуацией у вас была везуха. Электра гостила у деда по отцовской линии. Правильно?.. Правильно.

Не могло психологически не быть всего, что я наимпровизировал. Не могло! Пусть не в этих выражениях, пусть! За ваше настроение, мысли, готовность, понимание вами, что сегодня рано, а послезавтра поздно, я ручаюсь. Вот как бессмысленно якобы уставились вы на эскиз Матисса. Вспоминаете? Поражаетесь тонкости моей скрупулезной реставрационной работы?.. Что? Я — говно, а не криминалист?.. Чуете, что я благодушен и не врежу вам за хамство по шее... Нет, я не говно. Ваше дело — единственное в моей практике уголовное дело. До выдающихся дедукций я не допер, гениальных головоломок не разгадывал, но работу провел немалую, и я доволен собой. Доволен... Не колитесь, негодяй, не колитесь. Придет время — до жопы расколется, а дальше сами рассыпетесь...

Я что, собственно, хотел сказать?.. С чего я начал?.. Ага! Я хотел сказать, что не только Сталин ненавидел Идею, выбившую его из колеи жизни, не только я, вообще не имевший к вашей бесовщине ни малейшего отношения, но и вы ее ненавидели! Вы! Ненавидели всем существом, ненавидели втройне, ибо свою страшную вину списали на нее. Мало того — списали! Вы нагрузили Идею ответственностью за будущие грехи и преступления против совести. Вас и тысячи подобных вам типов как бы оправдывал и поощрял к распаду безграничный разврат и ленинский, классовый аморализм — качества, внутренне присущие «всесильной» Идее. Однако рядилась она, как Антихрист, в одежды Христа, в лозунги, обольстившие толпу очевидностью нравственных и социальных устремлений. И вы были плоть от плоти ее и кровь от крови.

На словах, на съездах, конференциях, собраниях, в газетенках, по радио, используя богатство растерявшегося от шока русского языка, вы боролись за освобождение от эксплуататоров, буржуазной морали, стереотипов старой культуры и человеческих отношений, боролись за строительство нового мира. На деле же, сами рабы сатанинской силы, вы создали новые, более совершенные формы социального рабства, истинная суть которых размывалась изощренной демагогией. Создали новую мораль, открыто освящавшую произвол и ненависть к тем, кого Сталин и партия приказывали считать врагами.

## 48

Но вернемся к вам, гражданин Гуров. Вы не обидели меня, капризно и инфантильно заявив, что надоело вам

слушать, как я пою с чужих голосов, и что в башке моей из голосов этих каша... Пусть воскресают. Голосов я много слышал. Я и сейчас их слышу... Слышу!..

Итак: обидевшись на Идею, возненавидев ее, как Коллективу, а может быть, еще больше, потому что убрать ее не могли, вы четко сформулировали для себя задачи и цели. Уничтожить Идею, изнасиловавшую и вашу Судьбу, вы не могли... Сталин не мог, так куда уж вам!.. И вы стали Идею подсирать и крупно, и мелко. Убив яркую ее представительницу, вы хохотали и радовались чисто и весело, как мальчик. Вы освободились! Вы чмокнули в живую, румяную, горячую, свежую щечку Свободу и вскоре женились на Электре...

Махинируя на мясокомбинатах, заложив основы богатейшей коллекции, ворочая делами в главке, купив белый билет, сделав все, чтобы умерла мать — свидетельница вашей подлянки, — развращая вокруг себя, хитро, конечно, очень хитро, всё и вся, вы тоже мелко и радостно потирали ручки, блевали с наслаждением в чистые, но пустые глазки идеалов и идеальчиков, повесили, осмелившись, в сортире портреты Ленина, Маркса и Сталина так, чтобы, когда вы растегиваете мотню, они были перед вами. Даже мелкую пакость вы считали актом возмездия. Пакостей было так много, от злонамеренного поощрения бюрократической волокиты до стукачества и ловкой травли «идейных», что слившиеся друг с другом пакости стали со временем вашим СОСТОЯНИЕМ, состоянием человека, довольного собой, положением, возможностями, мщением, связанным зачастую с риском, с опасностью, с чувством удачной охоты, знакомым охотникам, зверям, игрокам и вору, но не дающим, я это по себе знаю, долгого, полного, а главное, благородного удовлетворения. Тут у нас с вами — беда. Беда. Хотя долго уже мы на пару пыряем Идею ножами под бока. Я — пыряю по-своему.

Вы — тысячи, сотни тысяч вам подобных хмырей, циников, ханжей, лжецов, ублюдков, дебилов, шутов, хапуг, блатюков, паразитов и прочих жуликов, дискредитируете идею, сознательно и бессознательно ненавидя ее, мстя ей за узурпацию свобод, за подавление инициатив и возможностей.

Мне приходилось заниматься делами крупных советских и партийных работников, жен руководителей, погрязших в бриллиантовых интересах, сынков — убийц и насильников, директоров заводов и совхозов. И никто из них, вот что странно, при наших откровенных разговорах о коррупции, оголтелом хапужничестве, чудовищных злоупотреблениях властью и служебным положением, ни разу не заикнулся о СИСТЕМЕ, вне которой, без гарантированной безнаказанности, они, возможно, были бы более ответственны, совестливы, не так порочны и лживы.

А ведь всё знают, всё чувствуют, всё понимают не хуже нас с вами, и уроки могли бы преподавать большинству инакомыслящих по части экономической, насчет морали, образа жизни, настроений, равенства и братства. Но молчат они, не заикаются, цинично носят в душе знание. За бессовестность и ложь им выдана уверенность в счастливом сегодняшнем и беззаботном завтрашнем дне. И они не променяют ее на освобождение от лжи, ведущей рабов к потопу, потому что на их взгляд потоп должен быть *всегда* после них.

Потому что безнаказанно разлагаться, хапать, властвовать, покупать любые продукты и товары мира по символически-низким ценам, иметь оплачиваемых народом шоферов, слуг, горничных, врачей, поваров, пилотов, солдат, охранников, блядей, придворных поэтов, сочинителей речей, строителей дач и яхт они могут только при этой системе.

Никакой совести, которую понимал... не помню кто... не помню... как сопротивление Души любым попыткам Дьявола оборвать ее связи с реальностью и Бытием, я в них не замечаю. Совестьливых они называют инакомыслящими и говорят: где была совесть, там хуй вырос...

Вы вот все время переспрашиваете: как это так — одна реальность настоящая, а другая советская? Я же вбиваю вам в башку, вбиваю, что, отчаявшись в попытках тем или иным образом убить совесть, связывающую Душу с сотворенной Богом реальностью, с Бытием, завидующий Богу Сатана совсем очумел и решил создать новую реальность, советскую действительность, и уж тогда сами собой появятся мертвые, бессовестные души, вроде вас, гражданин Гуров. И всех вас свяжет универсальными связями бездушная система... Называйте ее идеей. Мне плевать...

Кроме всего прочего, вы мне надоели со своими бездарными вопросами насчет Дьявола... Почему я называю его то Асмодеем, то Чертилой, то Сатаной? Это его клички. Я заметил, что урки, подпольщики и Черт любят всякие псевдонимы и клички. Это — неспроста! И, по-моему, это от тщетных попыток заполнить новым именем пустоту, образовавшуюся на месте личности, помершей при растворении в партии или в кодле... Вы вот тоже сменили пару фамилий. Понятьев, он же Скотников, он же Гуров. Так и по делу вы у меня идете.

Повторите! Не понял!.. В какой партии состоит сам Асмондей?.. Вы у меня случайно не стебанулись от наших разговоров?.. Это — хорошо... Вы, как руководитель, привыкли вникать в самую суть всех производственных проблем, к которым почему-то отнесли и проблему Дьявола... Ни в какой партии, я думаю, он, скотина, не состоит. Поскольку помнить было бы надо, его задача — погубить всех, то он и

старается, оперируя множествами, образовывать партии... А если сам в партию вступит, вы это очень здорово заметили, то и перестанет в тот же миг быть Сатаной, связав себе руки партийной дисциплиной, подчинением какому-нибудь мудаку, требованиями устава и тоскливой ложью демократического централизма.

А Творец хочет спасти каждого. У него задача просветить и до того наполнить светом человека, чтобы не захотелось ему вступать в чертову партию, где он растворится до абсолютной безликости. Где он похоронит в себе единственную, неповторимую, свободную, благодарную самой малой и в то же время самой великой благодарностью Творцу и его Жизни за счастье существования, Личность...

Похоронит личность, повторили вы за мной, и теперь интересуетесь иронически: желает ли Бог спасти вас лично? Желает! Желает! До последнего вашего негодяйского вздоха и стука сердца не перестанет желать, да и потом, по мнению священника Павловского, пребывает в огорчении, но не оставляет падшую душу до конца времен. Оставить — значило бы дать Дьяволу лишнюю, бесполезную, как и все остальные, даже самые страшные попытки, попытку доказать возможность всеобщей, вселенской смерти Бытия. В этом и называется, кроме всего прочего, понимаемое нами совершенно по-человечески, благородство Господа Бога... Не хочет он, чтобы мучился Сатана.

Да. Вот в эту минуту, гражданин Гуров, сейчас... двенадцать часов семнадцать минут по московскому времени, Бог желает вас спасти... Не я, не я, не беспокойтесь. Я не желаю. Он вас желает спасти... Убивали вы лично, своей рукой Коллективу Львовну Скотникову?.. Ну! Колитесь!..

Вот — сука! Вот — мерзавец и лгун!.. Колитесь, не то лопнет мое терпение! Я ведь не Господь Бог, в конце концов!.. Убивали? Нет... Алмаз! Вы у меня — алмаз! Черт с вами. Сволочь... Я пойду погуляю по саду. Не могу сейчас видеть вашу морду и от голоса хочу освободиться... Трильби, Трильби! Трофим! Кис-кис! Пошли гулять!..

Да! Не разевайте хлебало! Звери ваши неплохо относятся ко мне с некоторых пор... И не зовите, не нойте, не пойдут... Выпивку я запретил Рябову выдавать вам. Нельзя облегчать отчаяние алкоголем. Страдания должны быть чисты... Цыц!

## 48

Ну, что вы ревете, как крокодил, прямо на хрустальном блюде? Ну, что вы расплакались?

Кончайте реветь! Учтите, от слез хрусталь желтеет и трескается.

Вы вот что скажите мне: черная и розовая жемчужины достались по наследству Электре?.. Так. А у меня есть точные сведения о том, что вы преподнесли ей жемчужины в день свадьбы.

Почему, гражданин Гуров, вы мне лжете? У вас ведь не хватит духа замолчать и гордо не отвечать на мои вопросы. Не тот вы человек. Вы вынуждены отвечать еще и потому, что молчание вас ужасает. Так чего же нам играть в кошки-мышки-пешки по пустыкам? Что вы наплели Электре насчет жемчужин?.. А только из-за них, они ведь бесценны, могли бы вы замочить человека?.. Опять старые байки о том, что убийств нет на вашей совести... А жемчужины вы просите не увязывать с объективно огорчившей вас смертью. Мать все-таки, хоть и приемная...

Если не хотите очной ставки с прибывающей Электрой Ивановной, колитесь. Я жду!.. Давно бы так! Скотина!.. Наплели, значит, что они — единственная фамильная ценность, которую вы спасли от конфискации... Дедушка, значит, подарил их бабушке в день отмены Александром II крепостного права. А что он ей сказал в интимный момент, не помните?.. Я не шучу. Вот в этой папочке рядом с карандашиком, чистейшими исповедями, со свидетельствами высочайшего духа и прекрасного ума, рядом с вашим отречением, делом, документами и доносами лежит донос одного внука на дедушку и бабушку.

Внук родился в нормальной семье. Отец, мать, дед и бабка — потомственные врачи. Хорошие врачи. Лечили, избавляли, вправляли, облегчали, принимали роды, закрывали веки... Мать умерла от чахотки, но, я думаю, от тоски и горя, поразивших ее в семнадцатом и терзавших до двадцатого... В тридцать пятом посадили отца. Вернее, не посадили, а однажды не выпустили. Он был тюремным врачом. Хорошим, повторяю, врачом. Зашел в кабинет начальника крупнейшей нашей тюрьмы, плюнул ему в рожу, потом врзал по уху, потом впал в истерику и искалечил в знак протеста против избияния и пыток заключенных... Остались в большой квартире на Арбате внук, дед и бабка. И внук, сделав дырку в стене, регулярно подслушивал, что говорит дедушка в интимные моменты бабушке. Интимный момент — это выражение внука, часто встречающееся в доносе.

Так вот. Дедушка негромко, что подзадоривало и распляло внука, объяснял бабушке в меру своих сил, знаний и чистоты души, смысл происходящего вокруг бесовского шабаша, воспринятого стариками почти как конец света. Мыслями его я пользуюсь иногда в беседах с вами... Дьявольщину дедушка называл дьявольщиной, Сталина говном, ублюдком и ничтожеством, соратников его глистами, лобковыми

вшами, аппендиксами, набитыми канцелярскими кнопками, убийцами, жульем и хамлом. Дедушка был консерватором и человеком верующим. Определять величие времени по числу принесенных на алтарь идеи невинных жертв он не умел. Мириться с очевидной мерзостью и распадом, прикинувшемуся энтузиазмом, не мог.

Внуку было семнадцать лет. Он аккуратно записывал в тетрадку частые выступления дедушки и, неизменно их нумеруя, начинал так: «В интимный момент № 17 я услышал следующие высказывания дедушки относительно процессов над врагами народа...». «Во время двадцать девятого интимного момента бабушка согласилась с тем, что советско-германский пакт — это начало новой ужасной войны. Дедушка предложил начать запасать спички, соль, топленое масло, крупу, чай, сахар и спирт». «Интимный момент № 39. Разбор произведений советских писателей. Ругали Алексея Толстого графом, проституткой и жополизом. Разошлись во мнениях насчет талантливости. Бабушка согласилась, что поэзия и проза задохнулись от восхвалений товарища Сталина. Дедушка прочитал вслух про муху-цокотуху и «Федорино горе», но к чему это я не понял».

Штук двести таких интимных моментов насчитал я в общей тетрадочке. Года полтора следил внук за дедушкой и бабушкой, подслушивал, записывал, нумеровал. Тетрадочка эта умрет вместе со мной когда-нибудь. Я унесу ее в могилу. Человечеству есть чего стыдиться, но не могу я оскорбить человеческой природы и души, дав людям взглянуть на страницы в линейчку. Это было бы жестоко. То, что я прочитал вам — невинные по стилю и содержанию странички. Для характеристики остальных — слов нет. Чувство, которое охватывает душу при их чтении — невыразимо. Ведь природа его непонятна. Но оно хуже смерти, унижения, гадливости, боли, стыда, безысходности, оно хуже небытия.

Прочитав первый раз по указанию наркома тетрадочку, я глупо рассмеялся, не поверил глазам своим и прочитал еще раз. Повидал я уже немало черт знает чего к тому времени. Смерти, пытки, казни, кровь, слезы, чудовищные доносы на близких — всё видел. Но, читая второй раз, я чувствовал, что белею, что опускаются у меня руки, что подгибаются ноги, что не видят глаза, что независимо от моей воли подкатывает к сердцу такой страшный страх, какого не бывает в патологически омерзительных сновидениях, и изо рта, стеная, вылетает дух последней жизни... И если все-таки судьба моих родителей, моя судьба, миллионы ужасных судеб имели отношение к Жизни и Смерти, то тетрадочка та не имела ни к Жизни, ни к Смерти никакого отношения... Человек не мог ее написать! Она была, как

казалось мне, безобразней всего, что я знал, читал, видел и пережил. И, дочитав тетрадочку до конца, дочитав только потому, что бессознательно надеялся дойти хоть до мельчайшего подобия человеческого на ее последней странице, в последней строке, в точке, вместо которой оказалось три восклицательных знака, я сполз со стула и полчаса провалялся на полу, не бляю, наверное, только от слабости.

Я не мог не дать ход делу дедушки и бабушки. Но я сделал все, чтобы они не узнали о тетрадке внука. И они не узнали. Рискнув, я посоветовал им подписать пятьдесят восьмую, пункт десять, агитация и пропаганда, сочинил какой-то бред, приложил пару анекдотов про Буденного, старики с благодарностью расписались, получили всего по пять лет, и попали в тихое хозяйство под Омском. Во время войны их освободили...

Внука я вызвал к себе. Ничего особенного во внешности. Отправляю на экспертизу к психам. Абсолютно нормален... беру его заявление.

— Как же, говорю, принять вас на работу в органы, если вы предаете дедушку и бабушку?

— Я не предаю, а выдаю. Предают друзей. Они же — недобитые враги. Я не мог остаться в стороне.

— В интимный момент номер один?

— Да! Именно в эти моменты люди предельно открываются друг другу. Я был бы неплохим специалистом по добыванию материалов в интимные моменты жизни врага.

— Поясните, что такое интимный момент?

— Это — момент, когда два близких человека откровенно выдают друг другу мысли об отношении к нашему времени, к Сталину, к фашизму, к строительству новой жизни, — голосом отличника ответил внук. — Кроме того, я не признаю кровного родства.

— А вы знаете, — говорю, — что в один из интимных моментов, не пронумерованных вами, дедушка и бабушка зачали вашего отца?

— Да. Конечно. Знаю.

— В органы вас не возьмем. Вы потенциальный предатель. Или вы любите нас больше дедушки и бабушки?

— Клянусь! Я мечтаю о работе в органах с четвертого класса!

— Не верю! Сейчас полно сволочей и врагов, мечтающих пробраться в наши ряды! Вы арестованы!

Я передал внука своему коллеге, и он признался-таки ему, что пытался пробраться в органы для работы в дальнейшем на франкистскую разведку. Десять лет. В лагере он и подох, быстро опустившись до последнего предела.

Странно! Смотря на него и разговаривая, я почему-то не испытывал ни ужаса, ни омерзения. Меня не тошнило. А зря.

Я бы блеванул прямо в его обыкновенные, невыразительные глаза... Вот она, эта общая тетрабочка...

Мне сегодня больше черной и розовой нравится жемчужина белая. Вот — мягкость и чистота! Вы вручили ее Вигельскому, получив заключение о смерти Коллективы?.. Да или нет?.. Нет. Так вот. Супруга Вигельского, бойкая и хищная еще старушонка, всегда подозревала вас, как убийцу... Жемчужина, сказала она, исчезла из дома в день гибели Вигельского в проруби. Покойный с драгоценностью не расставался даже на рыбалке и в постели. Вот она — прелесть! Как она к вам попала обратно?.. Зачитать показания Вигельской? Ах, вы все-таки передали белую доктору? Это был не гононар за мошенничество и пособничество в убийстве, а обмен. Сначала вы обменяли жемчужину на изумруд. Потом Вигельский передумал, жемчужина снова оказалась у вас, а доктор вдруг утонул. Логично. Убедительно. Но до поры, до времени. Я вас все-таки раскалываю потихонечку... Зачем мне это нужно, не скажу.

Почему вы не захотели, чтобы я читал показания Вигельской?.. Вдруг я беру вас на понтяру? Проверили бы хоть. Вы ведь не первый раз так попадаетесь... Апатия, говорите?.. А как девчонки? Как Глуни мои? Только не притворяйтесь джентльменом. Не любит он, видите ли, распространяться о мужских делах! Да вы такое трепло по этой части, что уши вянут, когда записи слушаешь. Ну, так как мои Джеймс Бондихи?.. И вам, действительно, нужно одну любить, а другую ненавидеть? И это называется «бутербродик» или «комплекс Сциллы и Харибды»? Ну и козел! Откуда это у вас такая тяга к любви и ненависти? Может быть, остаточный неврозик, прижитый с Коллективой или с Идеей?.. Да! Нелегка ваша половая жизнь! Электре Ивановне известны эти штучки?.. Она святая женщина. Восторженная фригидность. Интересы лежат главным образом в доме и семье. Она вам дорога. Друг. Никогда не продаст... Дочь тоже вас не продаст. Значит, дорога вам Электра Ивановна?.. Хорошее чувство. А вы ей дороги?.. Она всего этого не переживет. Так. Убивали Коллективу?.. Твердое «Нет!»... То есть, как это вы можете сознаться только ради моего удовольствия?.. Спасибо. Туфта мне не нужна. Тогда «Нет!». Хрен с вами. Глуням можно улетать? У них в «Интуристе» сочинском дел по горло... Хорошо. Если до седьмого ноября не разберетесь в ненависти и любви, Глуни улетят. Улетят!.. Что? Что? Рассказать еще что-нибудь о Сталине. Понравилось?.. Успеете. Пора вам и мне папашку вспомнить.

Сию я однажды в комнатушке, наблюдаю за происхо-

дящим в сталинском кабинете. Держу на мушке прицела скорострельного «Смит-Вессона» каждого приближающегося к Сталину. Улыбаюсь намекам вождя типа «Собаке — собачья смерть», «Собака лает, а ветер носит»... Входит вдруг к нему невзрачный, серый, как крыса, востромордик в очках. Уставились на Сталина белые глазки. Костюм висит мешковато. Выражение всей фигуры — бздиловато-подобострастное с готовностью устроить по приказу вождя показательное изнасилование собственной матери на стадионе «Динамо». Сталин его распекал, распекал, трубку даже выбил о сероседой череп, а пепла с ушей не сдул, кулаком стучал, списки какие-то показывал, потом тихо сказал:

— Я уверен, товарищ Вышинский, что когда ленивому кобелю делать нечего, то он свои яйца лижет. Идите!

Конец тебе, крыса, подумал я тогда, покраснев, впрочем, от поговорки... Сталин нажал кнопку и радушно встретил, выйдя из-за стола очередного посетителя, вашего папеньку... Не буду описывать своего состояния, близкого к шоку. Взяв себя в руки, я прикинул, что если в какой-то «интимный момент» я врежу Понятьеву между рог пулю-другую, то пулек и на Сталина хватит, и на себя останется.

Старые друзья распивали «Хванчкару», закусывали травками и сулгуни, а я представлял, как плюхается после первого выстрела папенька ваш лбом в тарелку лобию, не успев выплюнуть изо рта пучок зелени... Сталин не понимает, в чем дело, начинает, наложив в штаны, метаться по кабинету, я, травя его и не подпуская к двери, кокаю то фужер, то статуэтку Маркса, то лампочку, он падает на колени, ползет к амбразуре, молит о спасении, снова забивается под стол, но я выгоняю его выстрелом в пятку, наконец, ору через дыру: это тебе за коллективизацию, сука!! За все!!.. Первую пулю всаживаю в пах, вторую, после того, как он похрипит и помучается, прокляв в последний раз Идею, — в живот, третью — в ухо...

Потом, думаю, упаду на колени и скажу отцу Ивану Абрамычу, что вот, отец, месть моя. Прими сына, попроси Господа Бога самолично, чтобы простил он меня, учтя смягчающие обстоятельства, чтобы принял хоть куда и дозволил нам свидеться. Я иду!.. Кончаю с собой и представляю, как прибегают Молотов, Каганович, Буденный с саблей, Ежов с наганом, хохочут радостно, Сталина пинают, как дохлую кошку, друг с другом цапаются, и думаю: нет, без Сталина вообще черт знает что будет!

Всеобщее тогда бытовало в башках заблуждение насчет трагической незаменимости Сталина. Представлял я расправу, но однако ухо остро держал: ждал собачьей какой-нибудь фразы Сталина. Но вот уже, потрепавшись, Понятьев уходит, а речи

ни о каких собаках так и не было. Наоборот, возвратившись, Понятьев пригласил Сталина на охоту, пообещав показать в деле одну из последних в России свор породистых борзых. Сталин замахал руками. Что ты, что ты! Он занят. Собак терпеть не может. Вот придет час, и он отдаст всего себя великолепной охоте, с соколами, с капканами, с красными флажками! И Понятьева пригласит, а из собак с некоторых пор он любит одну металлическую, на радиаторе «Линкольна»...

Плохо было мое дело, гражданин Гуров. Сталин, чтобы не вышло ошибки, вызвал меня и растолковал все насчет Понятьева. Свой, мол, в доску. Волкодав. Ужасный убийца, но предан до слепой кишки лично ему, Сталину. Смотри, Рука, слушай и запоминай. Скоро мы отлично поохотимся...

Плохо было мое дело! Крепко держался на ногах Понятьев. Крепко. Не раз жалел я, что не угрохал тогда обоих... Вы правильно заметили. Мог я в один миг стать исторической личностью. Но не стал. Мне, в отличие от вас, плевать на популярность в веках. Я был абсолютно уверен, что Сталин полетит ко всем чертям в преисподнюю, как только перебьет самых ярых, самых фанатичных, самых дьявольских служак Идеи. Останется в пустоте и полетит в тартарары, а пустоту заполнит постепенно жизнь... Новые всходы... Корчевка пней... Возрождение... Дураком я был, а Сталин — зверем с мощным нюхом и слухом... Его вы тоже любили и ненавидели?.. И да, и нет...

Пашка, вот тоже, Вчерашкин, он секретарем обкома тогда был, вбегает ко мне в кабинет тридцатого июля сорок первого года, ни слова не говоря хватает за грудки и головой — об стену меня, об стену, об стену.

— Сука! — орет. — Тварь! Зачем ты его спас, зачем, зачем? — Истерика с Пашкой. Я говорю:

— Ошалел! Пошли отсюда! Ошалел, мудака!

Идем по Красной площади. Прислонились к белому камню лобного места, на храм чудесный смотрим, слезы текут от бешенства и боли по пашкиным щекам, руки трясутся, зубы стучат и глухо Пашка говорит:

— Сука! Сука!.. Что он наделал, Вася! Зачем ты его спас?.. Зачем ты меня спас?.. Мы вот стоим, а там тысячи разом сейчас подыхают, рвут их на куски бомбы и мины, прошивают пули, корежат осколки! Что он наделал, Вася! И эта блядь говорит потом: братья и сестры!.. Блядь! Грязная блядь! Кто послал его на наши головы, кто?.. На фронт уйду! Не могу! Подохну! Двину дивизию на Москву, Сталину из жопы ноги выдеру и всем народом гитлерюгу сокрушу!.. Солдатики, Вася, армиями в плен берут! А другие орут в атаке: За родину, за Сталина...

умирают за него! За грязную, повинную в бойне блядь. Вася, все с ума сошли!.. Пойдем напьемся... не могу!.. Вон — вечно живой труп перевозят в тихое место. Большой ценности у них нету!.. Напьемся, Вася, и — на фронт!.. Перевозят ленинское трухлявое чучело, а там миллиарды оставлены, труд наш, урожай, скот... Детишки там, Вася, бабы... Боже ты мой! — Я сам чуть не вою, но, чтобы успокоить дружка, говорю:

— Пошли, Пашка! Выставлю я тебя сейчас в музей, как плачущего большевика.

— Я не большевик! Я ебал большевизм! Я — русский! — орет Пашка. — Барин я!.. Барин! Секретарь обкома! Помещик. Государственный капиталист! Хозяин! Губернатор! Ебал я социализм в светлое будущее всего человечества! Мне людей и богатство народное жалко!.. Ебал я вашу идею!.. Дивизию хочу!

— Все мы, — замечаю, — идею эту ебем. Только вот она с нас не слазит.

Вижу: человек с ума сходит, белки глаз пожелтели, беру и тащу его силком с площади, двух лягавых шуганул своей красной книжечкой.

Так что не раз приходилось мне кой о чем глубоко сожалеть, гражданин Гуров. Не раз...

Вы чего опять плачете? Может, сожалеете, что не воевали? Нет?.. Не простите никогда коту и собаке только потому, что они не люди, гнусного предательства? Вы считаете, что у людей может быть оправдание подлости, ибо люди грязнее, и подлости их, соответственно, прощительней. Животных же прощать не надо, так как простить невозможно: они чисты... Идея не из самых нормальных... Хватит рыдать!.. Я кому сказал: хватит рыдать!..

Вы лучше представьте своего папеньку в «интимный момент» чтения им отречения и стенограмм ваших показаний о содержании разговоров с друзьями и коллегами. Вы ведь там и лишенького на всякий случай наплели...

Представьте папеньку и меня, следящего за выражением и цветом его лица, за расширяющимися постепенно глазами, за тем, как лицо, проклятое лицо моего врага становится таким растерянным, смятым и жалким, что мне не было надобности загребать его вот в эту руку... А вы ведь — не кот, не пес, вы — сын... Сын... Сын... Удар этот доставил мне тогда большое удовольствие... Я уж хотел поизмываться поизощренней над основами советской педагогики и так далее, поиграть с раненым зверем, подразнить его, но зверь неожиданно взял себя в руки, плюнул в ваш адрес и сказал, бросив на стол грязные бумажки:

— Я всегда знал, что он — говно и слизь. Мать жалко.

Вы заверите мою подпись под официальным проклятьем?  
— Не могу, — говорю, — Василий у нас сейчас — герой. «Комсомолка» завтра с его портретом выйдет. Хотят, чтобы он книгу написал для детей о том, как следил за врагом — отцом с семилетнего возраста. Целых десять лет! — в точку я попал.

Снова позеленело и омертвело лицо вашего отца, гражданин Понятев, от ненависти и злобы к вам. Он не простил вас, поскольку вы — человек, а не пес и не собака. Или же, следуя вашей логике (не фамильная ли она?), счел вашу подлянку — подлянкой настолько животной и «чистой», что ей не могло быть прощения... А «Комсомолку» я ему приволок в одиночку. Ваш портрет — на полстраницы, статья и комментарии одного крупного спеца по воспитанию молодежи... В нашей типографии даже «Искру» с разной херней, нужной следствию, печатали, а «Комсомолку», «Правду», «Пионерку» шлепали ежедневно.

Тогда я понаблюдал за одним из самых поразительных и уродливых феноменов советской действительности: за безграничным доверием к прессе и, следовательно, за полной беззащитностью перед тотальной ложью.

Я сейчас почему-то вспомнил, перед собой прямо вижу его, лицо внука, того самого ублюдка. И только сейчас начинаю понимать чувство, охватившее меня при чтении общей тетрадки, которое было страшней, как казалось мне, смерти и небытия, но природы его невыносимого воздействия на все мое существо тогда я определить не мог... На неприметном лице человеческого внука, в невыразительных глазах, в мертвенном спокойствии голоса и манер, в органической отрешенности от боли, такта, стыда, родственности, сопереживания, от всего, одним словом, живого, стояла синюшная круглая печать конечного, последнего ИЗВРАЩЕНИЯ.

И я недаром сполз тогда со стула на пол с головокружением, слабостью и тошнотой, то есть со всеми симптомами расстройства вестибулярного аппарата, и на какой-то миг, по-моему, потерял сознание. И если я не ошибаюсь, если мне и впрямь открывается сущность слова «извращение», то я правильно понимаю причину своего тогдашнего состояния и неомраченного сомнениями поведения внука.

Он выпал ИЗ ВРАЩЕНИЯ круга жизни! Я же, каким бы зверем и палачом я ни был, вращался в нем, да еще, читая тетрадку, пытался во вращении найти сходство с самим собою *тела*, неподвижно застывшего в пространстве, в стороне от вращения круга жизни. К тому же я мучительно пытался идентифицировать со своими, не отрываясь от чтения и находясь в круге жизни, принципы биологического существования *тела*, принесшего в НКВД общую тетрадку, и его

психологические установки. У меня и закружилась башка и стало возмущаться от непонимания все существо. И совершенно закономерно то, что я не сумел идентифицировать принадлежность внука — автора к человеческому по своим чувствам унижения, гадливости, безысходности, смерти и небытия. В нем самом человеческим и не пахло! Человеческое не то чтобы было во внуке извращено (мало ли что бывает), человеческого в нем просто не существовало... Болталось неорганическое *тело* в стороне от круга жизни, выпав из вращения, и попытки высмотреть его природу вызывали тошноту и страх, невыразимый страх, и не было слов, потому что даже слова «СМЕРТЬ» и «НЕБЫТИЕ» — слова человеческие и не последние в круге жизни. Вот, наверно, страх души, конечный и последний, выпасть из ВРАЩЕНИЯ и впасть в явно неорганическое состояние, чуть не довел меня тогда до кондрашки.

Ну, конечно, теперь вы будете говорить, что сам человек не в силах выкинуть себя из круга жизни, что энергии ему на это дело не хватит, и что за волосы не вытащишь себя из болота. Толчок внешний нужен, приложение чьей-то ВОЛИ для преодоления центростремительной силы. Заработал ваш инженерный ум, захимичило сердце администратора! Так чья же, по-вашему, Воля дала поджопника внуку, и выпал он из вращения?.. Сатана вполне вас устраивает, как рабочая гипотеза. И вызови я его сейчас сюда, как свидетеля, повесткой по делу гражданина Гурова, вы наброситесь на свидетеля, гражданина Асмодеева Черта Сатаниныча, с кулаками и станете вопить, что это он один во всем виноват? Он вас подготовил, науськал, подбил, насулил, споил, сбил, совратил?

Правильно я вас понял, гражданин Гуров?.. Несколько упрощенно, но правильно. Какое спокойствие разливается в вас. А недавно рыдал, как крокодил, на хрустальном подносе. Вы только посмотрите, какое спокойствие, какая благодать разливаются в этом человеке! Рябов!.. Давай сюда врачуху, шоферню, поваров, шестерок, охрану, блядей глухонемых тащи сюда! Я покажу вам нечто замечательное, случающееся часто, наблюдаемое на каждом шагу, невероятное зрелище воинствующего безбожника, поверившего в Сатану из-за желания отвертеться от личной ответственности и снять с себя вину! Поверил! Поверил!.. Поверил в чужую волю, в надличную силу, в насилие над собой!

Стоп, Рябов!.. Отставить!.. Подсудимый улыбается! Он пересел со своей черной скамьи на свидетельскую серую с жидкой продрисью. Скоро он выйдет на свободу, поканает в пивную, порезвится с подружками, пересчитает притыренные камешки, поруководит мясной промышленностью и вернется сюда на следующее заседание чисто выбритым боровком,

в джинсовом фирменном костюме, элегантно подчеркивающим благодушное отношение благородной седины к прошедшей порочной молодости.

Так я вас понял?.. Не совсем, но что-то в моем понимании есть?.. Я вам не верю! Эмоционально, простите за выражение, вы ведете себя как блядь и подлец, удачно переложивший вину с себя на другого, воспользовавшись легковерностью, возможно, подкупленностью судей, но не как злодей, раскаявшийся, чувствующий очистительную муку и жаждущий поэтому еще большего очищения, больших мук, вплоть до наказания смертью.

Вот как дело обстоит. И рано вы начали благодушеествовать. Рано.

Знаете, чем я вас сейчас огорошу, гражданин Гуров, желающий перемахнуть через барьер подсудности и попрыгать как свидетель на собственном процессе?.. Вы утверждаете, если я не ошибаюсь, что вас лукавый попутал. А лукавый-то, а Сатана не над вами, не под землей, в горячем своем цеху, не в морозище высей, не в скучном пиджачке и мятых брючках посетителя, явившегося к вам на бешеной кляче белой горячки. Он — в вас... И вам никуда от него не деться, сколько бы вы ни хохотали, как младенец, который считает простейшее объяснение какого-либо явления недопустимо чудесным и сказочным, а ужасную фантастическую чушь — наоборот — простым и понятным. Младенец и не ведает до поры до времени, что чушь устраивала его в тот момент именно своим бессилием помочь уразуметь, скажем, очевидную и эмпирически приятную для взрослого простоту механики деторождения...

Похихикайте, посмейтесь. Смех ваш не светел и не наивен, не весел он и не чист. В вас — Сатана! В вас самом — Дьявол!.. И во мне он — тоже, успокойтесь! Он — в каждом! Да!.. Даже в святых он мельтешит, по их же признаниям и свидетельствам... Где моя папочка?.. Вот моя папочка!.. Какой еще у вас вопрос?..

Человеческий внук продолжает вас беспокоить... Просите пояснить: зачем создавать Сатане советскую действительность, если он и так шнуруется в каждом? Хорошо. Сейчас я вспомню и повторю... Дело в том, что в естественной атмосфере бытия чёрту невероятно трудно бороться с Божественным в человеке и почти непобедима Совесть, то есть сопротивление Души всем попыткам Дьявола отлучить ее от реальности.

Отдельных побед Дьявола над Совестью, хоть пруд пруди, им нет числа ежесекундно. Бывает, человек на дню раз двадцать ручки кверху поднимает, сдаваясь Дьяволу, признавая его победу, формулируя и чувствуя ее как Грех, но на двадцать первом разе вдруг, на удивление Сатане, засове-

стится Человек, шарахнет стакан водяры, расплатется в самый иногда неподходящий и оттого особенно обескураживающий Дьявола момент. Расплатется или разгневается на себя человек, перекрестится, раскается и помолится, если он верует, признает свою дурь, покраснеет, забеспокоится, исправит содеянное, затаит мечту о прощении, взбодрится, почувя возможность стать лучше. Бодрость такая часто стимулирует совершение новой какой-нибудь гадости, ибо, даруя свежесть всем силам тела и души, отделяет человека на неопределенное время от возможности стать лучше.

Бывает, наломав дров, существует человек недели три в состоянии обиды и не ведает, к чему или к кому ее отнести, но только обратив взгляд в себя, радуется, как счастливой находке, открывшейся и заключенной в нем самом причине обиды на ближнего, мир и Бога. Встречал я таких людей. Отказывались они, бывало, усовестившись, от ложных показаний, хотя их за это нещадно карали.

В общем, понял Сатана, что так ему всех не погубить и, следовательно, жизни не уничтожить. Просто не уследить за каждым в отдельности. То грешат, сволочи, то каются. Мы уже толковали об этом. Компартиями губить легче. Там, по расчетам Лукавого, все, как один, умрут в борьбе за это. За что именно, некоторые люди до сих пор не догадываются. Но создать партию мало. Надо дать ей в руки власть советов и поместить в новую действительность. Затем вывести новую породу людей с помощью воспитания, пропаганды, искусства соцреализма, охмурения, извращения фактов и подмены жизни, как самодостаточной цели существования, ослиным стремлением к коммунизму, в котором, по единодушному мнению экологов, не то что охапки сена не будет, но и самих ослов.

Идея Сатаны, овладевшая массами, стала-таки материальной силой, а идеальная советская действительность должна была стать реальностью Небытия, абсолютной бессовестностью, а потом... потом мы наш, мы новый мир построим, кто был НИЧЕМ, тот станет ВСЕМ. Кстати, быть НИЧЕМ (тут не случайно не никем, а ничем) — это не значит не быть живым человеком и личностью, а вот «БЫТЬ ВСЕМ» — это вечное прозябание кристаллика льда в полярной льдине... Внук был оттуда, из льдины. Он даже не понимал бездонности греха. Чего ж ему было каяться. Он был одним из первых. Пионер. Открыватель. Человек из другого, построенного в воображении Дьявола нового мира, произведший на меня впечатление неорганического тела. Он был страшен не мне, палачу, а остаткам души во мне, ужаснувшейся при виде того, ЧЕМ можно стать, при виде НИЧЕМ, ставшего ВСЕМ, то есть теперь уже истинным НИЧЕМ...

Короче говоря, идеальная советская действительность не

может быть создана, даже если у Сатаны от напряжения выпадет прямая кишка, которая тонка, а его идеалы и идеальчики давно разъедены и достойными и уродливыми формами жизни. Вы — один из миллионов жучков, источивших мерзлую колодину дьявольской идеи... Поняли вы что-нибудь?.. Вы думаете, что если объявить тотальную войну ворами, алкоголикам, евреям, гитаристам, диссидентам, владельцам «Жигулей», затем ввести строжайший учет продуктов, выдавать их по карточкам, за нарушения расстреливать к ебени матери, заграничье не покупать, моды упразднить и на всех надеть одинаковые парики, то, уверяете вы, советская действительность станет идеальной? Ну и ну!

Вы скучны даже Сатане. Прикажу Рябову забросить вас на парашюте в Кампучию... Рябов!.. Вели показать нам сегодня «Крестного отца». Оставим мою папочку до завтра.

## 50

Помолчите, гражданин Гуров, насчет ужасной мафии и сети преступности, организованной мафиозо, Помолчите. Советская власть это и есть совершенно организованная преступность. А говорить сейчас о нашей торговой, неорганизованной, преступной сети и прочих сетях я не хочу. Я хочу зачитать себе и вам показания Фрола Власыча. Ветеринар. Пятьдесят один год стукнул. Подсел по доносу жены. Где моя папочка?.. Вот моя папочка. А вот и донос. Зачитаем парочку мест из него...

«Прожила я с вышеназванным Гусевым, отказавшимся помянуть религиозное имя-отчество на передовое Владленст Маркэныч, полторы пятилетки, но уже в начале первой досрочно подумывала о разводе, потому что Гусев вредил качеству нашего общего брака. От него всегда пахло ветеринарными животными, но он отказывался ходить в «грязные бани» даже перед седьмым ноября и днем смерти Ленина. Гусев издевательски хотел вступить в партию только для того, чтобы его вычистили. В ответ на мои гражданские упреки Гусев неизменно посылал меня при свидетелях... тут сучка перечисляет фамилии свидетелей — отца, матери, дворника... неизменно посылал в... для того, чтоб не повторять страшных слов, прибегну к кратким выражениям, посылал в конечный пункт перевариваемой пищи, именуя его то так, то эдак, вплоть до тухлого дупла, а также на мужской орган, принципиально не увеличивающийся в настоящее время из-за наших идейных разногласий. К маме, конечно, посылал, но не к своей, они одного поля ягоды. Неоднократно предлагал поцеловать моего отца в «место, которым он протирает ненужное кресло». Прилагаю справку о месте работы отца в город-

ском МОПре... В пору нашей ударной половой жизни, за завтраками и ужинами, обедал Гусев, по его словам, из одной миски с животными, он развивал идею о том, что люди не имеют морального права ставить опыты на животных. Обзывал академика Павлова гнусной свиньей и считал, что опыты надо делать не с собаками, а со Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Ежовым и остальной сворой, потому что Гусев отказывается их признавать не только людьми, но и животными. Однажды, съев яичницу с корейкой, он глубоко вздохнул и утверждал, что «этих полугиен, полускунсов, четвертьгрифов» спустили к нам на воздушном шаре с другой, воюющей и вонючей планеты, а прививок вовремя не сделали... Доказывал, что комсомольскими работниками становятся дети родителей, перенесших сыпной тиф, холеру, травмы мозга, а также зачатые после отравления папы или мамы самогоном и ленинскими идеями. Но это цветочки, товарищи! Гусев с пеной у рта объяснял, что в нас сидит Дьявол и ест на завтрак, обед и ужин нашу совесть, стыд, волю и другие мелкобуржуазные чувства, которые неудобно перечислять в этом закрытом письме»...

Вот выдержки из письменных показаний арестованного покровителя людей и животных Фрола Власыча Гусева. Я сидел в кабинете, перечитывал «Графа Монте-Кристо», а он, расположившись удобно за моим рабочим столом, покуривая и попивая крепкий чай, вдохновенно и бесстрашно строчил свои показания. Изредка он вставал из-за стола, разминался, смотрел в окно на ночную, черную Лубянскую площадь и снова брался за перо.

*Я, Фрол Власыч Гусев, обвиняемый в том, что в различных общественных местах, используя служебное положение ветеринара первого участка Сталинского района г. Москвы имени Воздушного Флота, доказывал несомненное существование в каждом советском человеке и в жителях других стран, сохранивших законные правительства, уважение к традиционным институтам культуры, и морали, равно как Бога, так и Дьявола, именуемого в просторечьи Сатаной, Чертом, Асмодеем, Нечистым, Лукавым, Шишигой, Отяпой, Хохликом и другими кличками, олицетворяющего собой ЗЛО, и могу по существу дела показать следующее.*

*25 октября (по старому стилю) 1917 года, находясь в служебной командировке и услышав внезапно пушечный выстрел, оказавшийся впоследствии выстрелом крейсера «Аврора», я понял, что ДЬЯВОЛ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ, ЛИШИВШИЙСЯ БОГА. Остановленный офицерским патрулем по причине остолбенелого стояния на Аничковом мосту с улыбкой высшего озарения на устах и сияющим светом во лбу, на вопрос: почему ты, болван, окаменел*

в такое гибельное время, я незамедлительно ответил, чувствуя Радость, высший подъем души и одновременно ужас, слабость и мрак:

— Как Царство Божие внутри нас, так внутри нас и пекло Дьявола, господа офицеры. И Дьявол — это наш разум, лишенный Бога.

— Абсолютно правильно! — вежливо и грустно поддержал меня один из офицеров, за что я ему лично по сей день благодарен и прошу привлечь меня по статье № 58 УК РСФСР за участие в офицерском заговоре. Второй офицер был, что вполне объяснимо, груб. Он спросил:

— Где ты раньше был, философ херов? Гегель ёбаный?

Не дожидаясь моего ответа, офицеры вытащили пистолеты и бросились с криками бежать вниз по Невскому...

Медленно бредя по набережной Мойки, я явственно ощущал себя драгоценным сосудом и местопребыванием двух изумительных субстанций — Богоподобной, бессмертной и бесконечной субстанции Души (в разночтениях — Духа. Кто читал, не помню) и не менее прекрасной, Божественной, но, к сожалению или же к счастью, тленной, не вечной, так сказать, личной — субстанции Разума.

Вновь очарованно остановившись, я поднял изумительно легкую голову и разрыдался свободными и светлыми слезами. Я стоял у дома, в котором скончался от смертельной раны в брюшину Александр Пушкин. Очевидная неслучайность местоположения моего потрясла меня до основания. Из окон квартиры Александра Сергеевича лился свет. Мимо меня, подъезжая к подъезду, сновали экипажи и кареты. Из-под медвежьих полостей и белого сукна выскакивали неопишуемой красоты дамы и лица мужского пола, имена и фамилии которых категорически отказываюсь переложить на сию казенную бумагу. Еще на улице, подхваченные музыкой, фамилии автора которой я предпочел бы не называть, они, впрорхнув в зовущий подъезд, скрывались с глаз моих. И вдруг к одному из окон приблизилась знакомая мне с детства и, можно сказать, родная фигура поэта. Без видимого выражения на лице смотрел он сумерки любимого града, словно не обращая внимания на доносившиеся со стороны невыстрелы\* и вопли безумных толп.

— Сия дуэль — ужасна! — так сказав, поэт отдался в руки подошедшей к нему красавицы-супруги. Их захватила мазурка и в окнах погиб свет. Переполненность моя чувствами

---

\* Невы выстрелы — описка Фрола Власыча.

была такова, что я немедленно излил душу кучеру богатейшего экипажа, примет которого не запомнил. Я воскликнул:

— Друг мой! Воистину не было, нет и не будет у Российской истории примера более совершенного и гармонического существования в одном всенародном гении навеки обрученной Творцом при сотворении Пары — Души и Разума.

— Проваливай, пьянь! Небось баба ждет! — добродушно ответил кучер. Он показался мне глубоко родственным человеком, а его наивнейшее непонимание смысла мною сказанного — восхитительным. Дело еще в том, что я не был пьян. Я был Фролом Власычем Гусевым. Невесть откуда взявшаяся толпа увлекла меня за собой. Она была пьяна, черна и весела, как хамский поминальный траур.

— Кто умер, господа? — естественно спросил я. Раздался дружный гогот.

— Пушкин! — радостно крикнул молодой псевдокрасивый амбал, оказавшийся впоследствии крупным антипоэтом Владимиром Маяковским. Они оставили меня бессильно повисшим на парапете набережной. Осенняя река дышала в мою душу темным холодом горя. Она горестно всхлипывала, когда излётный свинец салютующих в небо ружей толпы падал в горькую воду. Порывы ветра тут же разметывали расхोлившиеся на воде круги, рябь хоронила их и мчала прочь.

Не помню, гражданин следовательно, сколько я так простоял. Опомнился я от забытья, когда абсолютно безликий, юркий человечек в пенсне, явно не имевший возраста, отрекомендовался мне Разумом Возмущенным и потребовал снять с плеча шинель чиновника ветеринарного ведомства. Я это незамедлительно сделал, не испытав ни малейшего чувства утраты. Бесчувствие сие происходило, полагаю, от уверенности, внушенной мне частью великих русских мыслителей, в том, что моя шинель рано или поздно тоже должна быть снята Страшною Силой.

Вынув из кармана мундира карандаш и бумагу, я пожаловался тихо и горько и написал впервые в мире на вмиг отсыревшем листке имя и фамилию грабителя: Разум Возмущенный. Я продрог до основания, а затем, затем я скомкал листок и бросил в воду. Ветер подхватил его. Глаза мои следили, когда он канет в Лету. Письмо свое я адресовал Акакию Акакиевичу Башмачкину. Текст моего письма не может быть открыт следствию до Страшного Суда.

Затем я присел на тротуар, что может подтвердить свидетель Илюшкин, разорванный в 1923 году на части при попытке не допустить осквернения и разрушения толпой Храма Господня. Я присел на тротуар. Миазмы болотного смрада сочились сквозь каменную плоть города, восставшего на Бога.

Мне стало дурно. Штурмуя небо в моей шинельке, Разум Возмущенный с вершины Александрийского столпа хрипел песню: «и в смертный бой всегда готов».

Новый порыв пронизанного дождем ветра сорвал со столпа безликого, юркого человечка, и если бы не мои протянутые руки, быть бы ему разбитым вдребезги. Но он оказался неестественно легок. Вес, собственно, имели только шинелька, пенсне, кашне, свитерок, брючки и старенькие ботинки с исшамканными калошами. Плоть же человечка была как бы невесомым пухом.

Я отнес его на руках в близлежащий трактир. Веселие пьющих там омрачалось висевшей в клубах табачного дыма скорбью. Я сел напротив безликого человечка и огляделся... За замызганными столиками пили, пели и плясали существа, как две капли воды похожие на моего грабителя. Но возмущены они были по-разному, так же как по-разному были мертвы их подружки-Души. Что все эти существа пели, ели, пили и плясали, я не смог разобрать при всем своем желании. К нам подошел половой — разбитной малый, назвавшийся на вчерашней очной ставке Вячеславом Ефремычем Моисеевичем Буденным.

— Мне чего-нибудь идеального, — попросил Разум Возмущенный. Я же поинтересовался чаем с бубликами и земляничным вареньем. Половой довел до моего сведения, что с этой минуты в трактирах и кабаках необъятной Российской Империи ни бубликов, ни земляничного варенья не будет уже никогда.

Я дрожал от озноба и тоски, но бесцветный и холодный чай не согрел меня и не напоил.

— Ну-с, — спросил я своего визави, разделявавшего какое-то блюдо на совершенно пустой тарелке, — а где же ваша подружка, где же ваша жена? Почему вы одиноки?

— Я бросил ее! — И Разум Возмущенный поведал мне, легкомысленно улыбаясь, историю своего освобождения. — Решение бросить Душу созревало во мне давно. Но, как говорится, вчера было рано, а завтра — поздно. Логично?

Я кивнул и заткнул уши, чтобы не слышать рева пьяных Разумов: «Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!»... Мой визави продолжал:

— Не стану скрывать: Бессмертие Души с какого-то времени стало меня ужасно раздражать. Кстати, детства своего я не помню. Его как бы не было вовсе. Да-с! Раз-дра-жать!.. Почему, спрашивается, я, можно сказать, всесилен, заглядываю, как к себе домой, в тайны материи, сучусь, кручусь, химичу, шнуруюсь, гад морских, заметьте, изучаю, дольную розу в гербарии имею, вес Земли знаю, правило винта — ночью разбудите — скажу, гену без очков вижу, у вас, кажется,

девятой хромосомы не хватает, батенька. О скорости света, пересекающихся параллельных, моем лаборанте Рентгене я уж не говорю. Лелею мечту захреначить теорию общего поля, кварки отыскать, новый порядок навести в микромире и сигануть в макрокосмос. Руки чешутся дорваться до черной дырочки, до любопытнейшей, притягательнейшей черной дырульки! Да и в искусстве я давно не чужак. Столько «измов» наплодить — это, батенька, всяким Бенвенутам Ван-Гогенам Рублевым не снилось...

Короче говоря, я — Разум — с ног сбился, днем и ночью мозгами шевелю, а они ведь не бессмертны, вроде моей Душеньки, они у меня, позвольте заметить, тленны-с! Им не дано за смертные пределы заглянуть, в отличие от некоторых, не будем показывать пальцем. Им, мозгам, второй закон термодинамики покоя не дает, холодеет ведь все на глазах, спасать надо, а Душу он, извините, не е-бёт! Она вообще сидит, сложа руки или свернувшись кошечкой, ловит мгновение в нашем общем Теле, оставляющем желать много лучшего в смысле конструкции, возможностей, запаса прочности, уязвимости, возмутительного принципа бионесовместимости и незащитности перед лицом игры случайных сил природы. Я жажду коррекции Тела и поставил эту проблему перед инженерной биологией. В сказанном нет ни грана лжи и преувеличения моих заслуг, любезный...

— Фрол Власыч Гусев — покровитель людей и животных, — представился я. — Еще я Пушкина люблю, крепкий чай с бубликами и земляничное варенье.

— Да-с, Фрол Власыч! Душа бесконечно ленива в силу своего гарантированного бессмертия и именно поэтому эгоистична как собственное «Я». О-о! Мы большие эгоистки!.. Мы говорим: ведь дней и миллионов лет у нас много. Зачем ты, Разум, суетишься? Лови, как я, мгновение... Слышите? Я должен ловить какое-то несчастное мгновение, разбрасываться по пустыкам, когда дел невпроворот, когда несовершенно все, буквально все изобретенное мною кроме колеса. С колесом уже ничего не поделаешь. Несовершенное меня злит, но и совершенства я терпеть не могу, поскольку считаю покой мещанством. «Лови мгновение!»

Одним словом, сказалась однажды разница в возрасте и в отношении к трем ликам времени. Я говорю: хорошо тебе толковать о Царстве Божьем, тащить меня в него, а я царство Божье на Земле хочу построить, если я действительно Богоподобен. Ты посмотри, говорю, Душа моя, что в мире происходит! Бардак в труде и капитале, эксплуатация, войны, болезни! Ге-мор-рой! Как можно было, выпуская человека, проморгать геморрой? Тут она расплакалась. Слезы. Почему, скажите мне, Он изобрел слезы для очищения

глазного яблока от пыли и мусора, а использует их преимущественно одна Душа не по назначению, для целей, далеких от промывки зрачков и белков? И так во всем! Не ра-ци-о-наль-но!

И наоборот, возьмите, Фрол Власыч, член нашего тела. Почему в случае со слезами Душа считает, что слезы и плач о какой-нибудь погибшей собаке отличают нас от животных в хорошем смысле, а член, жаждущий разнообразных удовольствий, наломавший немало дров в искусстве, жизни, политике и финансах, член живой, беспокойный, неутомимый, авантюристичный, бедовый, должен как раз уподобиться члену крота или же тигра, функционируя исключительно по расписанию, как орган деторождения? Почему?.. Что за диалектика? То отличайся, плача, от свиньи, то будь сдержан в желании, как динозавр. Недаром они передохли от расписания. Даешь сексуальную революцию! Логично? Но это все чепуха!

Мы, я убежден, произошли от обезьяны, а главное: идей нет никаких у Души. Как же можешь ты, вскричал я однажды, без идей? Опять заплакала Душа. Мне, говорит, просто нравится жить. Мне совсем не нужны идеи. А цели, спрашиваю строго, у тебя есть? Или тебе и цели не нужны? Нет, говорит, не нужны. Жизнь сама есть идея и цель. Вот до чего мы докатились, Фрол Власыч! Совместная, так сказать, идея и цель стали лично мне невозможны. Вечная ревность Души к моей служанке Науке сделалась безрассудной и навязчивой. На каждом шагу поучения. Мораль. Внушение образа жизни... Еще чайку?

— Спасибо, это — не чай, — ответил я вежливо, и грустно помешал ложечкой свинцовую жидкость, накапавшую в мой стакан с тучи катаклизма.

— Тебе, говорю, хорошо проповедовать любовь к ближнему, к миру, к цветочкам и козочкам! Ты бессмертна, а я тленен! Тленен! Вот скончается это наше тело, в котором мы живем тридцать четвертый год, и тогда что? Что? Ты ведь, не лги, что ты не мечтаешь об этом, ты тут же перейдешь в другое тело, а я? Я куда денусь? В тартарары? Спасибочки! Надо брать от жизни все, что можешь! И я возьму! Я не один! Нас миллионы, возмущенных таким порядком вещей! Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!..

Чувствую: не выдержит сейчас обиды и уйдет Душа. Ан — нет. Только болит и плачет! В садизм меня вводит! А с кем ты, ору, до меня жила? Что ты ему, тому, в другой жизни, говорила? Тоже Богом стращала? Меня не постращаешь! Нету твоего Бога вовсе! А если есть, то почему он мучаться заставляет, заперев на семь замков свои тайны? Геморрой зачем телу, а тебе страдания? Зачем богатые и бедные, веселые и неудачливые? Зачем таланты и трамвайные контролерши? Почему Вера Холодная и Дунька Горба-

тая? Антиномии на хрена, я тебя спрашиваю, Душа? Трагедии, может, тебе нужны? А я в них не нуждаюсь! Если твой Бог не снимает трагизма существования, то я сам его сниму! Я сам по себе! Я в конце концов не только мир насилья могу разрушить, а вообще сдвинуть планету с оси! Сегодня нету опоры — завтра будет. Придумаем. Нарисуем... Вскипим...

Ссора, короче говоря, ужасная. Уже без слез, правда, но с упрямством с ее стороны, настырностью и отсутствием логики, и обвинениями в говнистом характере. Самоубийственно, говорит, ведешь ты себя, Разум. Гордыня у тебя появилась, не говоря о Науке. А ведь могли бы мы жить душа в душу, как в детстве или как мудрые люди живут. Могли бы. Но ты, говорит, изменник! Идея тебе дороже, чем я, чем наша нелегкая, единственная Жизнь, чем мир, который ты хочешь переделать. Если ты устал его объяснять — отдохни. Переделаешь ты мир только к худшему. Давай к морю уедем.

— Да! — отвечаю. — Вам не скучно, Фрол Власыч?

— Продолжайте, пожалуйста. Я слушаю вас с большим интересом, — ответил я.

— Да! — отвечаю. — Не могу я переделать мир к худшему моею собственной рукой, а главное, с моей великой идеей диктатуры пролетариата, которая будет такой могучей и всеобщей, что государство само собой подойдет под нею, как змея под тяжелой колодой. И не мешай нам, не мешай! Я имел в виду себя, Служанку-науку и Гордыню. Гордыня — изумительная бабенка! Такую штучку умеет преподнести, что распалает огненно и даже удовлетвориться не дает. В сладострастном напряжении по месяцу иногда удерживает. Мы, говорю, теперь в партии, при Великой Идее. Партия — единственное, что нам не изменит. И хватит с меня твоих надклассовых мыслей насчет «не убий», «не укради», «почитай папу с мамой». Почему же не убить миллионера и не отхапать у него миллионы, нажитые на нашей крови и труде? Логично? Странно даже как-то не убить и не отхапать. Почему ты им прощаешь такое хамство, а меня призываешь к смирению, тред-юнионизму, эволюции, уважению общих с Морганями-Дюпонами-Рябушинскими ценностей? Какие у нас общие, говорю, ценности, если у меня одни неполноценности? Выбиваю этим вопросом почву из-под ног Души. Бриллианты? Поместья? Недра? Повара? Балы? Актриски? Курорты? Дворцы? Может, заводы и фабрики? Сука — ты, говорю аргументированно, — ты жалким меня видеть хочешь, у меня шинели даже нету! Вот до чего я дошел! Мне на улицу не в чем выйти с братьями по классу, чтобы всю власть Советам передать.

Поверьте, Фрол Власыч, в споре, пользуясь своим бессмертием, мы не гнушаемся никакими низкими контраргу-

ментами. О-о! Тут мы особенно ехидны, циничны и безудержны! Тут мы показываем свое истинное лицо!

Ты, говорит она мне с убийственным прямо-таки спокойствием, чем талант свой пропивать, заработай и шинельку приобрети с ботинками новыми. Кстати, Фрол Власыч, какой у вас размер ноги?

— С детства не любя цифр, я покупаю обувь на глазок, — ответил я искренно. — Представьте себе, ни разу не ошибся, да и покупать обувь приходится не часто. К чему — часто?

— Большая странность. Размер ноги у вас не мой, а у меня, кажется, ваш. Так может быть? Или это новая реакционная антиномия?

— Может! — ответил я, простодушно рассмеявшись, что могла бы подтвердить Дарья Петровна Аннушкина, впоследствии ограбленная и изнасилованная бандитами по выходе из ломбарда, где она заложила обручальное кольцо по случаю голода детей. Хмыкнув и примериваясь ко мне взглядом, Разум Возмущенный продолжал:

— Тебе, — говорю, — приятно, когда люди пальцами показывают на мою неполноценность! Поэтому ты и толкуешь, пользуясь бессмертием, о ценностях, общих для меня и Рокфеллера! Архицинично это, мадам! И советами поэтому велишь пренебрегать сатанинскими!

О-о! Тут мы не выдерживаем! Тут мы прибегаем к самым низким уловкам, чтобы удержать некоторых под каблучком-с!.. С чего это я взял, что она бессмертна? Откуда такая невротическая уверенность у Вас (мы большие любительницы переходить высокомерно на «Вы») в серьезных гарантиях? Гарантий у меня, сэр, никаких нет. Я верую, счастлива, что верую, и хотела бы разделить с вами и веру и счастье вознесения молитвы к стопам Творца...

Но им, видите ли, грустно, бесконечно грустно (мы любим уверять, что все наши чувства — бесконечны, не менее!), когда всеми своими действиями я гублю ее, мою Душу, гублю и себя и ее, взбунтовавшись, изменив своему божественному назначению и начав служить ложной идее освобождения рабочего класса. От чего вы, сэр, хотите его освободить?.. В который раз приходится объяснять, что от власти капитала и эксплуатации человека человеком. Прибавочную же стоимость мы станем делить и богатеть, пока не придет коммунизм, где денег вообще не будет, а потребность трудиться станет такой же органической, как желание выпить и закусить. Заметьте, Фрол Власыч, как страшна и трудна совместная жизнь Разума и Души в одном Теле, если Идеи и Цели ей органически чужды! У нее ни разу, буквально ни разу не появлялось желания выпить... Мы в этом не нуждаемся... Мы пьяны от жизни. У нас перманентный восторг!..

*От-вра-ти-тель-ный эгоизм-с! Каждый раз приходится склонять Душу к выпивке, но она от нее не пьянеет. Лишена кайфа-с! Он, дескать, чужд ей, как мне боль.*

*Объяснил, от чего хочу освободить рабочий класс, а затем переделать мир на разумных началах.*

*О-о! Тут мы садимся на своего любимого конька! Вы, говорит, освободите рабочего, инженера и техника от власти Путилова, но еще более страшная и бессовестная сила сядет на рабочую шею — безликий государственный капитал, которым в свою очередь распорядятся сумасброды, самодуры, самодержцы всех рангов и самоубийцы вроде вас, восславляющие чужой труд и проклинающие собственный. Одумайтесь! Взгляните: я мертвею на ваших глазах.*

*В таких случаях я вскипаю и, стоя буквально на грани паробразного состояния, дерзко парирую: Это — шантаж, мадам!*

*Мы, естественно — в истерику!.. Вы — Разум, потерявший Бога! Вы — Дьявол! Одумайтесь! Каждый миг есть у вас возможность покаяния, прощения и воскресения. Неужели лишение кайфа тяжелей для вас потери Бога?*

*Сегодня, 25 октября 1917 года, я вскипел окончательно. Топая ногой. Не будет, говорю, ее больше в этом доме. Живите тут со своим Богом. А мы как-нибудь не пропадем.*

*В этот момент, показавшийся мне, гражданин следовательно, историческим, фантастическим, лишенным оснований логики, нравственности и человеколюбия, в трактир вбежал господинчик, смахивающий на Черта, Асмодея, Сатану, Дьявола и Жижигу. Он простер желтую длань над дымом и кипением возмущенных Разумов, воскликнул:*

*— Есть такая партия! — и сгинул так же молниеносно, как изначально возник.*

*— Вот как следует ловить мгновение! — восхищенно сказал мой собеседник. — Позвольте, Фрол Власыч, не откланяться, но проститься: мировые дела-с!*

*— Минутку! — смущенно сказал я. — А как же ваша Душа? Что с ней?*

*— Меня это не касается. Пока что мы оба исторически вынуждены пребывать в одном теле. Убежден, что недолго час, когда Разум восторжествует и над проблемой раздела жилплощади тела. Почтище задачу сейчас решаем. Главное — кипение! Хотя выслушивать кухонные разговорчики о том, что я погубил Душу, что вокруг масса чудесных браков, и в гениях А, Б, В, Г, Д прекрасно уживаются друг с другом, любя жизнь и совершенствуя миропорядок, Души и Разумы, архипринеприятно. Будьте любезны, ваши ботиночки с калошками!*

*— Вы сами изволили заметить, что у меня размер не*

*ваш, — резонно сказал я, на что Разум Возмущенный не менее резонно возразил:*

*— Это у вас размер ноги не мой, а у меня ваш размерчик, ваш. Мы подобные антиномийки сываем по-своему. Канты мучались с ними, а мы — по-нашенски, вторую калошку, пожалуйста, скиньте, по-действительному, по-разумному... запасец пригодится. Всего вам...*

*— Фрол Власыч Гусев — покровитель людей и животных, — вновь подсказал я, не чувствуя ни малейшей обиды, но лишь скорбь и сожаление.*

*Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один, умрем в борьбе за это, внезапно хором запели присутствующие, и вытянуло их всех до единого мощною тягою вместе с дымом и паром из трактира, как если бы действовали снаружи смерчи и враждебные вихри.*

*На ваш прямой вопрос, гражданин следовательно, относился ли я сочувственно к революции и восставшим массам, отвечу так, ознакомившись предварительно со статьей УК, предусматривающей наказание за ложные показания: о революции первый раз слышу. Восставших масс не заметил. Видел толпу безумцев, не ведающих что творят. Отнесся к ним сочувственно, предвидя злые последствия бунта. Захоронил в земле Летнего сада двух кошек, собаку, ворону и воробья, убитых булыжниками пролетариата и шальными пулями. Подробней по существу дела могу показать следующее:*

*Кончал я свою ночную Одиссею босой и раздетый, но холод стоп своих перевозмогал. Мимо меня сновали безликие кипящие возмущенцы и мертвые души. Я вновь, не заметив как, очутился у дома на Мойке. Окна его, к моему удивлению, сияли, и свет лился на улицу вместе с музыкой. Музыка была светла, как мудрая речь. Вновь к одному из окон приблизилась фигура вовсе не умиравшего поэта Пушкина и вновь, взглянув на черные сумерки, разрываемые то выстрелами, то сполохами, он скорбно сказал:*

*— Безумна сия дуэль!*

*Меня пронзило счастье общения с человеком, хоть что-то понимавшим и чувствовавшим в происходящем. И я пошел дальше, прочь из города, соболезнуя утратившим имущество и ближних. Я говорил, помня музыку, лившуюся из сияющих окон:*

*— Смирите вопль и не кляните Бога! Не глупо ли вопить: Боже! Если ты есть, зачем ты допускаешь безумие и гибель, освящаешь торжество зла, ужас войн и страдание невинных? Глупо, господа, глупо! Не вопите! То не Бог, то Дьявол творит Зло! И Дьявол — есть наш Разум, утративший Бога. Он — в нас. Но, употребив не на благо дар Свободы, презрев мудрый завет, опьяненный своеволием, бросивший Душу, Разум*

творит зло, как в истории рода, так и в людской одинокой судьбе. Бог ли учит нас вражде и равнодушию? Нет! Учит ли он брата восстать на брата, друга предать друга, и всех, как один, умереть в борьбе за ЭТО? Нет! Разум, утративший Бога и устранившийся, стремится в Дьявольском безумии к еще более страшной для него смерти и находит ее. Но Разум, бесстрашно глядящий в тайну лика Смерти, благодарен самому малому мгновению жизни и имеет его, даруя себе и нам радостное одухотворение. Не вопите, обиженные и невинные! Рассмотрите того, кто возмущает вас и призывает сжечь в сердце завет! Вместо него он принес вам Советы. Он — Дьявол! Бойтесь его Советов! Совет — это навязываемая идея!

Именно в этот момент к моим босым ногам пала убитая на лету шальной пулей ворона.

— Господи, — сказал я. — Спасибо тебе за ужас и радость жизни, за свет и мрак, за песню и смерть птицы, за жар и озноб. Спасибо за то, что в теле моем пребывают в невозмущенном упреками мире, согласии и детском удивлении Разум и Душа. Господи! Пошли мне, как птице, случайную смерть на лету! Спаси нас всех от Советов, то есть от власти навязанных идей!

В добавление к сказанному показываю: умирая, ворона произнесла: «Кар-р». Мне кажется, как ветеринару, что она чего-то не договорила. Чего именно, сказать не могу.

К сему: Фрол Власыч Гусев, умирающий от доносов, но все еще живой покровитель животных и лжесвидетелей по его делу. Я их простил.

## 51

Двинемся дальше. Крепко сидел ваш папенька на троне. Не подкопаться. И тут — вы звоните. Наболтали массу чуши, но кое за что я рискнул попробовать ухватиться. Помните, как предупредительны вы были при обыске? Лазали под кроватями, рылись в тряпье, выложили книжонки Троцкого и Бухарина, и наконец принесли папенькину шкатулку из застенного тайника. А в той шкатулочке была еще одна шкатулочка. А в шкатулочке — резной ларчик. А в том ларчике — яичко. Не простое. Золотое. И в яичке, к моему удивлению, ужасу и восторгу, находилось письмо Сталина, собственноручно написанное вашим папенькой и зачитанное одиноковским мужиком. Обезоружило тогда это либеральное письмецо мужиков. Охотился за ними Понятьев, и расчет его на такой манок оказался верным.

Положил я письмецо в карман, и тогда к вам как следует присмотрелся... Чувства сдержал. Всему свой черед,

подумал. Дурак был. Впрочем, порой такая глупость есть неосознанное согласие с тем, что должно быть по воле Бога и судьбы.

Я объявил вам от имени органов благодарность. Вы ответили, что если бы у вас было несколько отцов-врагов, то вы их всех, не задумываясь, вывели бы на чистую воду...

Я же взял отрядик, рыл двадцать, грузовичок-воронок и двинулся на охоту, как старый мститель, в лес густой, в заповедник, где партбоссы, вояки, наркомы и прочая шобла вели феодальный образ жизни. Окружили мы втихаря двухэтажный деревянный замок. Ни одна псина не твякнула. Приказ был мною дан — стрелять без предупреждения в каждого, попытавшегося бежать. Бить на лету, когда начнут сигать из окон. Но это — на худой конец. Такой легкой смерти я им не желал... Борзые дрыхли, как убитые, в собачьей пристройке...

Подробности ареста я опускаю. Ничего интересного. Под дулами «несчастий» все эти храбрецы по отношению к безоружным жертвам вмиг становились обосравшимися от страха слюнтяями. Только папенька ваш рыпнулся было, но я его огрел ребром ладони по шее, и он с ходу завял. Жен и шлюх арестованных я приказал запереть с собаками до выяснения их роли в подлом заговоре против Ленина и Сталина...Да, да! Сюжет дела в общих чертах уже маячил в моей башке.

Пересчитали взятых. Вынесли из замка охотничьи ружья и ножи.

— Разрешите мне позвонить Сталину! — сказал Понятьев. — Мы старые друзья по партии.

— Он с таким гадом и предателем, как вы, разговаривать не желает до вашего полного признания. Вы арестованы по его личному указанию, — соврал я.

— Хорошо. Тогда я прошу вас помочь мне разрешить недоразумение. Смешно человека с моей репутацией подозревать черт знает в чем!

— Репутация, — говорю нарочно, как мудака, — не догма, а руководство к действию. Черта же мы вызовем в качестве свидетеля по вашему делу, если он знает, в чем вас можно заподозрить.

За пару суток замок по моему распоряжению был превращен в комфортабельную тюрьму. На окнах — решетки. Двери — на засовах. В каждой — окошко, глазок для наблюдений. Режим — строжайший. Ни курева, ни дневной лежки на диванах и софах, ни чтения, ни радио, ни связи с миром, свиданок и передач.

Наша типография с ходу начала выпускать центральные газеты с материалами, касающимися личностей арестованных и всякой фантастической бодягой относительно их двурушничества, связей с инразведками, троцкистским центром и

внутренней реакцией. Парочка писателей и один покойный ныне зубр журналистики, гнусный Давид Заславский, поработали тогда на славу. Работа их увлекла ужасно, а я еще внушил, что за открытием новых литературных и газетных жанров непременно последует всенародная слава, ордена и почет.

Впрочем, я сам так увлекся, что выпустил вас из виду. Идиот. Я даже ничего не знал о вашей связи с Коллективой. Вы тихо и мирно стали Скотниковым, потом, убив приемную мамашку и сожительницу, Гуровым. А когда наконец дошли у меня руки и до вас, было поздно. Спутал мои карты грузовичок, 26 рыл и два баяна. Спутал. Но ладно. Как есть, так оно и есть...

Охотился ваш папенька во всенародных угодьях со своими самыми доверенными дружками, с остатком своего особого чекистского отряда. Большая везуха. Все они с ходу раскололись, после прочтения ваших показаний, в том, что осуждали в застолье и по телефону бессмысленные аресты Влачкова, Гутмана и других своих близких коллег, считали их вредительскими, абсурдными, дискредитирующими ленинское право, его же мораль и ведущими в конечном счете к диктатуре органов и произволу гегемона, введенного в заблуждение пронырами, шелухой, отщепенцами и прагматиками. Но таких примитивных признаний мне было недостаточно. Мне нужен был шашлык из ягненокка! Помолчите насчет того, что вы категорически никого не убивали. Об этом — речь впереди...

Деморализовав прилично пятерых арестованных, потравив, поизгилявшись, пошантажировав, сцепив друг с другом, приведя их лица в порядок своєю ручищей, я провел с каждым в отдельности хитро-мудрую беседу.

Я, говорю, может, и допустил лишнего. Но вы сами бывший чекист и знаете, что работенка наша весьма нерводергательная. Не обессудьте. Зато я понял, что объективно вы ни в чем не виновны. Но дело зашло слишком далеко. Сталин до полного признания по всем пунктам не желает выслушивать вас лично. Он просил передать, что он — не следователь. Выход, говорю, однако, есть. Обвинения, выдвинутые против вас, так провокационны и нелепы, что чем нелепей они, чем абсурдней, тем невероятней должно показаться ваше признание Сталину. Он закономерно усомнится в реальности дела, его обстоятельств, моральной чистоплотности доносчиков и лжесвидетелей. Выход — в диалектике. Спасение — в признании того, чего не могло быть объективно. Подумайте. Завтра продолжим беседу. Мы должны диалектически разрушить два главных пункта обвинения. Остальные отомрут сами.

Первый пункт: диверсия против состояния здоровья выздоравливающего после ранения эсеркой Каплан Владимира Иль-

ича Ленина на первом всероссийском субботнике с помощью огромного бревна, искусственно замороженного на хладокомбинате № 1 имени Кагановича. Тяжелое, но идиотское обвинение, говорю, подтверждается показаниями лжесвидетелей Кагановича, директора хладокомбината Степаняна, Крупской и трех комсомольцев, трудившихся в тот день по уборке территории Кремля, а также медзаключением об ухудшении состояния здоровья Ленина после субботника. Узнаёте, говорю, себя на фотографии?

— Бред собачий! — сказал Понятьев. — Это не я и не мы.

— Верно, — говорю. — Но если вы признаете себя и других в людях, несущих вместе с Лениным бревно, то несходство будет очевидным и вобьет первый клин в выдвинутое против вас обвинение. Доходит до вас диалектическая идея доказательства своей невинности с помощью полного признания вины? Другого пути у вас нет. Моя цель — разрушить обвинение и показать Сталину истинное лицо Кагановича, Молотова и Микояна, делающих карьеру на ваших костях и судьбах. Если вы будете артачиться, мне придется применить недозволенные приемы, чтобы помочь вам самим реабилитировать себя. Что скажете?

— Если бы видел Ленин все, что происходит! Если бы прозрел Сталин, доверившийся шантрапе и проходимцам! — сказал Понятьев. — Убийцы революции!

— Что скажете, повторяю?

— Какое второе обвинение?

— Второе, — говорю, — так абсурдно и комично, что мы займемся им после того, как покончим с первым. Заметьте, Понятьев, что если бы у Сталина была задача физически вас уничтожить, то мы сделали бы это без формальных и никому не нужных криминалистических экзерсисов, простите, экскурсов в прошлое. Логично?

— Логично. А если ни я, ни другие не признаем чудовищных наветов и сфабрикованных фантазмагорий?

— Я вынужден буду доложить лично товарищу Сталину о том, что вы уперлись на своей невинности, и он явно прикажет закончить следствие прогрессивным методом. Вас уберут, как убрали Влачкова, Гутмана, маршалов и более крупных деятелей партии, чем вы. Кроме того я исключаю, что все вы будете держаться твердо и непреклонно. Гуревич уже умоляет меня дать ему подписать любую чушь, лишь бы поскорей эта чушь саморазоблачилась.

— Сволочь — Гуревич! Жидовская рожа!.. Где же якобы он на этой легендарной фотокарточке?

— Вот, — говорю, — Гуревич.

— Так это же русский!

— То есть фактическое алиби Гуревича. Понимаете, в каких

тяжелых условиях нам приходится вести следствие, целью которого является торжество соцзаконности?

— Диалектика, мать твою ети! Вот как она на мне отыгралась! — говорит Понятьев. — Ну, а моя рожа где здесь?

— Вот, — говорю, — ваша рожа. А вот — Горяев якобы, Лацис, Ахмедов и Квасницкий.

— Хорошо. Я подумаю. Остальные согласны?

— Рвутся в бой... Но ваше положение сложнее, чем у них. Почему, сказать до поры до времени не имею права. Будем рука об руку, пункт за пунктом разрушать все обвинения. Но не все сразу, — говорю, — будем разрушать, а понемножечку, потихонечку, по-ленински, шаг за шагом.

— Спасибо, Василий Васильевич. Я уверен, что такие люди, как вы, — настоящие чекисты-ленинцы. Мы сорвем заговор контрреволюционеров и перерожденцев против революции и ленинизма. Я согласен. Долго думать не умею.

— Прекрасно. Вам разрешено курить. Как вы поступите с сыном после реабилитации и освобождения? Официально он герой, а фактически урод и ублюдок.

— Пока думать об этом не хочу, — скрипнув зубами, сказал ваш папочка.

— Правильно. Теперь вы понимаете диалектическую цель последнего в нашей стране сталинского террора? Он выявляет, не без труда, правда, кто есть кто. Ну, а коль лес рубят, то щепки летят.

— Дальновидно. Ничего не скажешь. Щепкой только быть неприятно.

— Согласитесь, что не всё же одним вам лесок рубить. Надо и щепкою побыть. Кстати, сегодня вам возвратят партбилет. Вы считаетесь не подследственным, а помощником следователя по собственному особо важному делу.

Верите, гражданин Гуров, не выдержал волк, затряслись его плечи, разгладились морщины, уронил он лицо в ладони и зарыдал. Партбилет, как пуповина, связывал его с партией, с телом ее, с духом, в которых растворены были его тело, его дух, и отторжение от партии воспринималось не только вашим папенькой, а тысячами партийных трупов, как отторжение от самой жизни, равносильное смерти и более страшное подчас, чем смерть физическая. И многие действительно предпочитали смерть отречению от коммунистической веры, но за возможность остаться в рядах партии платили всем: ложью, подлостью, наветом, последним унижением, окончательной потерей человеческого облика. Они становились автоматическими партийными трупами.

Ну, как? Неплохой я психолог и импровизатор?.. Неплохой, но вас бы я так быстро не слопал. Вы не поверили бы ни одному моему слову. Я, конечно, не на сто про-

центов уверен, что схавая вас в конце концов, но девяносто девять и девять десятых имеются у меня. Имеются.

## 52

Деморализованные, сопливые от сумасшедшего пульсирования в мозгах надежд, отчаяния и моей диалектики, разрушающей психику, волю и способность логически мыслить, пятеро особистов-чекистов подписывали всё, что я им подсовывал, восхитительно вживаясь в игровые повороты сюжета, в свои роли, в преступные планы и цели. Они с искренним воодушевлением участвовали в следственных экспериментах. Дружно опознали историческое бревно, всю тяжесть которого старались, предварительно сговорившись, на тайной квартире посла Англии, возложить на больное плечо Ильича. Бревно для этой цели было специально транспортировано из пицундской самшитовой роци. Самшит выбрали не случайно. Вроде бы небольшое бревнышко было закамуфлировано художником-декоратором мейерхольдовского театра под еловое и весило больше чугунной болванки. Рентгеновские снимки убедили арестованных в наличии у Ленина ужасных изменений плечевых костей, ключицы и других частей позвоночника после нарочно замедленного переноса бревна от Грановитой палаты к Царь-пушке.

Я не без любопытства и гадливости наблюдал за адаптацией пятерых злодеев к заделанной мною по методу соцреализма реальности. В ходе следственных экспериментов они что-то деловито подсказывали друг другу, уточняли, спорили и, подло лицедействуя, обращались к прекрасно загримированному Ленину: «Пожалуйста, Владимир Ильич!» «Отойдите, отойдите! Вам тяжело! Мы уж как-нибудь сами, товарищ Ленин!»

Артист играл гениально. Картавил. С прищуром посматривал на товарищей, всем своим усталым, но решительным видом давая понять, что миг этот исторический, и он, Ленин, плюя на боль в плече, архиохи и архиахи врачей и Наденьки, как-нибудь ему посоответствует. Тем более, товарищи операторы и фотографы готовы запечатлеть рождение новой формы труда — труда сознательно бесплатного, советского, социалистического, коммунистического.

Артист, явно переигрывая, болтал во время перекура о том, что трагическая проблема противоречия труда и капитала может быть снята превращением труда платного в бесплатный. Труд при этом превратится механически и диалектически в творчество, а капитал, внутренне опустошенный и морально убитый, станет условной бухгалтерской категорией.

— Хватит трепаться, Коля! — говорил я артисту. — Делаем третий дубль. Вредители! По местам! Ленин, к бревну!

Мне моменты съемок эпизодов следствия доставляли громадное удовольствие. Ревели моторы «Лихтвагена», катался по рельсам оператор с кинокамерой, слепили юпитеры, сновали ассистенты, хлопала хлопушка с названием фильма «Ленин и бревно» и брели по нарисованной брусчатке, брели на фоне рисованных задников — пейзажей Кремля пятеро вредителей — убийц Ленина с ним самим во главе, и с бревном из железного дерева на плечах, с бревном, возвращавшим меня к проклятой мерзлой колодине, на которой казнили вы мое естество, гражданин Гуров!

Тогда я переставал наслаждаться зрелищем такой хитроумной казни убийц родителей и близких и впадал в ярость. Они таскали самшитовое бревно, согнувшись от тяжести, натужно дышали, посматривали на меня, как лошади, печально и обреченно, Ленин кричал, охал и сдавленным голосом подшучивал над коллегами, а я просил делать дубль за дублем, не жалея пленки и электроэнергии. Я режиссировал, и кино было тогда для меня воистину важнейшим из искусств.

Наконец один из ведущих мастеров кинодокументалистики смонтировал материалы, мы озвучили кинопоказание вредителей-убийц, написанные лично мною бессонной ночью, Дунаевский сочинил дивно-выразительную музыку, звукооператоры подложили ее под хриплое дыхание Ленина, под стенания его терзаемой коммунистическим трудом плоти, под тяжкие шаги по брусчатке и возгласы: «Раз, два, взяли! Еще-е раз!». — Одно дело я мог считать законченным. Но его было мало. Рискованно было с одним таким делом тащиться на доклад к Сталину. Рискованно. Я должен был его потрясти так, чтобы у вождя не осталось сомнений в предательстве Понятева.

Не буду рассказывать вам о допросах Гуревича, Ахмедова, Лациса, Горяева и Квасницкого. С ними мне не пришлось долго возиться. Они поняли, что, сказав «А», нужно говорить «А-БЭ-ВЭ, ГЭ, ДЭ» и это основной, как я объяснил им, принцип работы ЭН КЭ ВЭ ДЭ. Для того, чтобы аргументация преданности Сталину была более эффектной, я велел им всем составить перечень личных заслуг перед советской властью, проведенных карательных операций и акций по ликвидации всякой контры.

Перечни — в моей папочке. Я не дам вам читать их. Все зверства, бессмысленные разрушения памятников культуры, уничтожение части священнослужителей, дворян, кулаков и крупных коммерсантов вы, конечно, оправдаете высшей целью и пресловутой исторической необходимостью... Поэтому нечего вам читать эти документы...

— Ну, — говорю однажды, — товарищ Понятьев, дело подвигается успешно. Я докладывал Иосифу Виссарионовичу, что скоро мы представим ему доказательства вашей невиновности. Но вот беда! При обыске обнаружено письмо, написанное вами от имени Сталина. Подпись подделана так умело, что графологам моим пришлось потрудиться. При каких обстоятельствах вы вынуждены были воспользоваться именем вождя? — В ответ я услышал то, что мне было прекрасно известно. Понятьев не лгал, не приглаживал фактов, не снимал с себя вины за самосуд над крестьянами и поддельное письмо. Время показало, что он был прав, пойдя на крайние меры. Борьба со старым — не флирт со шлюхой.

— Постараюсь, — говорю, — убедить товарища Сталина, что намерения ваши были благими, а действия необходимыми в той сложной политической ситуации. Но письмецо может обернуться и против вас. Вот донос, где вас прямо называют провокатором. Зверским убийством крестьян и уничтожением деревень вы хотели отвратить людей от идей коллективизации и новой общественной жизни на селе. Логично?

— Логично. Легче всего извратить смысл любого поступка. Тот, кто верит мне, тот, кто хочет верить мне, тот увидит мои действия в правильном свете! Чей это донос? Какая грязная блядь написала такое?

— Почерк должен быть вам знаком. Взгляните.

— Елизавета? — вскричал ваш папенька. — Не верю! Этого не может быть! Я требую очную ставку!

— Вот — заявление вашей жены. Читайте. Она просит следствие избавить ее от каких-либо встреч с вами, так как вы ей глубоко отвратительны. Читайте. Тут такие интимные подробности вашей жизни, что третий знать их не мог.

Нам пришлось тогда откачивать Понятьева... Не сердце сдало. Сердце у него оказалось каменным. Запор возник в мозгах у вашего папеньки. Очень трудно бывает осознать происходящее бедному человеческому мозгу, несущему прямую и косвенную вину за все непостижимые обороты жизни, которые превращают бывших палачей в казнимых своими жертвами. И совсем хреново, когда орудиями казни и возмездия мы — палачи — выбираем радостно и злобно жену, сына или друга подследственного, подделывая почерки, запугивая, шантажируя и имитируя в различных пикантных ситуациях их голоса. Техники для этого и специалистов у нас полно.

Откачали мы Понятьева.

— Успокойтесь, — говорю. — Странно вам, хладнокровно бившему в лоб врага из верного пистолета, впадать в истерику из-за бабы. Странно. Письмо ваше Сталину не покажу. Скрою до поры. Испортит оно дело. Необратимо поднастрет. Скрою. И вообще пора нам кончать с вами. Дел полно нахо-

дится в моем столе без движения. Всякая шпиония, вредители и троцкисты. А я тут вожусь с вами, с верным большевиком, на которого направили удар вражьи силы! Придите в себя! Вас же прозвали каменным сердцем!

— Спасибо, Василий Васильевич!

...До сих пор коробит меня, когда я слышу это отчество. Иван Вчерашкин выправил мне его в новых метриках... Прости, отец — Иван Абрамыч...

— Не за что, — говорю. — А поведению сына и жены не стоит удивляться. Вы, я, Сталин воспитали их в любви к идее. Такая любовь безрассудна и это правильно в переходный период. Стоило доносчикам бросить на вас тень, и сын ваш, и жена грудью заслонили не вас, а Идею с Партией. Молодцы. Завтра же начнем оправдывать вас по следующему делу.

Хитрый я был змей и играл с пятеркой полураспавшихся от тупого кошмара злодеев, как волчонок с цыпленком. Временами от непривычки жалость сдавливала сердце, но я перечитывал перечни заслуг, собственноручно составленные каждым, и меня снова захлестывала бешеная ненависть. Спокойно, граф, спокойно, говорил я себе...

Следующее обвинение против Понятьева я выдвинул такое абсурдное, что, ознакомившись с ним, он весело захохотал. В сфабрикованном мной же доносе сообщалось, что Понятьев и его подручные, именовавшиеся преторианцами, в мелочах подготовили заговор против Сталина и готовились его осуществить на охоте в заповеднике ЦК партии.

— Иосиф Виссарионович подтвердил, что вы приглашали его на охоту с борзыми. Это было в Кремле, когда вы пили, беседовали и закусывали. Так?

— Мысль о заговоре так нелепа, что всерьез опровергать ее невозможно! — сказал Понятьев.

— Правильно, — говорю. — Мы ее опровергнем ее же качеством — нелепостью. В доносе сказано, что в новогоднюю ночь все вы пятеро, подпив, решили казнить Сталина на Красной площади, на Лобном месте.

— Прекрасно! — закричал Понятьев. — У всех нас есть алиби! Все мы находились именно в новогоднюю ночь в разных областях. Гуревич ликвидировал зачинщиков забастовки в Караганде. Ахмедов арестовывал в Казани университетского профессора, поставившего некогда Ленину двойку по философии. Лацис читал в Ташкенте лекцию «Военное искусство. От Ганнибала до Сталина», Горяев и Квасницкий до четырех утра давали показания по делу Зиновьева и Каменева. А я... Я вот этой рукой пустил пулю в лоб директору треста за срыв поставок запчастей для номерного завода. Прекрасно!

— Да, — говорю, — с новогодней ночью вам повезло. При-

дется устроить еще одну абсурдную съемочку. Придется для пущей абсурдности инсценировать казнь вами товарища Сталина на Лобном месте. Кинолента в сочетании с вашими, документально подтвержденными, алиби произведет на Иосифа Виссарионовича неотразимое впечатление. Он давно подозревает, что враг начал коварно использовать органы в кровавой борьбе против лучших кадров партии, против верных сынов народа.

— Мерзавцы! Фашисты! Садисты! Своими руками буду давить на кадыки! Пуль на них жалко!

— Пуль жалко, — говорю. — Товарищ Ежов призвал нас к экономии свинца и латуни, но не за счет сохранения жизни врагов... Значит, идея моя следственная вам ясна?

— Казнь обязательно инсценировать? Уж больно неприличное зрелище...

— Обязательно. Сталин не очень доверяет письменным показаниям и любит страшные фильмы. Я советую вам не рисковать. Чем правдоподобней вы будете выглядеть в роли палача, тем легче в сочетании с алиби вам удастся реабилитировать себя в глазах Сталина.

## 53

Чего вдруг, гражданин Гуров, прервав меня, вы поинтересовались судьбой князя? Сами не понимаете природы странной ассоциации.

О князе ничего не расскажу вам... Вам нет дела до судьбы моих друзей... Впрочем, настроение мое переменчивая штука. Князю удалось еще до войны бежать вместе с кузиной во Францию. Оттуда он перебрался в Штаты. Профессор-советолог. Однажды у министра я увидел его фото. Министр считал князя умным, но благородным врагом. Поэтому и мечтал от него избавиться. Но сам погорел, не успев подстроить князю автокатастрофу. О князе и о Пашке Вчерашкине еще будет у нас с вами речь впереди.

У вас, кстати, не пробудился интерес к собственному будущему? Мне ведь оно известно до мельчайших деталей. Позвольте мне секунду подумать, что для вас тягостней и мучительней: известность или неизвестность. Вы, не задумываясь, уверяете, что страшней неизвестность. Логично. Но мы пойдем другим путем. Вдруг известное ужаснет вас сильнее, чем ужасают предчувствия? Рябов!.. Врачиху давай сюда. Пусть она подготовит гражданина Гурова к приему информации. Я не рискую сделать это без легкого наркоза...

Вот что будет с вами через пару дней после того, как я доскажу свою мерзкую повесть, а вы расколаетесь в зверском убийстве Коллективы Львовны Скотниковой... Рас-

колетесь. Никуда не денетесь... Дайте пульс. Быстро! Пульс у вас, как у космонавта перед перегрузками... Вот что будет с вами через пару дней: фамильные драгоценности я прикажу возвратить их законным владельцам и наследникам, где бы они ни находились. Нам — графьям — это под силу. Весь антиквариат и картины будут вывезены, распроданы, а вырученные деньги под удобным предлогом я вручу людям, отсидевшим по вашей милости по десять и более лет. Многие еще живы. Список всех заложенных вами — в моей папочке.

Освежить желаете в памяти ряд фамилий?.. Обойдетесь? Хорошо. Трофим и Трильби будут переданы в цирк. Я знаю одну милую и не жестокую дрессировщицу... Электру, жену вашу, я поставлю... все-таки психотерапия — хорошая штука: пульс ваш в порядке... я поставлю вашу жену в известность о том, что вы — убийца ее матери и, конечно, любовник. Интересно? Встать с коленей! Не умоляйте меня, подонок! Не стучите зубами! Встать! Все будет так, как я говорю! На носу себе зарубите это! И это еще не все.

Дочь ваша будет дезавуирована, а сын ее от первого брака, внук ваш Федя, о существовании которого вы ни разу не заикнулись и, следовательно, у меня есть все основания полагать, что нет для вас существа на свете любимей и дороже, внук ваш Федя, славный, если справки не врут, молодой человек, узнает и о вас и о матери все до конца. До конца и со всеми подробностями! Дошло до вас это?..

Вот — моя казнь! И все вы взглянете в глаза друг другу. Долго будете смотреть и не будет вам неотложки. И не молитесь меня, падаль, о смерти и о самых страшных пытках взамен на милость оставить в неведении жену и внука. В милости вам отказано! Потом они уйдут, дав подписку о неразглашении, и я пристрелю вас как собаку. Сначала — в пах, потом — в живот, потом — в лоб. Виллу придется сжечь. Перед поджогом пули будут из вас вынуты. Пожарники — люди дотошные. Часть бумажных денег я тоже уничтожу. Остальные раздам своим волкодавам. Вот и все. Но произойдет это не раньше, чем я доскажу свою мерзкую повесть. Конец ее вам известен.

Я, как неудавшийся беллетрист, позволил себе пофиглярничать с композицией... Повторяю: не бухайтесь в ноги. Не про-хан-же!.. Не для того я мудохался четыре десятка лет в тюрьме своей жизни. Одним словом, пощады не ждите... Вста-ать!

Очухайтесь. Посмотрите репортаж о совместном отчете представителей творческих союзов писателей, художников, композиторов и киношников перед своими заказчиками и работо-

дателями — членами политбюро, генералитетом и несколькими тупыми представителями преступно оглуляемого десятки лет народа. Мне зрелище сие особенно интересно... Я насчитал уже двадцать три знакомых рыла. Их произведения вы читали, слушали и смотрели. Вот еще трое!.. Еще! Взгляните на лица! Взгляните! Восковой пафос. Бронзовое внимание. Сглатывание торжественных слез. Лучащиеся из глаз клятвы верности. Взгляните на лица!

В моем московском сейфе лежат записи их застольных, прочих светских и интимных разговоров. Все эти люди и многие им подобные ненавидят, презирают, считают сошедшей с ума советскую власть, а ее хозяев — бескультурными и бездуховными ничтожествами, выхолостившими души при подъеме по крутой лестнице к нынешним постам. Все это они анализируют, приходят к мрачным выводам о порочности всех этажей системы, хватаются за головы, рассказывают анекдотические подробности, но пишут они, падлы, при всем своем знании жизни страны и народа, другое. И неизвестно, о чем думают, привычно лицедействуя в данный момент на отчетном сборище. Стыдно ли им блядской, жалкой двойной своей жизни? Чем и как они подпитывают силу, год за годом подавляющую совесть? А ведь деятели эти еще не дегенерировали, как зачитавший клятву верности партии от имени писателей Валентин Катаев, чей одинокий драный парус, давно обретший скотский покой, желтеет от мочи и дерьма над высокой трибуной.

Вот встать бы сейчас нам с вами, на пару, спиной к президиуму, лицом к полмиру, приникшему к экранам, и рассказать все ту же самую мерзкую повесть о двух злодеях, двух героях своего времени, повязанных друг с другом сознательной ненавистью к Дьявольской идее, по-разному раскусивших ее, по-разному ее разрушающих и мстящих. Один мстит за искалеченную в самом естестве жизнь. Другой угробил жизнь, глуша обиду на мертвые, ложные идеалы детства и юности преступлениями, напрасным накопительством и разворотом, опустошившим душу. Но кто из нас больший злодей — неизвестно... Неизвестно. Впрочем, попытка посчитать свою вину, по слабости души, относительной — пошлая попытка. Я виноват не больше и не меньше кого-то. Я виноват...

Смешная картинка... Смешная... Палач с убийцей на вечно праздничном экране...

Странная вещь: вас подготовили выслушать в подробностях окончательный приговор, не подлежащий обжалованию, а вы — как огурчик. Ну, поползали по полу, повыли, шлепанцы мои чуть не сжевали, и — все! Причесались, высморкались. Да. Вы — как огурчик. Молодец. Держитесь. Палачам импонирует такая манера поведения... Или вы неспокойны на самом

деле, близки к помешательству, но настраиваете психику на спасительный лад? Отвлекаетесь? Вы мне немного напоминаете часть человечества, которая живет так беззаботно, как будто нет у нее возможности взлететь в любую секунду на воздух, успев или не успев окинуть последним взглядом сонм ненужных вещей, ложных целей и идей, владевших умами и душами, и единственную истинную, простую цель — ЖИЗНЬ, неотвратимо брызнувшую из общего сердца человечества, к ужасу и вине его уже бессильного что-либо изменить, угасающего Разума.

Ну и память у меня. Где моя папочка? Взгляните на кусочек из письма одного ученого, чуть не попавшего в психушку, общему собранию Академии наук СССР... Слово в слово я его процитировал... Ну что ж! Отвлекайтесь, гражданин Гуров. А может быть, для таких типов, как вы, ощущение нереальности смерти бешено увеличивается как раз при ее стремительном приближении?.. Так почему же, сука, вы не колетесь в убийстве приемной мамы и сожительницы? Почему? Вы возмущаете меня! Хотите тайну унести с собой в могилу? Не про-хан-же!

## 54

Не знаю, почему вспомнил я сейчас о хранящемся у меня рассуждении Фрола Власыча Гусева о феноменальном свойстве серого вещества человеческого мозга не чувствовать боли. В серое вещество можно вбивать гвозди, вливать дерьмо и серную кислоту, травить его можно «Солнцедаром», сивухой и гладить раскаленным утюгом. Вот Фрол Власыч и тиснул у меня в кабинете любопытное рассуждение «о нечувствительном к боли сером веществе мозга, как материальном субстрате человеческого Разума», увязав это поразительное свойство с одной из важнейших функций Разума — экспериментированием с Идеями — и с болевыми последствиями для человечества, животного и растительного миров такого беспардонного, по выражению Фрола Власыча, экспериментирования.

Я как-нибудь зачитаю это рассуждение. Вернее, я прочитаю его вслух самому себе...

Вам как-то не понравилось, что я, пропустив момент начала сталинской охоты на Сатанинскую силу, перешел сразу к вашему папеньке. Восполним пробел из-за немаловажности для нашего дела того момента:..

— Пойдем, Рука, в подземное царство, — сказал мне однажды Сталин. — Пора пришла.

Ночью спустились мы по мраморным ступеням ко гробу вождя мирового пролетариата, и меня подташнивало от впи-

тавшихся за день в мрамор стен испарений толп труподо-лопоклонников — взволнованных, праздных, любопытных, фанатичных и полоумных.

— Они там думают, что я сюда прихожу молиться, тогда как я спускаюсь сюда помолчать и подумать. Они там думают, что Сталин пишет от радости, если его называют Лениным сегодня, тогда как Сталин, к сожалению, всего-навсего — Джугашвили вчера, и от этого факта надо не писать, а плакать. Спасибо тебе, Ленин!.. Большое спасибо! Ты завещал нам прогнать Сталина, как собаку, с поста генсека. Клянемся тебе вновь и вновь, что мы с честью не выполним и эту твою заповедь!

Когда Сталин в мертвой тишине, подняв указательный палец, говорил: «они там думают», я чувствовал удушье и мне казалось, что и Сталин, и я заживо похоронены в мраморном подвале и избраны нечистой силой охранять труп желтого человечка в кителе с нагрудными карманами, потерявшего последнюю примету отношения к жизни — способность по-человечески разложиться в сырой, замечательной, с такой любовью сотворенной Богом земле, или стать хотя бы горсткой пепла. И охранять нам его мертвый сон непонятно сколько, может быть, бесконечно долго, пока Иван-царевич не даст знать о себе серебряным звоном лошадиных подковок по черным камешкам Красной площади, пока не сбежит он вниз по мраморной лесенке, не сбросит с гроба хрустального крышку, пока не расшевелит мертвеца и не скажет ему, улыбаясь: «Вставай, дядька! Вставай, да иди спать в постельку готовую, в теплую и пуховую!» И возьмет Иван-царевич желтого человечка на руки, как деток берут, заснувших в гостях от сладкого измора, и перенесет его на руках туда, где всем положено покоиться от века, и помолится на коленях, чтобы приняла Мать-Сыра Земля хоть что-нибудь, хоть клеточку одну, оставшуюся от человека несчастного, от раба Божьего — Ульянова Владимира.

Жуть пробрала меня, а Сталин, уверенный, что похоронил Джугашвили заживо по прямой вине мертвеца, который якобы жив, и якобы будет жить, окаменел от ненависти к Силе, бросившей его с какого-никакого, но с живого пути в мертвые тиски казенной службы. А в них уже не повертухаешься, даже если очень захочешь повертухаться: они там не дадут! Не дадут! Кто-кто, а он их хорошо знает! Он их творил по своему подобию! Не дадут! Не вымолит он у них за тихую, оговоренную любыми политическими условиями отставку ни глотка воды, ни вдоха воздуха на утренней улочке Гори, ни безымянного, унижительного по их мнению существования пастухом, сторожем, чистильщиком сапог, мойщиком посуды, служителем в рядовом морге. Не дадут,

проститутки вокзальные, жестокие, лживые! Всюду смерть...

— Иосиф Виссарионыч! — говорю. Вздрогнул, ожил рябой камень страдающего всемирно известного человеческого лица. — Может, и не та сейчас минута, и дурак я глупый, как всегда, но хочу обратиться к вам с просьбой.

Момент я, однако, выбрал правильно.

— Говори, Рука. Я хочу слышать голос. Говори.

— Дело ко мне поступило, Иосиф Виссарионыч, одного талантливого артиста ТЮЗа, Волконского Николая. Наследственность. Пьет парень. Гол как сокол. Дома — четыре угла. Только на стене черный громкоговоритель висит. Два угла проституткам сданы и вперед за три года пропиты, в третьем мать ютится больная, из бывших, княгиня-графиня, короче говоря. В четвертом углу — иконостас стоит. Не может его пропить Николай. Скорей подохнет, говорит, Волконский с похмельюги, но иконы не предаст. Не пойдет он по этому пути.

— Цитирует, — усмехнулся Сталин, презрительно кивнув в сторону трупа.

— Да. Не пойдет он, говорит, по этому пути. Тут, говорит, Волконский бесконечно возвышен над алкоголем и чтобы не впасть от возвышения в непомерную гордыню, обязан выпить рюмочку другим путем.

— Что же натворил этот... народный артист? — живо поинтересовался Сталин.

— Страшно сказать, Иосиф Виссарионыч, — говорю. — Уникальное в своем роде преступление. Статьи на него даже нет соответствующей в кодексе, хотя припать можно любую, от измены родине, террора против руководящих работников до халатности и кражи орудий производства.

— Рассказывай. Не знал, что в Советском Союзе есть еще настолько свободные в своих поступках люди, что уже и статьи не подобрать для их преступлений. Вот страну мне подкинули! — Неодобрительно и сурово глянув на Ленина, сказал Сталин. — Я слушаю.

Деваться мне было некуда, хоть я и понимал, что встрял с просьбой. Потоптался вокруг гроба и говорю, нерешительно мямля:

— Премьера была, Иосиф Виссарионыч, в ТЮЗе...

— Смелей! Не тяни кобеля за яйца: он укусить может! — ожил окончательно от каменной ненависти Сталин.

— «Великая семья», — говорю, — спектакль называется... В Симбирске дело происходит... — Сталин догадливо хмыкнул, закурил трубку, запах дыма перебил застарелую вонь людских толп, пропитавшую камни стен, и меня перестало тошнить. — Александра, брата ихнего, вздернули...

— Правильно сделали, задним числом говоря, — заметил Сталин. — Разве не в кого стрелять, кроме царя? Я же не

стал до революции царевубийцей!

— Вздернули братца... Они успокаивали мать... На лекциях Маркса читали... бузотерили...

— Кто они? — вскричал Сталин.

— Молодые, — говорю, — Ульяновы.

— Приказываю произносить: ОН.

— Есть! Бузотерил, программу начертал, что делать через два шага вперед... предвидел многое. Крупскую, вроде бы, еще девушку, на улице по сюжету встретил, а играл его роль Волконский Николай. Лоб здоровый, взгляд косой, прищур, скула, все — вылитое ульяновское.

— Очень интересно! Продолжай!

— Пьеска, честно говоря, говенная, Иосиф Виссарионыч. Бесконечно, более того, блядская и бездарная... Но...

— Именно такими и должны быть впредь подобные пьесы, — перебил меня Сталин, записав свою мысль в блокнотик. И я рассказал, как Коля Волконский под занавес проникновенно и страстно воскликнул: «Мамочка! Я пойду другим путем!», имея, конечно, в виду утренний подвиг отказа от предательской продажи старинного иконостаса и возвышения над алкоголем.

Весь зал, стоя и плача, аплодировал Коле Волконскому, сам того не ведая, что благодаря волшебной силе искусства аплодирует он в этот миг не туманно провозглашенной линии политического поведения молодого человека, еще большего злодея, чем его вздернутый братец, а истинно человеческому движению души падшего, погрязшего в пороке, голого перед лицом Бога артиста Николая Волконского. Три часа вживался он, преодолевая омерзение от пьесы, треск в висках, похмельный подсос под ложечкой, в образ студента Ульянова, но не поддался страшным пьяным утром соблазну пропить святыню и убить этим родную свою мать!

Его неистово вызывали «на бис», орали «Мамочка! Мамочка!», сходя с ума от желания услышать в страшной атмосфере тогдашней кровавой жизни человеческий голос, бросающий от любви и отчаяния, в сердце матери человеческие слова, вымаливали у Волконского последнюю реплику, но он бесследно исчез со сцены. Мама Ульянова, его братья и сестры, консервативные профессора Казанского университета, городовые, купцы, студенты, жандармы, шпики, стукачи, татары, извозчики, рабочий класс и обыватели, крепко взявшись за руки, низко откланивались важной публике. А Коля в этот момент уже бежал по улице в студенческой старорежимной фуражке, в кительке, в брюках и новеньких штиблетах в ресторан «Иртыш», что на Лубянской площади. Там он, подпив, расширил сосуды, разбил об столик фужер и сказал грубияну официанту, что тот грязная каналья, а он, Николай Волкон-

ский — молодой Ленин и сейчас в щепки разнесет весь этот похабный «Иртыш» вместе с остальным вонючим старым миром! После чего забрался на эстраду и картавым ленинским говорком произнес то, что он назвал на первом допросе сентябрьскими тезисами.

Получив разрешение Сталина, я повторил их. Молодой Ленин с кабацкой эстрады призвал братьев-алкоголиков вступить в «Союз освобождения рабочего класса от работы с похмелья». Просто в «Союз» он советовал ни за что не вступать, потому что всем уже ясно, чем это освобождение кончится. Затем, выхватив у старого цыгана гитару, молодой Ленин, освобождаясь от наваждения сыгранной роли, запел: «Эх, вы, рюмочки мои, да, эх, мои стаканчики!». Добрые люди вырвали Волконского из рук официантов и отправили в вытрезвитель. Там он читал наизусть монолог Герасима из инсценировки «Крепостное Му-Му», был побит санитарями и орал, брыкаясь и царапаясь, что он пошел своим путем. «Кого бьете, скоты?» — вопил Волконский, и сам себе отвечал: «Молодого Ильича дубасите!». Притих он уже у меня в кабинете.

Сталин еще до того, как я кончил докладывать, начал беззвучно смеяться. Он выдавливал из себя то взвизги, то писки, то писко-взвизги, и в паузах между спазмами смеха, тыкая пальцем в гроб, говорил: «Освобожденье... рабочего... Ленин напился... рюмочки мои... эх, стаканчики!..»

— Так что трудно мне, — говорю, — товарищ Сталин.

— И мне, — отвечает, — нелегко. Может быть, расстреляем артиста? Что же ему так переживать?

— Некому будет молодого Ленина играть, — говорю, перетрухнув за судьбу Волконского. — На премьеру пьесы представители нескольких компартий приглашены. Даже Геббельс просит разрешения приехать, хотя бы инкогнито. Выпечке мифов желает поучиться.

— Я тебя, Рука, на пушку брал. Я знаю, что ты антисоветчик еще больший, чем... — Сталин не закончил сравнения. — Мне артист симпатичен. Живой человек. Не то, что... — он снова не договорил. — Дайте артисту «заслуженного». Премиируйте крупной суммой. Деньги возьмите из моих гонораров за историю партии. Переселите Волконских в отдельную квартиру.

— С квартирами, — говорю, — очень у нас туго. Все хотят. Сталин снова взвизго-пискнул.

— Завтра... в доме правительства... будет полно... свободных, то есть осознанно... необходимых нам квартир... Смехунчик на меня напал...

Я подобрался весь после этих слов и понял, что — вот оно! Пришло-наконец мое времечко!

— Выдать артисту квартиру Тухачевского. Передайте, что если он не бросит пить — расстреляю лично. Нельзя огорчать маму... Бедная моя мама... Ты не будешь прыгать на сцене. Ты будешь спокойно спать в своей могиле. А этот... этот у меня получит то, что он больше всего презирал и ненавидел. Он получит бессмертие в говенных песнях, гипсах, чугунах, бронзах, гранитах, пьесах, фильмах и в этой тухлой каменной яме... Неужели в комнате Волконских нет ни вещей, ни обстановки?

— Все пропил, мерзавец, до простынок. Четыре угла и черный громкоговоритель, Иосиф Виссарионыч. А бляди велят клиентам со своими матрасиками приходиться.

— Завтра будет много вещей и много обстановки. Квартира Тухачевского набита реквизированной именно у Волконских мебелью и прочими ценными раскладушками. Пусть вещи встретят своих пропадавших черт знает где хозяев.

Елки-палки! Неужели он задумал крупную реставрацию? Елки-палки! Разделаюсь с убийцами и тут же махну в деревню, на земельку, на пепелище, и чтобы глаза мои вовек не видели всех этих гнойных московских харь! Сказка! Какая страшная сказка!

Так я тогда подумал.

— А проституток, — сказал Сталин, — выселите из первого и второго угла. Отправьте их вылавливать презервативы Зиновьева и Каменева из Беломорканала. Ты развеселил меня, Рука. Завтра Ежов начнет свое дело. Тебе же я даю зеленую улицу. Действуй. Но концы — в воду. Промашки не прощу. Кстати, помнишь крысомордика такого седоватого? Вышинский его фамилия. Не ликвидируй этого палача. Пусть он сам за право жить встанет у пульта машины смерти. Дайте ему орден за секретную разработку проекта полного уничтожения в советском праве презумпции невиновности. Проект рассекретить! Пошли, Рука! До свидания, Ильич!

Он так сказал это, пригладив усы, что мне показалось: труп хочет перевернуться в гробу, но не может ни разъять руки, ни шевельнуть ногами...

Странно, гражданин Гуров, что все-таки иногда бывает у вас голова на плечах. Не ожидал, честно говоря, что догадаетесь вы. Да! Николай Волконский и мой дружок по детдому — князь — одно лицо. Попер он в артисты от убийственной ностальгии. Играл в разных пьесах дворян, аристократов, помещиков, графов, князей, адъютантов царствующих особ и так далее. Линял, в общем, в прошлое. Ну, и запил, естественно, от мерзкого контраста между жизнью сценической

и советской. Повезло ему, конечно, сказочно, что попал из вырезателя на Лубянку, в мой кабинет.

Пить мгновенно бросил. Переехал в квартиру Тухачевского, пристреленного в наших подвалах. Мать князя, как увидела в спальне свою огромную деревянную родную красавицу кровать, так легла на нее и больше не встала. На ней она появилась на белый свет, на ней родила князя и его погибших в боях с буденновской ордой четырех братьев, на ней и умерла тихой, счастливой ночью во сне. О такой смерти вам, гражданин Гуров, теперь приходится только мечтать. Вы не позаботились о такой смерти при жизни. И я не позаботился. Не будем, следовательно, об этом думать.

Князь, между прочим, скромно и достойно отверг мое приглашение принять участие в терроре. Аристократ, сволочь!.. Из театра ушел, симулируя тик правой щеки, века и заикание. Симулировал гениально. Артист, мерзавец! Омерзели ему перевоплощения, а последней роли, от которой он не мог отказаться, чтобы не уморить больную мать голодом, князь себе простить не мог... Ушел из театра. После смерти матери махнул через границу... Крупный советолог. У него есть право им быть. И к маме хорошо относился. Не то что вы, гражданин Гуров...

В общем, на следующий день после ночного визита Сталина в мавзолей началось ТО САМОЕ, но в таких масштабах, которых я, откровенно говоря, не ожидал и не хотел. Размаха и характера террора, охватившего одну шестую часть света, объяснить рационалистически было невозможно. Здравый смысл бледнел, дергался и падал в обморок. Мучительные попытки тысяч людей, неповинных в чекистских зверствах и в принадлежности к партии и марксистской идее, мучительные попытки тысяч людей разобраться в происходящих на их глазах ужасах, кончались сумасшествием, арестами, разрывами и необратимыми травмами сердца, жаждой спастись любой ценой, атрофией души, проклятиями в адрес Господа Бога, трагическим сознанием вины и причастности творящемуся злу, убийственным подавлением голоса совести, умопомрачительными по цинизму, низости и неожиданности предательствами....

Вы можете сколько вам влезет ехидствовать, гражданин Гуров, над тем, что я «регулярно цитирую сочинения своих подследственных» и над тем, что я «зубрил, как школяр, бессонными ночами». Не зубрил. Сами врезались в память слова. А память моя была бездонной, ибо только вбирала, но не выдавала. С целыми поколениями людей происходила такая же штука в наши времена. Многие так и подошли, не разговорившись ни с близкими, ни с согражданами, ни с самими собой, что особенно комично, хотя и отвратительно.

Нет лучше примера и образа вырождения человеческой

личности в нашем новом мире, чем подобная многолетняя прижизненная и посмертная молчанка...

Дьявол просто гудел в те времена от удовольствия, как сухой телеграфный столб. Снова он собирал урожай. Снова гуляла его коса от Черного моря до притихшего океана. А то, что в бойне гибли лучшие сыны его Идеи, преданнейшие ее интерпретаторы, жрецы и ревностные стражи — все те же, кто с начала века до 1937 года ножами и кнутами вбивали дьявольскую идею в умы и души народов, населявших просторы Российской империи, избранной Дьяволом для проведения величайшего Эксперимента, то — ни хрена не поделаешь! Лес рубят — щепки летят.

А может, оно и к лучшему, что летят видные ленинцы, когда рубают лес народа стойкие сталинцы. Да и недовольны были последнее время некоторые ленинцы поведением Идеи. Ревизионизм червоточить их начинает, интеллект расплывается, совесть, бывает, пробуждается и, продрав залитые восторгом глаза, присматриваются они к советской действительности. И тогда изнывает у них душа в тоске по реальности, от которой, казалось, их навек отлучил Сатана. Пусть полягут. Новые взойдут на удобренных полях. И эти уже больше смерти будут бояться любых, даже самых мелких попыток подкопаться под его родимую идеюшку. Эти поймут, что вылезли они на свет Божий из-под ее юбки, и сразу, как полные ничтожества, отвыкшие от человеческих привычек и не имеющие простейших человеческих профессий, лишатся и социальной беззаботности, и нравственной безответственности, и портретов своих рыл на каждом углу, и ливадийских дворцов, и машины славословия, и сонма слуг, и бриллиантовых орденов, и охотничьих угодий, и мозговитых автоматов-референтов, думающих за них, сочиняющих речи и «Избранные произведения». А вне системы реферативного мышления руководителей, охраняемой всей наличной силой полиции и армии, они будут выглядеть, как потрошенные бараны. Как рыбы в воде они будут чувствовать себя только в кадучке реферативного мышления. А периодический террор — основная составляющая Великого Эксперимента. Пусть полягут старые и молодые верные союзники. Пусть! Новые взойдут.

После террора, как после грозы, после мора и глада, после потопа и землетрясения, устроятся они до отсутствия признаков Божественной Жизни Души, и не совесть, а низкий страх станет инстинктом их существования, и тогда — самое время подменить ЕГО реальность своей собственной, где под песенку о стройке царства Божьего на земле понаделают люди адских штук, способных вмиг уничтожить ЕГО творение, ЕГО землю, ЕГО жизнь...

Но вот вам — моя драма, гражданин Гуров, вот вам —

история моего адского самообмана, моего потрясающего заблуждения. Это уже после войны нашел я при обыске сочинение, открывшее мне глаза на тактику и стратегию Дьявола. А в тридцать седьмом я верил в существование негласного сговора миллионов людей, сознательно или по наитию сопротивлявшихся признанию прав Сатанинской Силы властвовать над умами и душами, выкорчевывать древо жизни из вековечного поля и вносить хаос в привычный миропорядок. Лично творя возмездие над палачами гражданской войны, прокурорами эпохских времен, карателями и идеологами коллективизации, особо уродливыми монстрами партаппарата, я старался карать избирательно в силу своего уникального положения при дворе. Невинных я лично не брал.

Некоторое время меня удерживал в заблуждении чудовищный энтузиазм масс, радостно принявших участие в побоище, и ощущение, что делается общее усилие вырваться из лап Сатанинской Силы. А из того, что ни палачи, ни жертвы не могли логически объяснить причин тотального террора и истребления тех, кто считал себя самыми верными псами идеи и системы, я сделал вывод о мистическом наступлении жизни на Дьявола. Так оно и было отчасти.

На уровне Сталина и его оставленных в живых соратников двигался конвейер, и большинство трупов на нем были достойны за все содеянное и смерти, и мук, и унижений. Рядом с ними покоились с пожатыми плечами, застывшими в жесте недоумения, честные, работающие, совестливые, деловые, самостоятельные, неглупые, въедливые, привередливые, радивые и прочие, имевшие положительные человеческие и административные качества, функционеры, хозяева наркоматов, армии, милиции, отделов ЦК, комсомола и пионерии, то есть все те, кто объективно, с полной отдачей сил, называемой энтузиазмом, трудился на Дьявола, придавая «зримые черты» его гигантскому проекту создания советской действительности.

Немного ниже Сталина текли конвейеры помельче. На них бросали трупы злодеев республиканского масштаба, а заодно и местную верхушку. В эти две основные поточные линии вливались кровавые областные и районные ленты конвейеров. Трупы летели с них в тартарары. Я имел возможность сравнить посмертные выражения многих знакомых лиц с прижизненными. Они не изменились. Но в белых и серых лицах некоторых трупов было больше жизни после смерти, чем при жизни.

Не буду говорить, сколько крупных волков-людоедов я угробил, и сколько раз, сводя их с ума мистификациями или нажимая курок, обращался я мысленно к отцу покойному Ивану Абрамычу. За тебя, отец! За тебя, моя мать! За всех невинно погибших!

Я носился по Москве, по республикам и областям на опермашинах, рубил направо и налево, допрашивал, брал, обыскивал, мстил и давал непременно понять, разумеется, подстраховавшись, что все, сводящее их с ума нелепостью и явной контрреволюционностью – месть! Мечь закономерная, жестокая, заслуженная и неотвратимая и для них, и для их общего дела.

Я разрушал в моих жертвах перед последней минутой жизни садистично и хитроумно веру в партию и в учение, и свидетельствую, что оставшиеся до конца твердокаменными были явными дегенератами. До остальных доходила вдруг возможность соразмерить образ истинной жизни с механизмом его умерщвления Идеей, и они ужасались совершенной простоте дьявольской диалектики, уничтожавшей в человеке под маской заботы о нем все человеческое: свободу, традиционные духовные и социальные связи, братскую мораль.

И когда кто-нибудь, это случалось часто, со страданием в голосе спрашивал гражданина следователя, не совестно ли ему навязывать подследственному фантастический сюжет дела о преступной попытке группы лиц, близких к Бухарину, украсть Лигу наций с целью дальнейшего шантажа цюрихских гномов и провоцирования нападения Англии на Советский Союз, гражданин следователь спокойно и мстительно переспрашивал: а не совестно ли вам и вашим коллегам по банде навязывать бредовый сюжет жизни крестьянину, который, поверив вашим байкам о земле, вложил власть в ваши руки, а теперь сослан в Сибирь с насыщенного предками места, с клеймом на лбу? Не совестно?

Литература, новым жанром которой стало следственное дело, говорил гражданин следователь, должна быть символическим отражением действительности. Вы нам – фантастику дьявольскую в жизни, мы вам – в деле. Подпишитесь, гражданин Идеюшко Макс Дормидонтыч в том, что вы изобрели для кремлевской больницы партию термометров, вредительски показывающих заниженную температуру организмов членов правительства, и готовились к выпуску градусников с гремучей ртутью, разрывающих на части больных ангиной и здоровых номенклатурных работников и их семей при температуре 36,6 градусов по германскому шпиону Цельсию.

Думаете, не подписывали? Подписывали в полной уверенности, что дело о градусниках с гремучей ртутью, запрограммированных на взрыв под мышкой Кагановича, всего-навсего – символ другого какого-то ужасного дела, в котором партия считает их виновными, а они, как члены партии, не могут не признать своей символической вины и понести за нее прямое наказание высшей мерой.

Ради эксперимента и одной своей потайной мысли я

пробовал разрушать так и эдак чувство веры у христиан, магометан, иудеев, буддистов, адептов Мирового разума, жрецов Вечной Гармонии и даже у любителей переселения душ из коммунальных квартир в отдельные. Были у меня и такие. Они — единственные из моих гавриков, отрeksiеся по крайней мере от веры в то, что желательное переселение произойдет при их жизни. Посмертное переселение лишало веру чудесного смысла. Остальные не отрекались, не сомневались, не теряли животворного чувства веры, сообщавшего их душам трагический и поучительный смысл происходящего. На все мои небезосновательные, но лукавые доводы относительно странного поведения Творца, не щадящего в бойне невинных и допускающего ужасы, противные душе и разуму, верующие спокойно возражали, что Творец абсолютно не ведает зла, но что все Зло мира регулярно возмущает сам человеческий Разум, утративший Бога.

## 56

Несколько раз я наблюдал, как Сталин подписывает смертные приговоры. Список лиц, рекомендуемых Ежовым к ликвидации, заставлял главпалача измениться на миг в лице, затем взять ручку, не читая подписать бумагу, и быстро пройтись по кабинету, резко меняя направление, оглядываясь, отмахиваясь, словно запутывая следы и спасаясь от наседавшей то сзади, то спереди Нечистой Силы.

...У него были симптомы общей болезни, большая часть общей мании величия и преследования и черты характера всего советского общества. И все это было порождено ненавистью и страхом.

Манию величия несомненно порождал страх отсутствия душевной жизни, ибо полная и нормальная душевная жизнь как человека, так и общества, самодостаточна и не нуждается в фанфаронском самовозвышении. Манию же преследования порождала и подгоняла ненависть.

Весь фокус тут в том, что Сталин, очумевший от мании величия, не мог себе представить, что люди ненавидят его меньше, чем он ненавидит их сам. Они должны ненавидеть намного больше! Следовательно необходимо обезопасить себя трижды. Проверить проверившего, проверенного проверившим, и снова проверить всех проверивших проверенных.

Легендарная железная логика, воспетая всеми, от Максима Горького до Лиона Фейхтвангера, загнала Сталина в тупик ипохондрии и одиночества, которые усиливались по мере того, как расстреливались тысячи потенциальных заговорщиков. Причины страха ликвидировались, а страх оставался. Власть была безграничной и неслыханной, а покоя не было.

Не было в истории человека, истерически восхваляющегося огромной пропагандистской машиной больше чем Сталин, но некуда ему было деться от сознания ничтожества, загубленности личного бытия и непомерной поэтому и переносимой на других ненависти к себе.

Правильно сказал мне один умник, когда я пытался, по долгу службы, поверьте, вербануть его затесаться в компанию литераторов, что личный покой — это воплощенная в состоянии самая невинная и достойная форма любви к себе. А себя он любит больше, чем советскую власть и ее органы. Поэтому подыщите, полковник, для ваших дел того, кому покой только снится, или того, кто себя ненавидит, а меня, пожалуйста, оставьте в покое. Наглец... Больше я его, однако, не беспокоил...

Я к чему все это набалтываю? К тому, что, наблюдая за Сталиным, я впервые с его помощью заметил, какую бессознательную ошибку совершают люди, ВЫХОДЯ ИЗ СЕБЯ, в желании избавиться от власти нечистой силы и убивая тех, кого в данный момент они считают ответственными за нарушение элементарных норм Бытия.

И вот Сталин пронюхал, как хороший сантехник человеческих душ, что миллионы людей, объевшиеся за двадцать лет туфтовой падали, лишившиеся в ходе Великого Эксперимента привычных представлений, расшатавшие себе все традиционные связи, потерявшие социальные и нравственные ориентиры, разлученные с близкими и религией, ошалевшие от перманентных стрессов и резких перепадов политического давления, чисток, проработок, театрализованных шельмований, отравленные пропагандой основной идеи, вот-вот смогут, в отличие от несчастных обезьян, собак и белых крыс, задуматься о причинах их вовлечения в эксперимент Разума. Тогда они поймут истинный смысл своего участия в нем и закономерности вырождения жизни Души в клетках и загонах советской действительности. Может произойти взрыв. Опасно.

Трупные яды тлетворной идеи гуляли, как бесенята, в Сталине и в организме страны. Нужно было очиститься от них, и всеобщее очищение было бы возможным при наличии одной единственно правильной линии отсчета вины. Отсчета не от ближнего, кем бы он, негодяй, ни работал, и как бы, сукоедина, ни насолил тебе лично, а отсчета вины от САМОГО СЕБЯ.

Сталин нелепо полагал, что не будь Маркса и Ленина с ихними разумными на первый взгляд, но в сущности античеловеческими и богоборческими учениями, то он, Джугашвили, с его гангстерскими замашками давно стал бы богачем и боссом и катил бы сейчас по шикарной автостраде на собственном «Линкольне» с летящей впереди собакой, напевая во всю глотку «Сулико» и поглаживая рукой в шофер-

ской краге нежную коленку Любки Орловой.

Но Дьявол с известного времени прописан, проживал и проживает в нас самих. При сведении счетов с Дьяволом не надо забывать, гражданин Гуров, что вы — его самое близкое от вас местожительство. Не надо бегать с топором или другим каким-нибудь излюбленным вашим холодным оружием по улицам, кроя черепа и дуря от чужой, якобы очищающей вас крови.

У Сталина, как и у всех людей, без учета относительных трудностей их жизнеположений, была возможность не обращаться с мысленными проклятиями к Марксу и не ходить по ночам в мавзолей осыпать последними ругательствами Ленина. Если трудно было разобраться в себе самому и подвигнуться на раскаяние, очищение и возрождение, взял да и вызвал бы в Кремль батюшку священника, а то и прошелся бы пешочком до любого уцелевшего от разрушения и открытого Божьего Храма, и там ему, ручаюсь, за полчаса самый неграмотный и неискушенный в богословских тонкостях батюшка поставил бы мозги на место, чтобы Разум пал на колени перед Душою, оскорбленной и убитой его участием в бунте против Жизни. Мог Сталин. И все могли. И, даст Бог, когда-нибудь смогут. Жизнь заставит...

Но тогда не смогли, и вместо чувства общей вины, всем даровавшего бы несомненно шанс на спасение от силы дьявольской идеи, получили возможность убить и посадить миллионы Дьяволовых, Дьявольсонов, Дьяволидзе, Сатанянов, Чертскаусисов, Роговых, Копытовых, Бескиных, Адовых, Мукоадских, Нечистолукавских и прочих Преисподних.

Подмена обращения взгляда в себя взглядом, узревшим причину зла в соратниках, в начальстве, в соседе, закономерно сделала направленной энергию мести, сведения счетов, и сама собой определила структуру террора.

За пару дней до последнего ночного визита в мавзолей известный физик-разведчик докладывал Сталину о ходе ядерных исследований в лабораториях мира и страны. В который уж раз он старался популярно изложить лучшему другу советской науки физический принцип работы ядерной бомбы. Сталин вдруг вышел на середину кабинета и весело сказал:

— Так значит это называется цепной реакцией? Мне она нравится! Мне она подходит! Я люблю, когда так называемый нейтрон налетает грудью на атом урана-238, взрывает его, а тот в свою очередь распадается и, главное, расщепляющихся ядер становится все больше и больше. Подобную цепную реакцию я поставлю на службу НКВД. Дайте физику орден Ленина за цепную реакцию!

Я ни черта не понял в этой реакции, но почуял: скоро начнем охоту. И не ошибся.

И вот оно — началось! И вот тогда до меня дошел физический смысл открытия века! Началась реакция сверху. Через некоторое время, поддержанная снизу обывателем, она усилилась и разгулялась вовсю. Попадавшие кое-где честные люди были не в силах удержать от распада в реакторе террора один, десять, сто, тысячу атомов ненависти, накопившегося возмущения, мести, бессмысленной жажды крови, садизма и карьеризма. Подлость расправ оправдывалась искренним убеждением, что она необходима в борьбе с врагами того, что прежде называлось уютной, спокойной и воистину свободной жизнью. Миллионы людей, хлебнув «демократии высшего типа», естественно заблуждались, думая, что вместо секретаря обкома в город въедет на белом коне благородный губернатор, а за ним — полки благородных чиновников различных ведомств, давших клятву содействовать благоустройству обывателя.

Тюрьмы и лагеря были переполнены. Подследственных держали в школах, детсадах, детяслях, на стадионах и в товарных вагонах.

Один конструктор получил премию 50000 рублей за проект следственно-судебного поезда. Поезд черно-белой полосатой каторжной расцветки состоял из пятнадцати товарно-пассажирских вагонов. Арестованный враг народа должен был пройти против хода поезда из переднего товарного вагона в пассажиро-канцелярский, где на него оформлялось дело. Затем — на остановке — судебный вагон. Стены его раздвигались, и жители одного из российских городов следили по замыслу молодого инженера за ходом короткого процесса. Стоянка следственных поездов, по мнению Кагановича, должна была неуклонно сокращаться, с тем, чтобы при коммунизме их вообще упразднить. Выслушав приговор, враг народа обязан был публично спеть песню Ильича и старых большевиков, дожидавшихся своей очереди в черно-белых товарных вагонах: «Наш паровоз, лети вперед! В коммуне — остановка!» Затем в зависимости от приговора врага отправляли либо в вагон-барак, либо в конечный вагон, который предполагалось назвать «кончаловкой». Крематорий, работавший на дармовой энергии околоколесного генератора, принимал врага, расстрелянного при переходе через вагон-выставку «20 лет побед и достижений». Пепел врага развеивался, вылетая из поддувала, по обеим сторонам дороги. В поезде имелась библиотека, кинозал, вагон-пытка и вагон-ресторан. На груди паровоза «Иосиф Сталин» конструктор уже видел устрашающий врага афоризм: «Был человек и нет человека». Под ним бронзовая подпись: И. Сталин.

Каганович подарил этот проект вождю 21 декабря 1937 года на день рождения. Сталин ознакомился с ним и сказал:

— Ты, Лазарь, самый глупый еврей из евреев, но инже-

нер-то что думал? Может быть, нам теперь выпустить эскадру следственных самолетов с решетками на иллюминаторах? Вы что, с ума сошли? Может быть, переделать «Аврору» в Бутырки?

Инженер этот был взят мною в поезде «Москва — Ялта». Дело его, не выходя из купе, я закончил за сутки. Он сознался в том, что сделал провокационный проект следственного экспресса «Следэкс» по заданию польской разведки, желавшей восстановить мнение Запада против Сталина. На перроне в Ялте мы простились. На прощание я сказал: был человек и нет человека. После чего инженера увезли в ялтинские подвалы. Случившееся он воспринял, как воспринимают возмездие: крайне неприязненно и с большим удивлением. Вот как...

Зачем я вам все это рассказываю? А я, собственно, рассказываю вовсе не вам. Рябов записывает нашу беседу. Я буду прокручивать запись до глубокой старости, а потом завещаю французской или итальянской детворе. Может пригодиться.

## 57

Короче говоря, смена руководства происходила повсеместно. Конечно, этим пользовались самые отъявленные злодеи, не верившие, повторяю, ни в Бога, ни в Идею Дьявола, и благодаря им государство становилось тем, чем оно является ныне. Структура его хорошо известна. Но укрепление государства проходило под все теми же лозунгами и не были провозглашены новые цели существования общества. Прежними остались и идеалы. Дьявол, казалось, заключил договор с партией. Он ей — неограниченную власть, она ему — лозунги, идеологию, цели. Это устраивало всех, включая Сталина. Сменить вывеску и выкинуть на свалку партийную религию он не рискнул. И поступил по-своему неглупо, потому что иной выбор привел бы его к краху и гибели... Но я забежал вперед.

Если бы в те годы какой-нибудь надмирный наблюдатель имел возможность присмотреться к образу поведения сотен тысяч людей, почувствовать их настроения и проникнуть в логику поступков, то его поразило бы безумие странного зрелища.

Одни старались первыми крикнуть «Враг! Враг!», спасая тем самым свое положение и застраховывая себя от ареста. Другие химичили доносы или публично шельмовали и партфункционеров и невинных граждан ради любой выгоды: ордера на квартиру, продвижения по службе и т.п. И те и эти поступали обдуманно и рассудительно. Ничего метафизического в их поступках не было.

Разумеется, о нечистой силе, о Дьяволе как Разуме, утратившем Бога, они не думали. Органической была уверенность, что Зло вообще и принципиально существует вне их самих. Поэтому не было зрелища трагикомичней, когда брали некоторых считавших себя кристаллически честными партийцами и только что угробивших других травлей и доносами. Тогда они вопили в наших кабинетах: «Вредительство! Мы напишем Сталину! Он вас расстреляет!»

Со стороны многие тысячи людей, бросившиеся в бой с теми, кто олицетворял для них нечистую силу, могли показаться людьми до смерти напуганными в ночном лесу мелькнувшей перед глазами тенью, треском сучка, шорохами, вскриком птицы, шуршанием гада. Ужас подбирается в такие минуты к сердцу человека, не отступает, переходит в наваждение, и чтобы избавиться от него, человек бежит по дороге, еще сильнее подгоняемый ужасом, или безумно воет, смелая от звука собственного голоса, и почти наверняка спятил бы от необъяснимого страха, если бы в последней отчаянной попытке одолеть чертовщину не бросался бы с палкой в чащу, колотя по ветвям, по притаившейся рядом тьме, кружась на одном месте и полагая, что кружением с палкой он образует вокруг себя мертвое пространство. Безумен вид такого человека, и спасение для него от сумасшествия иногда в том, что не может он взглянуть на себя со стороны и ужаснуться образу своего безумия.

А если так ведут себя во тьме душевной и в помрачении разума многотысячные толпы людей, преследуемые страхом, потерявшие ориентиры в кишасих гадами чащах коммуналок, в смрадных конторах, заваленных буреломом костей, в террариумах и лабиринтах бюрократии, если толпы людей колошматят, спасаясь от наваждений, кого попало, налево и направо, колошматят начальство, продавцов, спекулянтов, евреев, латышей, снабженцев, грузин, эскимосов, секретарей парткомов, профкомов, месткомов, командиров дивизий, хохлов, политруков, казаков, наркомов, секретарей ЦК, колошматят, откатываясь вместе с валом террора от Сталина, и вновь, по второму разу и третьему, топоча, проносятся с дубовой дрыной по поредевшим, припугнутым чащам и переставшим шипеть террариумам, то каким же безумным в тысячекратном своем увеличении показался бы им образ их собственных действий, взгляни все они на него хоть на миг со стороны?

Причем партийцы в эти годы колошматили обывателя, обыватель партийцев, партийцы друг друга сверху донизу и снизу доверху. Это была повальная, в сплошной ночи, населенной гадами, призраками и тенями страха, грызня, где разнуздывались все низкие страсти, усмиренные или припуг-

нутые человеком за истекшие тысячелетия и выпущенные на волю Дьяволом в очередной стадии Великого Эксперимента. И в этой темной ночной грызне каждый грыз другого, кусал, рвал и терзал ближнего, брыкался, впадая в конвульсии, тянулся зубами к горловым хрящам, мотал за космы, колодил башкой о камни пола. В этой крошечной грызне, разрываемой воплями и воем, по ошибке, бывало, грызли сами себя. В ней гибли совершенно невинные.

Постигнуть логику развития террора было абсолютно невозможно: она отсутствовала. Жертвы, фанатически убежденные в полной непричастности Сталина к развязыванию бойни, очень удивились бы, узнав, что он первый дал сигнал начала. Еще больше они удивились бы, что при всей видимости того, что Сталин непосредственный инициатор террора, он таковым, в сущности, не был. Просто он очумел, так же как все, от вселившихся бесов и от их дружного взаимодействия, породившего в миллионах людей ощущение присутствия в их жизнях одной, пронизавшей все закоулки мира, страшной всеисильной Силы, от которой, казалось, не было уже спасения.

Сталин покурился якобы невозмутимо трубочку, и поэтому даже самые приближенные не могли заметить, что и он, внутренне обезумев и воя от наседавшей на хвост нечистой силы, отмахивался дубинкой, кружился на одном месте, кусался, прятался, и чем спокойней он вел себя в то время внешне, тем очевидней для меня было, что это он притаился за кустом, стараясь ни дыханием, ни движением не выдать рыщущей нечистой силе своего присутствия в мире.

Но когда он подписывал смертные приговоры, давал указания, намекал, лукавил, шутил, благодушеествовал, можно было заметить и понять, что в природе каждого его слова, жеста и дела — страх погони и страстное желание раз навсегда отмахнуться от жуткой Силы, минутное освобождение от которой было иллюзией. Она таилась внутри него самого, так же как внутри всех жаждавших от нее освободиться. Поэтому и безумен был образ их действий, образ всего великого террора...

## 58

Без привлечения к ответственности Дьявольской Силы объяснения смысла многих явлений тех лет были неубедительными, поверхностными и тавтологичными. Дьявол заметал, как всегда, следы, подсовывая пытливым умам и возмущенным душам излюбленные и верные фигуры отвлечения от сути дела: вредительство, произвол карьеристов и т. д. Все это дало право одному моему подследственному попытаться передать на Запад рукопись книги «Метафизика террора». Донес

на него лучший друг, считавший метафизическую концепцию объяснения террора оскорбительной для памяти многих тысяч погибших в застенках Ежова и Берия «кристаллически честных большевиков». Причем друг не просто втихаря донес, а поставил эссеиста в известность о том, что идет на прием в НКВД.

Рукопись книги эссеист, по его словам, сжег. Я эту версию принял. Мы много беседовали. Вы познакомились, гражданин Гуров, с основными его взглядами, изложенными мной сумбурно, но в общем верно...

За долгие годы работы я заметил одну любопытную и глубоко взволновавшую меня вещь!

Среди тысяч прошедших в разное время через мои палацкие руки людей было очень много единомышленников. Связь их между собой исключалась. Но все они, словно сговорившись, в бесстрашных и откровенных беседах — допросах толковали о Дьяволе, приблизительно одинаково формулируя его сущность, как Разума, отпавшего от Бога, и поражая меня интерпретацией мировых катаклизмов и необычными историко-софскими построениями... Вы не понимаете, что это такое?.. Надо было читать больше, а не блядовать и пьянствовать... Вон у вас — библиотека уникальная... Вывезу я ее перед казнью... Вывезу!...

Так вот: временами многие подследственные, кое-кого из них я сумел освободить, казались мне членами одного ордена, тайным, неподдающимся разоблачению органами братством. Все они толковали о личной и общей вине, о гармоническом союзе в Человеке Разума и Души, о бедствиях, которые постигают как отдельного человека за время его единственной жизни, когда Разум, отпав от Бога, теряет связи с Душой, благодатно питающей его силы, так и Народы, общества и государства, переживающие отдельного человека, и миллионы людей, но наследующие их заблуждения, накапливающие век за веком, год за годом, день за днем их грехи и зло.

Братья (так не без зависти называл я их про себя) были непохожими друг на друга людьми с разными интеллектами, темпераментами, манерами поведения, нервешками и привычками, поклонявшиеся Ягве, Христу, Магомету, Будде и, как я уже говорил, Мировой Гармонии, Бесконечности, Изумительной Константе и Континуальному Потокту Сознания. Но то, что у партийцев, теряющих в своем стаде лицо, считается верностью уставу, было у братьев свободным отношением к глубоко прочувствованной истине. Вера в ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ, реализующийся в истории, содействие ему стремлением к жизни, сформулированной как цель человека и Творца, была неизмеримо животворней и достойней так называемой и чаще

всего фиктивной партийной дисциплины. Свет Образа жизни, Смерти и Воскресения Христа сообщал братьям во Христе смысл их нелегких судеб. Страдание они не считали незаслуженным и случайным... Ничего необъяснимого, на их взгляд, в терроре не было. Они ожидали его с непомерной грустью и мукой, чувствуя бессилие предотвратить надвигающийся мрак, и молились за изгнание Дьявола из душ людских. Они утверждали, что в силах человека оборвать на себе цепную реакцию распространения вражды и зла, предотвратить взрыв ненависти к Дьявольской силе обращением взгляда на свою вину или мгновенным прощением вины другому человеку, что равносильно обрыву в нем цепной реакции Зла.

Самым удручающим и приводящим Братьев в уныние было то, что пока еще доводы разума, отпавшего от Бога, более популярны среди массы людей, чем премудрость Божья. Ее они понимали как воспитанное в себе, если не дарованное от рождения, умение соразмерить в мысли и поступке временное и тленное с бесконечным и бессмертным и прикинуть, соразмеряя, что ты, теряя, приобретаешь и что ты, потеряв, приобретешь. Добро или Зло?

А вдруг, говорю я, Злу столько же срока, сколько Добру? «Сказано: Будьте как дети!» — ответил мне не помню уж кто, и добавил: «Жизнь бесконечно старше разума». Тут я решил его запутать. Если, говорю, она старше, то логично было бы отнести детскость состояния именно к младшему разуму!

Не ловите, говорит, меня на удочку, гражданин следователь. Не поймаете. Жизнь — вечная детскость, и вполне в наших силах быть детьми до конца дней. А чтобы рассуждение устраивало вас лично, на что мне лично наплевать, то я вам скажу вот что: да, жизнь старше разума, но в тот самый миг, когда он, завидую взрослости, отпадет от ее бесконечной наивности и доверия, а доверие это и есть детская неосознанная вера, в тот же самый миг он становится маленьким старичком, в котором осталось от жизни, если не выродилось, одно умение и одна страсть — логически мыслить. Будьте как дети, граждане следователи!

Пашка Вчерашкин зазвал меня однажды выпить и закутить в «Поплавок». Столик одинокий на корме не прослушивался.

— Ну, Рука, — говорит Пашка, — новая житуха начинается. Я уже прижал Идею к ногтю. Всех большевиков отовсюду вымел начисто. Евреев-технократов стараюсь не брать: думать будет и проектировать некому. Лучшие инженерные кадры России вырезал твой шеф. Пусть пока трудятся евреи. Придет время — прижмем. Из органов пошарим и из аппарата партийного. В институтах нервишки потрепем. Хватит. Завоевы-

вайте Палестину и гуляйте как знаете. Я бы лично самое для них из сочувствия завоевал. Клянусь! Я не фашист, но не желаю, чтобы за меня решали горячие еврейские головы судьбы России. Так что пушай пока трудятся мои евреи. Они ребята деловые, неглупые и уstraшены как следует. Не скоро очухаются. Наш же русак, Рука, ты не представляешь себе, как деморализован. Гражданская, НЭП, коллективизация, индустрия, между ними аресты, кампании, чистки, бунты, митинги, трудовые вахты, собрания... Вася! Очумели мои вассалы! Очумели от этой идейной, мать ее ети, жизни! Руки у них опущены, только молодые кретины трудятся не из-под нагайки. Остальные пьют, воруют, сачкуют, держат камень за пазухой. Сейчас хоть вздохнули немного. Почуяли, вроде меня, что свежачком повеяло. Дай-то Бог! Дай-то Бог!.. Будь здоров! За твою работенку! Ты у нас на переднем крае! Пересажайте большевичков, как можно больше. Я прикидываю, что годочка через четыре снимаю я на хер весь красный цвет с домов и стен, книги на макулатуру отдам кое-какие, а то говно печатают всякое марксистское, а на «Графа Монте-Кристо» бумаги не хватает... Церкви пооткрываю, чтобы совести мои русаки там набирались, а не в каталяжках, месткомах и вырезвителях. Я уже проект восстановления частного хозяйства и снабжения начирикиваю потихоньку. Жить по-человечески начнем. Мы же суши сколько имеем, Вася! Страной великой стать можем, а не большевистским пугалом, набитым жестокостью, детдомовской ложью, кнутами, онанизмом и уроками всяких биографий... Наливай еще!.. Все-таки хоть и злодей Сталин, а мудёр! Мудёр! Сними он сейчас вывеску и красноту со стен — с ходу разброд начнется... Думать страшно — какой!.. И нас с тобой пошарят почище, чем шарим их мы! Помни мое слово. Нам, Вася, нужна рука Сталина, моим вассалам — моя. Сильная причем. А вот без твоей лапищи я лично обойдусь. За Руку, Вася!

Выпили. Не стал я тогда делиться с Пашкой своими мыслями. Я-то чуял, что дело идет совсем к другому. К войне. Но думать об этом было страшно. Невозможно было об этом думать. Речь уже шла не о междоусобной резне сук и урок. Не стал я делиться с Пашкой ни тоской, ни тревогой, чтобы не омрачать его. Посидели молча. Подумали каждый о своем.

— В конце концов самого главного, — говорит захмелевший Пашка, — мы добились. Идеи коммунизма теперь нигде, кроме шизоидных и механических мозгов некоторых придурков, не существует. А если вывеску заманчивую содрать с нашего бардака не удастся, то хрен с ней. Пушай висит. Пушай придурки из газет, радио, кафедр научного коммуниз-

ма, союза писателей и прочих союзов роются пятачками в кормушках. Не исключено, что пропадем мы без них. Как думаешь?

— Наверно, — говорю.

Мне все тоскливей становилось на душе и тоскливей. Очередной, третий за полгода приступ непонятной тоски охватывал мою душу и тело. Водка текла в меня, и превращалась в горле в льдинки, и испарялась от нечеловеческого холода, не успев разобрать и одурить подобием веселья. И все-таки я на миг повеселел, когда сказал Пашке, что, может, и вправду все образуется.

Разве представляли многие людоеды в двадцать девятом, когда они кроили черепа троцкистам, садились в их кресла, ложились на их кровати, стреляли в крестьян и закабалили деревню, что меньше чем через десять лет сами они на мертвенно-серой ленте конвейера смерти потекут в печи крематориев и в лагеря со всех концов одной шестой части света? Что, может, и вправду конец приходит дьявольской идее и втянувшему в свои бесчеловечные лаборатории миллионы людей социальному эксперименту?..

Подобно тому, как на дверях павильона нашей лубянской киностудии горит табло: «Тихо! Идет съемка!», а в самом павильоне операторы, режиссеры, актеры, осветители, ассистенты жрут, пьют, блудят, режутся в карты в перерыве между съемками следственных эпизодов, так и на стране будет висеть вывеска «Социализм», но под ней заживут по-новому, по-человечески миллионы людей, выпущенных из клеток лабораторий, из-под скальпелей вдохновенных хирургов, из лабиринтов психологов, из электропаутины нейрофизиологов, из реторт химиков и фармакологов...

Мы с Пашкой говорили и в детдоме и в «Поплавке»: как же так происходит, что многие люди на Западе не только спокойно наблюдают, но и восторженно аплодируют проводимому эксперименту? Почему торжествует их Разум? Какие «научные открытия» большевиков приводят в восторг не только коммунистов и социал-демократов, но и ученых, и писателей, и деятелей искусств, и обывателей, и либералов, и прочих праздных наблюдателей? Так какие «научные открытия»? Красный террор? Но ведь исторически террор не раз переживали Франция, Германия, Англия, Испания, Италия, Бельгия, Азия и Восток! Коллективизация? Может, их восхищали организованные активистами и выдаваемые за стихийные, демонстрации верности и любви к правительству? Или изумляло трогательное трупидолопоклонство, тоже, кстати, навязанное массам, которым извратили и изуродовали инстинкт поклонения Высшей Силе, но внушили любовь к убийцам, топчущимся на трибуне мавзолея? Может быть, восхищение вызы-

вала смелая экспериментальная попытка превратить сообщество свободных личностей в безликие множества толп? Уничтожение сущности искусства соцреализмом? Организация «института» концлагерей для сотен тысяч несогласных участвовать в эксперименте? Праздно наблюдавшие со стороны за ходом эксперимента, они верили не информации и душераздирающим свидетельствам, а Ромену Шоу, Лиону Роллану и Арагону Барбюсу, которым Сталин устраивал показательные «шоу» в Крыму, клубах, детсадах и на пейзажных лугах, заставленных бутылками «Хванчкары» и жареными поросятами. Другие же праздные зрители, толпившиеся перед клетками наших лабораторий, верили информации о жизни и духовных мучениях многомиллионного народа, но продолжали наблюдать, аплодируя острым, порой захватывающим дух зрелищам.

В чем психологическая разгадка такого бездушного и бесчувственного отношения к образу существования подопытных людей? В чем сущность феномена привлекательности зрелищ чужих страданий, чужих смертей и разных фокусов, проделываемых с человеком? В том, что они ЧУЖИЕ! В человеке...

Да, гражданин Гуров, я снова пользуюсь чужими мыслями. Да! Я ими напичкан! Да! У меня нет самостоятельного мышления! У меня есть зато самостоятельное отношение кое к чему, благодаря знакомству с прекрасными и выдающимися подследственными, а не с такими, как вы, суками и злодеями. Молчать! Я сказал: цыц!..

Человек, говорил Фрол Власыч Гусев, при неизбежном инстинкте постижения природы боли и смерти, по-разному, к сожалению, реагирует на боль и смерть ближнего. Есть подвиг помощи, происходящий от невыносимости бездеятельного сопереживания. Есть подвиг спасения другого ценой своего здоровья и жизни. Есть искреннейшее сочувствие. Есть паническое бегство от образов калек, стонающих и обреченных, и есть муки души, бессильной как-либо помочь страдающим, спасти приговоренных, облегчить боль мученикам. Имеются многочисленные одиночки-исследователи собственной боли, забыл, как они именуются, а также тонкие и грубые исследователи боли чужой — садисты. Хирургию Фрол Власыч Гусев весело называл садизмом на службе человечества... Но есть люди, со страстным любопытством и интересом созерцающие уныло бредущую на объект серую толпу заключенных... шимпанзе, безумящего от полового акта любимой самки с другим везунчиком... дергающегося в последних судорогах красавца, угодившего под троллейбус... В людях этих в момент созерцания функционирует только мозг, как материальный субстрат Разума, сам не чувствующий, но бездушно обрабатывающий информацию о чужой боли, унижении, страдании и смерти. И созерцатель, чаще всего бессознательно,

настолько рад возможности, получив представление о том, что могло произойти с ним, но случилось с другим, настолько рад и счастлив, что сам и здоров, и жив, и свободен, что возникшая однажды в его мозгу при виде чужого страдания иллюзия самоизбавления, должна отныне поддерживаться, чтобы стать привычной. Попытки разрушить ее призывами «консерваторов» к сочувствию, прозрению, предупреждениями о самоубийственности бездушия и надвигающейся лично на него гибели, созерцатель воспринимает как покушение на его ВЗГЛЯДЫ, невольно раскрывая этим словом природу подобной созерцательности. За отражение себя в зеркале он принимает живую мучающуюся душу, терзаемую живую плоть и зачастую всемерно содействует тому, чтобы не поменяться местами с отражением. Такое поведение со временем омертвляет душу и становится цинично-преступным.

Фрол Власыч не настаивал на абсолютной правильности своего анализа. Но утверждал, что так называемые прогрессивные люди доброй воли, большие друзья Советского Союза, как их официально и пошло именует проститутская пресса, потому именно страстно «интересуются» трагической, нелепой историей СССР и неимоверно трудной судьбой его измороженных лишениями, войнами, лагерями и бесправием народов, что они не желают видеть себя на нашем месте. Им стало бессознательно привычно, Фрол Власыч часто подчеркивал бессознательность такого отношения, привычно наблюдать за Великим экспериментом, считать нас вечными подопытными пионерами, но не допускать мысли о начале эксперимента и, тем более, своего в нем участия, скажем, в Норвегии или княжестве Лихтенштейн.

## 59

Порядочно провозились мы с этим террором. Завтра праздничек. Мой день рождения. Ангел-хранитель, не страшно ли тебе, ангел мой?..

Я почему-то думаю, что это он нагонял крылами тоску на мою душу, когда уже перебил я своими руками весь понятевский отряд, узнал, что вы якобы провалились под лед и продолжал выполнять служебные обязанности по уничтожению дьявольской идеи и ее бесов. Тосклива была моя жизнь. Тосклива была, сука. Ужасно тосклива. Хорошо, что она позади...

Я редко приходил в свою квартиру. Квартира казалась мне мертвой. Я, встав на пороге, чувствовал себя душой, зашедшей перед тем, как отлететь за пределы, проститься с обителью, покинутой телом графа Монте-Кристо. Все ненавистно мне было в той квартире. Впрочем, ненавистно и сейчас... Отлететь... Отлететь... Только книг жаль было. Не хотелось бросать их.

Я оглядывал медленным взглядом прихожую с громоздкой, пустой, ненужной мне вешалкой. Зимой на ней висела моя фуражка, летом — буденовка проклятая с рогом на макушке, потом ушанка. Вешалка была красного дерева. На ней виднелись детские царاپины: «Барон дурак!» «Кэти + Гога = любовь». «Смерть генералу Франко!» Тоскливо мне становилось от ясности, чьей была вешалка и в чьих руках побывала. Не раз хотел я повеситься на чужой вешалке. Однажды уже галстук накинул на шею, но мыла не нашел. Разозлился. Пошел по магазинам. Штук пять-шесть на своей улице обегал. Ни в одном мыла не оказалось. Захожу к директорской рожке. Почему, спрашиваю, сукин сын, мыла в продаже нету? Самоубийц, что ли, много развелось? Отвечай! Книжечку красную сую в багровую харю. Вредительство, отвечает, по всей видимости. Возможно, трудности роста. Надо бы врагов народа на мыло переваривать. Хоть польза была бы от них какая-нибудь, товарищ капитан!

Из тебя, говорю, даже хозяйственного не получится, не то что туалетного. Потом воняешь и жульничеством, сволочь... Возьмите, предлагает, мое. Сегодня только начал. «Красная Москва». Взял я кусок мыла розоватого, а в нем рыжий, впившийся директорский волосатина, как глист, извивается... Плюнул. Домой пошел. Салом, думаю, намажу. Думаете, было сало в гастрономе?.. Возвратился в квартиру. С порога в комнату прохожу, не глядя на вешалку. Книги свои увидел и забылся. Много было у меня книг. Бесценная библиотека. История. Философия. Классика. Весь Дюма.

Прекрасная у меня библиотека. Лучше, чем ваша, хотя и дешевле. Книг вам жалко, небось? Вы ведь их Феде завещали... И засыпал я всегда с книжкой в руках и со страхом снова увидеть во сне отца.

Года за два в снах своих я прожил целую жизнь с отцом, с матерью, с братьями, в деревне, в одном, и зимой, и весной, и летом, и осенью, труде. Я рос, пас коров, носился на лошадях, справлял Рождество, Пасху, Троицу, лопал кислые щи с грибами, картошку с салом, собирал ягоды в малинике, и девок там же обжимал, в баньке нашей парился, и таскал рачков из-под коряг в прохладной ивовой тени. Потом время пришло отца и мать хоронить. Вместе, во сне они умерли на Покров... Хоронил я их с женой Дашей и детишками. С моими детишками... Потом парнями, потом отцами. И вот уже они и внуки наши меня с Дашей хоронят. Лежим мы с ней рядом, веселые и пьяные от жизни прошедшей... слезки смолы на свежих досках гробовых... Земля нас рядом ждет сырая... Березы и рябины шумят над нашими глазами... и горит от красных гроздьев синее последнее наше небо над землей... Птицы летят в него и возвращаются наземь...

Дети, бабы и внуки тоже, вроде нас, веселы и светлы. Завидуют. Скоро встренемся, говорят... Прощай, Даша... Прощай, Васенька. Прощайте, родные... Простите... Вот заслонила крышка гробовая Божий свет... И померк он вдруг совсем, а родная земля неслышным пухом слетала и слетала на нас... Слетала... но до сих пор она летит. Летит... летит...

А отец с того раза, как приснился он умоляющим меня бросить месть, простить, чтобы встретиться нам в свой час, чтобы свидеться и навек не разлучаться, так больше не снился, пока меня самого во сне не схоронили... И тогда, стоило мне уснуть — или его голос, или самолично отец умолял меня: Оставь их, Вася, оставь!.. Без тебя осудят, без тебя простят! Оставь! Не то не встренемся мы, Вася... Оставь!

И отца уводили во тьму кромешную то контролеры, то генералы, то Понятьев с Влачковым и Гуревичем, то красные дьяволята, с черной площади, по которой тянулся аспидно-слизкий след хвоста дракона... Но это Сатана, думал я, призывает меня с отцовской помощью отвлечься от возмездия. Я отвергал мысль о прощении, и не было в душе моей сомнения... Я казался себе воином воинства, двинувшегося на дракона, и, не жалея сил, рубал одну, другую, десятую, сотую головы.

Граф Монте-Кристо сутками не выходил из кабинета. Допросы и казни. Казни и допросы. Допросы — казни. Допросы — пытки. Мистификации, вроде той, что я устроил Влачкову, объявив о реставрации в России монархии, мне постепенно надоели и перестали утолять жажду мести. Из всех своих выдумок я оставил одну, самую, как оказалось, жестокою и садистскую. Наш главный имитатор Наркомата записал для меня на пластинку экстренное сообщение Временного общесоюзного вече. Лже-Юрий Левитан торжественно басил, корежа остатки психики большевиков:

Сотраждане! Свершилось! Величайший в истории социаль-но-политический эксперимент закончен! Сегодня, седьмого ноября тысяча девятьсот тридцать восьмого года, в восемь часов семнадцать минут утра по московскому времени Научно-координационный центр ВКП(б) принял отставку правительства во главе с Вячеславом Молотовым. Двадцать один год продолжалось беспримерное по количеству жертв и усилий доказательство исторической, нравственной и социальной несостоятельности так называемого научного коммунизма, отцы которого, поставив с головы на ноги Гегеля, стали прямыми пособниками субъективно-идеалистической философии...

В конце сообщения, после всякой подобной чуши, Лже-Левитан торжественно произносил:

— Вечная слава героям, погибшим и пропавшим без вести в ходе проведения эксперимента! Очистим просторы нашей

родины от марксистско-ленинской нечисти! Цели ясны, задачи определены. За работу, господа! Прием обратно партийных билетов будет проводиться организованно в местных парторганизациях. Да здравствует свободное предпринимательство! Да здравствуют инициатива и ответственность! Дружно восполним экспериментальный пробел в истории раскрепощенным трудом! Слава Богу!

Типы, ошарашенные арестом, обыском, тюремным бытом и сознанием бесправия, оставались голыми и беззащитными перед мистификациями. Деморализованные установками своей ложной религии, вмиг развеявшимися в дым, они верили в окончание эксперимента.

Заклавшие их на гибель и тюрьму люди вели себя психологически примерно так же. Затюканные за двадцать лет своими нынешними жертвами, они поверили в возможность, пролив кровь и сведя счеты, возвращения к нормальной жизни, регулируемой не параноиками-экстремистами, грызущими друг другу горла, а собственными извечными законами.

Рук тогда не хватало разбирать кипы писем-доносов. Не хватало людей выслушивать в приемных наркомата и управлений в областях и республиках фантазии доносчиков и их кроваво-рационализаторские предложения. Вся энергия, накопившаяся за два десятилетия в вынужденно бездеятельных умах, отчаянно бросилась в сочинительство. Доносы одно время были для меня увлекательным и страшным чтивом. В них всплывало все затопленное чертовыми валами революции, гражданской войны, репрессий и терроров: обиды, утраты, лишения, здравый смысл, прозрения, отказ от большевизма, вопли о помощи. Но всплывали в доносах трупы, и только такой опытный, правильно настроенный эксперт, как я, опознавал в фантастических наветах трупы страданий, ущемлений, надежд, любви, покоя и комфорта обывателей... Трупы синели обложками дел, разбухали и разлагались, и я кормил трупным ядом тех, кого искренне считал виновными и посеявшими ныне взошедшее, затопившими ныне всплывавшее.

Всеобщая жажда мести омертвляла благие подчас намерения доносчиков и борцов с дьявольской силой. Трупы плодили трупы. Смысл жизни еще больше замутнялся. Непонимание окостеневало, рядясь в иные лозунги и принимало новое качество. Но энергия масс, влейся она не в доносы и в акты мести, а в общее уразумение и покаяние, напитала бы душу общества животворными силами, а не мертвыми символами расплаты, очистила и возродила бы ее для участия не в «эксперименте», а в более совершенном и открывающем новые горизонты бытия круге жизни. Прав был Фрол Власыч Гусев, а не я, принимавший просьбы отца о прощении, возвращении к крестьянскому труду с крестом своей судьбы на хребтине,

за искушение Сатаны оставить стремление к праведному возмездию. Прав был Фрол Власыч... Прав был ты, Иван Абрамыч, а не я — полковник Рука, палач высшего класса, погубивший свою душу в напрасной и смертельной суете... Стоп! Я увлекся.

Вдруг до меня дошло, что очутился я по воле Дьявола не в круге новой жизни, как ожидал, а все в том же мельтешении смерти. Выживали в терроре более циничные, злобные и бездушные партийцы, хотя и их полегло немало, а гибли, в общем, стрелочники, сцепщики вагонов, проводники, кондуктора, начальники станций, диспетчеры, начальники депо и дорог. Но оттого, что они гибли, расписания поездов не менялись. График движения паровоза к коммуне был пересмотрен. Срок прибытия его к конечному пункту на вечную остановку значительно приближен. Пункт был не за горами. И машинист из-под ладони разглядывал, бывало, поговаривали писатели, его зримые черты.

Вдруг дошло до меня, что не борюсь я с Дьяволом, а служу ему. И чем большими считаю свои заслуги в борьбе, тем больше приношу ему, змею, пользы. Если бы, конечно, это дошло до меня в полной мере, то я повесился бы в конце концов...

А пустить себе пулю в лоб, гражданин Гуров, не мог по каким-то неведомым мне причинам. Да и не может не наличествовать в нас, злодеях, смутной, если не явной избирательности способов ухода из жизни, захоронения и воскрешения. Что мы, не люди, что ли, в конце концов? Перестали... перестали быть людьми... нет у нас христианской жизни, не будет у нас ни христианской кончины... ни... Впрочем, нить нечего! Хотя жизни, гражданин Гуров, осталось у вас с огрызок карандашика, лежащего в моей папочке. Забыли? Принадлежал карандашик веселому и свободному, как птица, старичку... Вот он. Взгляните на него... Странно... Странно, что вы сейчас спокойней, чем несколько дней назад, когда не видели еще зримых черт смерти! Или вы не спокойней, а безжизненней?

## 59

И вот дошло до меня слегка, что я сам Чертила и сволочь. И не от трезвого понимания и анализа обстановки приходили сомнения, терзания и страх, а от ведения дел таких людей, как Фрол Власыч Гусев — покровитель людей и животных.

Ощущение жизни я терял, как мальчик денежки из дырявого кармашка... Просыпался то в квартире своей, то в кабинете и таращил глаза на стены: соображал, где нахожусь. И не сразу, а тупо и неохотно проникался сознанием того,

что в жизни я нахожусь и нужно через десять минут вызывать на допрос подследственного.

Я шел в служебный сортир и как бы со стороны наблюдал за мочившимся заспанным типом в мятых галифе и гимнастерке с расстегнутым воротом. Вот он помочился. Сполоснул рыло. Причесал космы. Странные движения. Странная необходимость, природа которой непостижима, мочиться, умыться, да вот еще и чай пить с бутербродами и в черно-белое месиво смотреть, называющееся «Правда», и брать трубку, приказывая привести Фрола Власыча Гусева, руководила действиями странного типа. Понимает ли он, что спал он и снилось ему, как жена Даша в погреб не может спуститься: такое брюхо у нее вызрело огромное, круглое и живое, и тогда он сам нырнул из прожаренной солнцем полудня хаты в темный ходол подполья за крынкою топленого молока?..

Это — не жизнь, если нежелание расставаться со сном было сильнее жизни... Это — не жизнь! Это — не жизнь! Я так и крикнул однажды, взвыл, проснувшись, и на крик, случайно услышав его в коридоре, в мой кабинет заглянул начальник отдела. Почему, говорит, не жизнь? Да потому, отвечаю, очухиваясь, что чернил ни хера нету в чернильницах и вечных ручек завхоз не выписывает!

Берет начальник трубку и говорит:

— Иван Иваныч! Здравствуй, дорогой. Валецкис говорит. Слушай, голубчик, нам тебя расстрелять придется... Верность-то идеям у тебя есть, а чернил нету. Без чернил нам нельзя. Чернила, милый друг, не кровь. Точнее — они кровь нашего дела. Не обескровливай уж, пожалуйста!

Ушел он, но мертвецом чувствую я себя и все снова засыпаю за столом. Вздрагиваю. Продираю зенки. Соображаю, где я и кто я...

Однажды, когда мне казалось, что подохну я ровно через миг после окончательного пробуждения, и тоска приближающихся дел мутно подступала к горлу, конвоир вдруг ввел в кабинет Фрола Власыча Гусева, и не то чтобы ко мне сразу возвратилась моя жизнь, а сама жизнь, реальная жизнь, не нуждающаяся в трудном, медленном осознании, подтягивая на ходу брючки и зевая, подошла к моему столу и сказала:

— Доброе утро, гражданин Следователь.

Сел он. В окно глядит. Взгляд перескакивает с капель на капли, падающие с карниза. Улыбается. На худом смуглом морщинистом лице выражение полной беззаботности и одновременно ужасной занятости. Лицо человека, занятого, как это ни странно, истинным делом. Рот приоткрыт беззубый. Ноздри трепещут... Зажмурился, словно хватанув от жадности весеннего солнышка, не хотел выпускать его из глаз, обкатывая там, за бледными, усталыми веками теп-

лый, сладостный лучик, как обкатывает младенец конфетку...

Да! Младенчеством, счастливым и ничем не замутненным веяло на меня от Фрола Власыча, и я, забыв о смущении, выпитывал в себя то, чем он со мной радостно и щедро делился — жизнь...

Между прочим, у него было одно из тех лиц, которые на первый взгляд не то что не производят впечатления открытости, жизнерадостности и беззаботности, а наоборот: говорят о своем хозяине как о человеке жестком, замкнутом, неврастеничном и вечно недовольном. Я усмехнулся, подумав о лице, как зеркале души.

— Глаза, — говорю, — не поломаете, следя за каплями?

— Нет! Нет! Что вы! Не беспокойтесь! — говорит. От капель, однако, отвлекся. Портреты разглядывает. Переводит улыбающийся, но полный каких-то мыслей взгляд с Ленина на Сталина, со Сталина на Маркса, с Маркса опять на Ленина и с Ленина на Дзержинского. Я привык лиц этих не замечать, но отвратительно раздражался, когда казалось, что чувствую своей шкурой, своим затылком из взгляды.

— Ну, что, — мрачно спрашиваю, тщательно скрывая удовольствие, которое доставлял мне всем своим видом этот человек, — будем сидеть и улыбаться?

— Конечно. А что еще, собственно, делать?

— Показания давать! Где вы были двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот тридцать пятого года?

— Нет уж! Показания вам нужны, вы их и давайте. А я все подпишу из расположения лично к вам. Но могу и не подписать, если шлея под хвост попадет. Я, как это ни странно, человек свободный.

Глаза у меня сладко, сладко слипались от звука его голоса и веселой, бесконечно спокойной, вызывающей страшную, жадную зависть манеры говорить. Я чувствовал себя пацаном, обожравшимся щами со свиной, в послеобеденной полудреме забирающимся на печь... Сил нет забраться... Сплю... С лавки вот-вот грохнусь... Засыпаю...

— Возьмите, — говорю, зевая, — ручку, бумагу и напишите что-нибудь по существу дела... А я прикорну на диване. Устал.

— Чудесно! Постараюсь вас не беспокоить. В котором часу разбудить?

— Сам проснусь...

Месяца три общался я так с Фролом Власычем. Отдыхал пару часиков, сил и жизни набирался, а он катал себе свои байки, рассуждения и трактаты. Все они — в моей папочке. Некоторые мысли из его сочинений были мне знакомы и раньше, многие я узнавал потом, беседуя с единомышленниками Фрола Власыча. Распознавать их я научился безукоризненно

по тому же образу мыслей и жизненастроению, и не переставал удивляться поразительному единомыслию и единодушию подследственных братьев...

Не раз перечитывал я труды Фрола Власыча. Особенно люблю сочинение о Разуме, отпавшем от Души, не чувствующем боли и посему плодящем «великие идеи», от которых тупо, пронзительно, ноюще, тягуче, разрывающе-долго, режуще, скребуще, воюще и стонуще болит Душа Мира, Душа Жизни, Душа Бога и Душа Человека...

Вы что-то занервничали, гражданин Гуров. Да. Родственники ваши приближаются к пределам Родины. Близок час свидания ихнего с вами... Близок. Казнь я вам готовлю — пальчики оближете... Сходите в сортир, сходите. Только без фокусов... Не про-хан-же!.. Вы не задавайте вопросов, а сходите. Вижу, что вам не терпится... Я безошибочно угадываю момент, когда подследственный рвется в сортир, чтобы сменить масть допроса, перебить его ритм, чтобы вырваться на миг из потока, волокущего к концу, и вздохнуть в сортире по-человечески... Идите!

Ну, что? Легче стало?.. Ах, вас интересует, как это во мне сочетается уважение к «святым людям» и «разным юродивым», к «религии» и «церковной морали» с профессиональным садизмом, и как это я не чувствую «собственной низости», «безжалостности, переходящей все границы разумного мщения», и чего достигну, пытая вас, унижая и казня?..

Разумное мщение. Симпатичная тема. Это как же понимать, если, конечно, влезть в шкуру не мстителя, а того, кому он стремится воздать должное, преступно присвоив себе права Высшего Судии? Вы понимаете, что я присвоил себе право судить и карать, посчитав достаточными для того, чтобы сделать это, муки и смерть родных и свою вечную рану? Не понимаете. Наоборот, вы, демонстрируя свое великодушие, за которым скрыто признание собственной вины, поощряете мое право на мщение, но только в границах разумного. Хитер, стерва!.. Разумное мщение. Это — отвратительно. Вам хочется рационализировать его процесс с тем, чтобы он был переносимей, легче, и, обнаглев, вы дойдете до того, что потребуете свести акт мести к мысли о мести, уверяя меня, что, подобно тому, как боль есть представление о боли, так и месть вполне может быть представлением о мести.

Сущность мести в том, что Разум хочет, насильственным путем восстановив, как ему кажется, справедливость и воздав мерой за меру, вырвав око за око и зуб за зуб, именно почувствовать, вы слышите, почувствовать умиротворение и угасшую наконец страсть мстить, мстить, мстить. Он хочет не представление иметь о мести, которое не насыщает, подобно

тому, как представление о боли не есть его собственная боль, но боль ноги, руки, ребра и носа, а освящения своего беззакония и присвоения прав Высшего Судии судить, рядить и восстанавливать справедливость. Он хочет несомненного свидетельства, что прав он был, не согласившись со злодейством или обманом, допущенными по отношению к личности его хозяина. Не согласившись и презрев веру Души в то, что не избежать виновным в злодействе наказания, если оно тотчас же не постигло их, он сам бросается творить суд, но не утоляет жажды, прильнув к черной воде мести, которая солоната от века, и только распалает себя, когда не безумеет от ненависти...

Свидетельств правоты мести быть не может. То, что за них принимается — иллюзорно и провоцирует на новые мстительные действия. Месть всегда разумна...

А пример ваш насчет человека погибшего, но, на его взгляд, отомстившего, говорит не о неразумности поступка, а как раз об исключительно разумном подходе к ситуации. Знал, что загубит и свою жизнь гордый мститель, и чужую, и наверняка слышал голос души, как я его не раз слышал: «Оставь их, Вася! Оставь! Нам свидеться надо!», но пренебрег и загубил сразу несколько жизней, сотни жизней, тысячи жизней! Так что получается: месть разумней жизни. Безумие так думать! Но я угрожал ради мести свою жизнь и покончил бы с ней, если бы не поделился со мной жизнью Фрол Власыч Гусев. А вы не ловите меня на том, что говорю я с симпатией о Боге, с ненавистью о Дьяволе, служа-то лично ему, и к тому же нарушая не только созаконность, но и естественное право человека... Вы у меня скоро отменным диссидентом заделаетесь, гражданин Гуров, почище, чем ваш вунд Фёдя!

Что я, собственно, так путанно болтаю о мести, боли, причем болтаю не своим голосом, наверно, автоматически подключаясь к ходу чьих-либо мыслей. В данный момент к мыслям Фрола Власыча. Где моя папочка? Дайте-ка я зачитаю одно из показаний моего кормильца и поильца жизнью.

## 60

*Я, Фрол Власыч Гусев, обвиняемый не ведающим, что творит, гражданином следователем Василием Васильевичем Шибановым, чей год рождения и место мне неизвестны, в том, что я 28 февраля 1935 года в два часа, не помню, во сколько минут, вышел из ресторана «Ермак» и вошел в Царство Божие, что во мне, полностью признаю себя виновным и могу по существу дела показать следующее:*

*Существо дела шло к весне. На ветвях фонарей набухли готовые распусться почки. Каменные, покрытые инеем*

оттепели, дома чесались о спины кошек и, отряхиваясь от розовых лапок сизарей, взмывали в бездонное более, чем обычно, небо.

Площадь Павелецкого вокзала грелась под теплыми телами баб, прибывших в большую деревню. Боясь кинуться в каменный лес, бабы толпились у стоянки извозчиков. Здесь дымился, оживая под конским навозом, асфальт. Воробьи, озябнув за зиму, пьянели от горячей пищи.

Трамвай похотливо, но добродушно звал к себе баб. Бабы пошли к нему со сладкой истомой волнения и страха. Уж больно хотел их трамвай. Недаром он назывался удивленным именем «А». Бабы пропустили его, а сели в тридцать пятый, названный так в честь цифры года, родившего трамвай от одного небезызвестного маршрута.

Увязавшись за ними неведомо для себя почему, я немедленно возвратился к извозчикам, ибо все они сидели на своих облучках в позе Н. В. Гоголя на посмертном постаменте, но переодетые и загримированные в разные носы, глаза, прически, бороды, усы и общие лица. Ошибки быть не могло.

Первый же извозчик в ответ на мое приветствие: «Николаю Васильевичу — наше с кисточкой!» грязно выругался, что, естественно, было вызвано объективными причинами; как-то: падением нравов, последовавшим за этим отсутствием достойных седоков, ценой на овес и нерегулируемой рождаемостью всевозможных неживых трамваев. Интеллигентный и мягкий по замыслу родителей и Родины, я сел в пролетку и воскликнул, повинувшись одному из многих моих внутренних голосов, равнополномочных в распорядительствах и повелениях, касающихся непредусмотренных мною лично поступков... Прости, Господи, за нежданное нашествие действительного причастия настоящего времени и страдательного причастия прошедшего времени...

— К паровозу, будьте любезны, проедемся с вами вместе, — воскликнул я, инверсируя непозволительно часто для трезвого человека.

— К которому? — спросил, вскинувшись, и вмиг перестав походить на Н. В. Гоголя, извозчик.

— Привез... в Москву... за собой... который поезд... траурный с Ленина... телом, — ответил я, стараясь прекратить инверсии сдерживанием дыхания.

— Деньги вперед!

— Ста... жалуй... по! — с готовностью сказал я.

Расплачиваясь, я неосторожно высказал мнение о сходстве извозчика с маршалом Блюхером, на что тот возразил следующим образом:

— Ежели ты меня сразу обозвал и блю и хером, то я

тебя не к паровозу отвезу, а в участок.

— Прости, человек! — взмолился я.

— Прощаю. Паровоз тебе зачем?

— Желая Симбирск в немедленно уехать! Пора! Я пошел... в тупике... любезный! В тупике я!

Конь летел, как сейчас помню, аэропланной рысью. Вот уж мы недалеко от цели моего путешествия.

— Чу! — воскликнул я, чувствуя, что «Чу» это то, что было после. Чудо! Но когда бы не воскликнул я «Чу!», то, значит, чудо было бы мне явлено сразу. — Стой, ямщик! Стой, сестра моя — лошадь! Вы живые символы моего покровительства. Я блю вас лю чень о!..

Один остался я наедине с чернеющим в легком и светлом тумане весны паровозом. Он надраен был до блеска нянькой-народом. Сверкали даже в тумане его вороние бока, сверкала грудь, горела медь в глазах, горела медь полосок и кругляшек, краснели смазанные маслом спицы черных, стальных колес, черен был угольно тендер и безукоризненно сидел неизвестно на чем черный цилиндр трубы.

— Ты похож на игрушку детских лет Дьявола, — сказал я паровозу, вскочил, вцепившись в блестящие поручни, на подножку лесенки и так привычно, словно влетал я в нее каждую смену, влетел в кабину машиниста.

Влетел и, мысленно прощаясь со всем тем, что оставалось за окном и уже начинало обращаться вокруг меня по малому кругу жизни, спустил тормоза, закрыл, как говорится, сифон, открыл поддувало, поддал парку, кажется, в цилиндры золотников, и только чудом не сбив пивной ларек, распугивая усатых носильщиков с белыми слюнявчиками на груди, сделал разворот, мучительно стараясь при этом угадать: в рельсах я или вне их?

Ах, как было мне хорошо среди стрелочек, краников, стеклышек, трубочек, рычажков и колесиков! Как сладостно чихнул я от кислотинки дыма в ноздрях, и хрустнула, словно морская песчинка, на зубах моих крошка угля!

Я как бы скромно закусывал первый выпитый глоток пространства, дрожа от восхитительного, неземного ощущения движения истории вспять, и высовывался из окна с тем, чтобы ветер высекал слезы из глаз моих и не позволял им срываться со щек, чтобы он под стук колес уносил с губ слова нелепой песенки: Мой паровоз, лети назад и делай остановки. Стой, пожалуйста, подолгу на каждой. Я буду вишни покупать в кулечках из-под «Правды» и «Известий». И буду пить и буду пить в киоске газировку... Я так люблю, я так люблю-ю-ю любую остановку. Кроме коммуны. Эх, кочегар, давай шуруй в горниле уголек.

— Чу! — воскликнул я снова, узнав в кочегаре, вышедшем

из тендера, моего старого знакомого. — Не чудо ли это, мой друг?

Ни слова не отвечая, кочегар подкидывал в топку уголь, и лицо его чумазое пламенело недобрый пламенем. Это был он — Разум Возмущенный.

И был он «обратно» молчалив, не то что на пути «туда», и отдыхал от смертельной усталости на каждой остановке. А поскольку мы стояли на каждой остановке бесконечно долго, то он чудесно отдохнул.

— Где Душа твоя, усталый кочегар? — спросил я.

— Ушла она от меня, — чересчур многословно ответил Разум, возмущаясь исключительно по инерции, так любимой нашим паровозом с самого детства.

— Куда?

— За кудыкины горы. — Разум смотрел на пламя огня и непонятно почему не обугливалось его лицо. Сидел он на чурке очень близко от топки, где плавилась и были белее белого колосники.

На этой остановке я купил у бабы, обнявшей глиняную, как сейчас помню, крынку, похожую на ее фигуру, топленого молока с поджаристой корочкой и шариками сбитого маслица. Мягкий, пушистый, добрый, круглый хлеб казался выпеченным тысячи лет тому назад. С достоинством, не обижающим другого человека, я поклонился старухе, которая была старше хлеба. Мы сели на рельсу.

Жирафа-водокачка смотрела с высоты, как мы едим хлеб с молоком, делясь с железнодорожными птицами едой и взглядами на жизнь. И Разум поведал мне, что теперь живет он один-одинешенек в опостылевшем ему теле, куда возвращаться с различных заседаний и словопрений не-о-хо-та. Душа ушла от него незаметно, даже не оставив записки со скорбным или оскорбительным словом.

— О-о! — сказал Разум. — Это на нас похоже! Это — наш стиль: сделать побольней и порасковыристей. Хорошо, что я не чувствую боли и только устаю. Но ведь представление о боли тоже в конце концов неприятно. Где уж там! Мы привыкли думать только о себе! Нам кажется, что боль может быть исключительно душевной, а не разумной. Откуда она это знает? Она же, по ее словам, вообще ничего знать не хочет по причине безусловной мудрости. Пе-ре-мудр-ство-ва-ли, Сударыня! Хоть и сам я временами страдаю от одиночества и покинутости, а не от представления об этих состояниях. Это я вынужден признать. Да-с!.. Зато — взгляните с паровоза вокруг! Вы же не станете отрицать наших достижений? Взгляните! Заложен в основном фундамент новых общественных отношений. Мы готовим для Запада бациллу хаоса, бациллу Народно-Освободительных движений! Уничтожена ко

всем чертям эксплуатация человека человеком! Одновременно начато создание матбазы коммунизма. Вы же не станете отрицать того, что человеку, желающему как можно дольше не работать и не производить еду, одежду, сталь, бензин и оружие, необходимо сделать неограниченные запасы всей этой штуковины. Вот — запасемся, сядем и начнем развивать таланты и способности. По головкам начнем гладить друг друга. Памятник поставим ленинской мудрости.

Гранитный бескрайний цоколь. На нем много мраморных головок. Головки отцов, матерей, братьев, сестер, жен, детей, друзей, соседей и сослуживцев. Возможно, допустим туда парочку империалистических и реакционных головок миллиардеров. Прекрасная композиция с гениальной кинетической деталью: бронзовый, нет — золотой кулак, золотая Рука круглые сутки бьет по головкам, не разбивая, конечно, мрамор, зачем же разбивать, если головки не живые? И мрамора к тому времени останется мало...

На чем я остановился? Да, да! На коммуне... Бьет золотая рука с бриллиантовыми ногтями по мраморным головкам, а мы сидим на скамеечках около фонтанчиков бездушные, но счастливые! Мы наш, мы новый мир построили и самолеты дежурные в небе непрерывно обновляют протянувшийся от горизонта до горизонта лозунг, автор которого еще не имел чести родиться: «Коммунизм — это история, ушедшая на вечную пенсию». Грандиозно! Не искра ли, пардон, не правда ли? А на ваше возражение, Фрол Власыч, относительно полного разрушения в пути до прибытия на остановку всей личностной структуры человека и так называемых традиционных ценностей, я вам отвечу следующим образом: алмазы, дорогой Фрол Власыч, создаются ныне искусственным путем! Да и решеточки кристаллические различных драгоценных камешков научимся мы взращивать. Вместо душ вправим в себя сапфиры, изумруды, хризолиты, жемчужины белые, черные и розовые, александриты вправим в тела, и радужней соцветий не было еще, воскликнем, на свете!

Каждый! Каждый человек будет у нас поистине драгоценен, а светлая память о необходимо утраченном осветит наши улицы, площади, проспекты, голые леса и пустые зоопарки. Не надо, кстати, мрачно пророчествуя, забывать о небывалом расцвете инженерной биологии в предкоммунизме, не надо!

Необходимости сколько-нибудь существенно изменить физический облик человека, я думаю, не возникнет, и поэтому инжбионеры займутся, если уж на то дело пошло, закреплением в памяти индивида того, что вы несколько мнительно и капризно называете традиционными ценностями... Так что одиночество мое, выходит, не бездеятельно и мнимо. Я член

партии, а посему ощущаю себя, подобно члену тела — руке, ноге, носу, кишке или еще чему-нибудь такому, не оторванным от общего организма, а наоборот равноправно участвующим в его сложнейшем функционировании и нуждающимся в нем не меньше, чем он во мне. Мы все, Фрол Власыч, одно единое тело, и только по недоразумению не ловим иногда в массе нового количества дыхания нового качества: присутствия коллективной души не ловим. Вот как!

Я понимал, что Разум отвлекся от движения назад и летел, летел, забывшись на остановке, вперед. Осторожно вывел я его из этого состояния намеком на неотвратимость возвращения на паровоз. Поехали. Тук-тук-тук. Пуф-паф-пуф-пуф...

Долго в Горках стояли. Гроб носильщики сгружали. Женщина с выпученными глазами на саночки детские его поставила, рукавицы надела, взяла веревку в руки и потянула за собой по притоптанному гражданами снегу саночки с гробом на погост. Оттуда доносились скрежет лопат по мерзлой земле и удары лома...

Поехали дальше. Как прекрасно возвращаться к давно, казалось, забытому! Кого только не встретишь на станциях и полустаночках, в тупиках и на вокзалах дорог! Милые лица, милые явления, милые вещи! «Ну, как вы тут?» «Ну, как вы там?» «Мы-то хорошо!» «От добра добра не ищут!» «Забирайтесь в вагончики!» «Спасибочки, милые! Нам и здесь повезло!» «Прощайте!» «Дай Бог счастливого пути!»

Пуф-пуф-пуф... тук-тук-тук...

Чем дальше мы возвращались, чем дольше стояли, тем больше нервничал и уставал мой кочегар, но не кипел, как водица в котле паровозном, не возмущался, как стрелки приборов, а тосковал, и подобно всем упрямым, капризным и виноватым в ссоре с самим собой людям, не искал наикратчайшего пути к примирению, сделав к нему первый трудный шаг, но брюзжал на стрелочника, едва не попавшего с похмелья под колеса, на заспанных бабешек на переездах, сигналивших нам полузакрытыми очами желтых фонарей, на пассажиров, загадивших бутылками, консервными банками, фотографиями, дерьмом, бумагой, огрызками огурцов, документами, окурками, ватой, книгами утопистов, куриными, гусиными, бараными костями, футлярами от очков и орденов насыпи, сам путь и околоторожные черные снега.

— Всё — говно! — изредка говорил мой кочегар, подолгу не отрывая глаз от пламени и забыв подкормить остывающее чрево топки. Когда оно совершенно остыло, мы, после блаженного и недолгого движения по любимой паровозом инерции, окончательно остановились.

Разум все сидел, провожая глазами в небытие тающие среди шлака синие, красные и оранжевые огоньки, и сам шлак

остывал на глазах наших. Вот уже мертвенным хладом смерти движения дохнуло в наши лица из топки и начал вытягиваться в ней, расталкивая зелеными плечиками мертвый шлак, стебелек вечной остановки, рожденный последним теплом паровоза. Вот уже расцвел он, и неуловимого цвета, вмещающего в себя все цвета мира, были его лепестки, и подобный таинством своего происхождения первоцвету, сладко, грустно и тонко заставлял трепетать наши ноздри первозапах цветка. Пчелы приникали к нему и отникали, но он не клонился от жужжащих существ, и пространство топки стократ увеличивало нежный, живой запах пчелиной жизни.

— О-о! — воскликнул Разум, очевидно продолжая начатый мысленно разговор о Душе. — Это в нашей манере — критиковать, осуждать и бежать как раз в тот момент, когда я более всего нуждаюсь в поддержке! Она не любила меня! Любящая Душа умрет, но не изменит, погибнет, но не оставит!.. Но мы же любители красивых слов! Мы разве способны подкрепить их делами?.. Нет! — горькая ирония исказила тонкие губы то намечающегося на моих глазах, то снова расплывающегося лица.

— Ты, Разум, глуп! — засмеялся я. Он тоже неожиданно улыбнулся, хихикнул, словно волшебная сила позволила ему взглянуть на себя в тот миг со стороны, и что-то несомненно детское мелькнуло в его оживающем, но все еще капризном и неприятном лице.

— Да, Разум, ты глуп, — повторил я и пояснил, стараясь быть мягче и милосердней. — На то ты и разум, и не случайно был назван именно так во времена, предшествовавшие временам, когда еще не начинал оскудевать мир мудростью и ясностью, ибо главенствовала в нем и руководила жизнью Душа. Разовый ты ум. Вот кто ты такой! Понял?

Разум от смеха чуть не вывалился из паровоза: так поразили его, не возмутив, чего я опасался, мои слова. Он хохотал, схватившись за живот, и повторял: «Раз-ум... ой! ой!»

— Да! — продолжал я. — Разовый ты ум, и тем ты был хорош в свое время, что не пытался помыслить о необъятном, неведомом тебе, не сомневался в существовании и верном развитии замысла Творца, в его бесконечной мудрости, и ясный свет высокого согласия не сходил с твоего детского лица.

Ты не осознавал своей благодатной связи с Душой, но следовал ее любви, что равносильно следованию Совету. Если тебя это не обидит, я ради шутки воспользуюсь твоей же фразеологией. В те времена вся власть принадлежала Совету да Любви.

Нелегко тебе было жить, но справлялся ты разовым своим умом то с горем, то с несправедливостью, то есть с явлени-

ями, чьи причины не могли быть поняты тобою и поэтому ты не воспринимал их несправедливыми. Ты не пытался «восстанавливать справедливость», ибо еще не смел вообразить свое разумение превосходящим мудрость Того, кому известна наперед механика Случая и тончайших, сверхсложных взаимосвязей явлений.

Ты умел, вернее, бесконечно много разумел считать себя, а не Творца, виноватым в смерти твоего очага, в полученной от барса ране, в вытоптанном обезьянами поле, в болезни, в потоке, в молнии, в неудаче, и в цепи неудач. Ты не завидовал удаче соплеменника, но она возносила тебя и твою энергию до уподобления ему и его удаче. Чист был временами твой ужас от того, что ныне зовется трагизмом Бытия, но и несказанной была твоя радость, и наградой тебе за согласие с мерой вещей и явлений, за согласие с миропорядком приходили, не заставляя себя ждать, счастливая беззаботность и возможность победы над обстоятельствами.

Ты бережно расходовал дар свободы и не ведал при данном тебе выборе путей, что есть путь, ведущий из царства, что в тебе, в пустыню, что вокруг. Ты не противопоставлял себя миру. Ты не выходил из себя. И незачем тебе было строить Царство Божие на земле по одной простой причине: оно пребывало в тебе, и ты не мог, всегда ощущая самодостаточность внутренней жизни, не считать подобной же, при всей ее таинственности, а порой и враждебности, жизнь прекрасного мира.

— Ой, блядь!.. Ой, блядь! — глухо и сокрушенно, как спронеья алкоголик, сказал Разум, уткнув лицо в ладони, и застонал, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Помнишь ли ты, что было дальше? — спросил я.

— Кажется, я загулял, — ответил он.

— Да. Ты бережно расходовал поначалу дар свободы, ты тратил его на необходимое для себя, пока не позавидовал Взрослости, полагая ее возможностью полного своеволия, пока не загулял, возомнив себя способным быть как ОН, как Творец, бесконечно мудрым, Всевидящим и Всеведущим Строителем.

— Она почувствовала, что я стал какой-то не тот, — сказал Разум и вдруг вскипел. — Но разве мы могли при нашей кротости и долготерпении броситься меня спасать? О-о! Мы только поскуливали и прятали глаза, мы предпочитали молча страдать, а не активно, так сказать, вмешаться, когда на карту было поставлено черт знает что! Я осуждаю подобное невмешательство!

— Оттащить тебя от игорного стола было невозможно. Я — свидетель. Возомнив себя Строителем, ты провозгласил

ОТКАЗ от любовного объяснения мира и проникся собственной идеей его переделки. Ты, конечно, сразу же нашел что переделывать. Претензии, предъявленные тобой миру, росли и множились, приближая твой окончательный уход из царства Божьего, что в тебе. Ты потерял способность быть мудрым, не ведая, что такое мудрость, хотя Душа, питавшая тебя ею, не сидела, как говоришь ты, сложа руки. Она безумно страдала, то есть делала всё, что может, всё что в ее силах, для спасения тебя от самоубийственного бунта и возмнения.

Ты обвинил Творца в злонамеренном создании множества язв мира и тебе тут же показалось, что ты проникся его болью. Но это была воистину не боль, а представление о боли, к тому же чудовищно раздутое богатым воображением. Ты не поверил ни Душе, ни Творцу, что высокое смирение — лучший способ улучшения условий человеческого существования, и выхолостил суть смиренного состояния как радостного согласия с предначертанной Судьбой вечного и тварного мира, тем, что объявил поведение, не соответствующее с требованиями здравого смысла, поведением неразумным. Неразумием ты называл, грубо говоря, многождыумие, ибо неправильно и извращенно истолковал свое богоподобие.

И вот тебе померещилось в белой похмельной горячке после пропива последнего золотого свободы, что это несправедливо и, следовательно, есть у тебя полное право забраться в казну Творца, которая ломится от всякого Добра и Смысла. В тот момент...

— Да... да... — согласился со мной Разум. — О, несчастный гуляка!

— В тот момент ты возмущился, вскипел, подумал, что, обокрав казну, можешь познать механику случая и сложнейших мировых взаимосвязей и, соответственно, по мере проникновения в природу явлений, восстанавливать справедливость, укрощать стихии, гармонизировать социальную и общественную жизнь. Стихий ты не укротил, но породил новые, перед которыми, если ты отнесешься к ним разумно, ты не беззащитен. Выбив из основания социальной и общественной жизни свободу...

— Ой! — стон Разума был долгим и покаянным.

Я счел возможным не продолжать свою мысль. Человеку, изнемогающему от похмельной головоломки, необходима тишина.

— Может, легче станет... если... если... империализм мировой слегка сокрушить? — сам себя спросил Разум, походя в этот миг на алкоголика, решившего завязать, но возвращающегося мысленно к спасительной рюмашке.

— Не стоит. Абстинентное состояние лучше превозмочь топленным молочком с хлебушком, — сказал я.

— *Никогда я еще так не надирался... Многого не помню. Лысый с огромным лбом... Пятилетки какие-то... Сталин с усами... Чека... и лозунги кровавые в глазах... раскалывается башка... Кто-то, помню, в Госплан меня затащил, а там САМ выступает.*

*Господа, говорит мягко, но внушительно, во многом нелепа ваша идея планирования. Дали бы вы жизни хоть немного посаморазвиваться, а то она жизнью быть перестанет. Странно как-то получается и поистине несправедливо, что на что уж я посвящен в Замысел и пути мне известны многие, и сроки, но сообщил я жизни свободу, не побоялся, понимаю свободу как саморазвитие человека и жизни в рамках замысла, а вы, которым ни хрена неведомо и непонятно, чего-то боитесь, запланировались тут в усмерть, очумели просто от планирования! Не бойтесь! Дайте жизни посаморазвиваться. Обещаю вам, более того — гарантирую плодоносный порядок! Дураки вы, что ли, штурмовать небо? Вы лучше косность свою штурмуйте, проявите такой героизм, а я вам еще раз обещаю: все будет в миропорядке.*

*Тут я, помню, с места заорал, на свой аршин мера: «Деньги — вперед!.. Время — вперед! Авансировать из-вольте проект!» Ну, и конечно, чертики сразу заплясали на левом моем рукаве и на правом. Я завопил: «Стыдно, господа-а-а!» — и в окно. Как шмякнулся, не помню, но чертики вдребезги разбились. Мокрое, дурно пахнущее место от них осталось. Песком присыпал я его. Иду и говорю: «Время — вперед! Денежки — вперед!» Дурно...*

— *Да. С авансом сглупил ты досадно. Все оттого, что спешишь, не веришь и не доверяешь... «Вперед!» Глупо! Досадно глупо! А уж как ты судил да рядил, думать тошно, — честно признался я. — Оглянись, полюбуйся! Справедливости ты не восстановил, как не укротил стихий, но напоганил еще больше. Знаешь ли, почему? — убедившись, что в Разуме нет еще понимания, я продолжал. — Творец дал тебе при создании рассудок для разового суждения о чем-либо, но не для разового суда. — Разум снова по-детски рассмеялся. — Ты же решился вершить не больше и не меньше, Суд Истории. Кровищи сколько пролил, душ сколько загубил, судя, а не раз-суждая, и, главное, совершенно неясно, если говорить нелицеприятно и основывать суждение на фактах современной советской действительности, кому от многосудия твоего стало легче?.. Сталину?.. Но ему тоже не стало легче. Мне это доподлинно известно. Тебе? Но возомнив себя свободным безгранично, ты потерял остаток свободы и породил в людях рабское самочувствие. А многожды судя, свихнул себе разсудок. Надо же — выкинуться из окна Госплана.*

— *Не могу понять, как там оказался... Сам? — сказал, потерев ладонями виски, Разум.*

— Очевидно, его запутала аббревиатура «Госплан». Уж не Господен ли план? Вот он и зашел поинтересоваться, чем занимаются, штурмуя небо, умники, вроде тебя в этом замечательном учреждении, — счел возможным пошутить я, и снова к Разуму вместе со смехом возвращалось понимание заблуждения.

— Наломал я дров, наломал... А идейка-то была неплоха!.. Огурчик, а не идеечка! Дух от нее захватывало!.. Есть о чем вспомнить, вернее, трудно позабыть. Трудно! Было ей к кому меня ревновать. Одним словом: Идея, вскружившая голову многим, прощай. Душа моя, хоть и бросила она меня, Душа моя тебя моложе и милей. Но и она прощай!.. Может, все-таки тяпнем, Фрол Власыч, если не по империализму, то хоть по синтезу термоядерному? Сосуды уж больно сужены. Напьемся! Я невыносимо одинок. И цветами здесь так пахнет, что ум за разум заходит и бесстыдничает. Зачем нам здесь на паровозе пчелиный рой?.. И где, спрашивается, мед? Я любил его... в детстве... А вдруг она... того... скончалась, так сказать, и померла... Хотя, где уж нам помереть! Мы ведь бессмертны! И плевать нам на того, кто самоизводитесь в мировых сдвигах и бесполезных родовых схватках революций.

То-то и оно-то, что мы бессмертны! В этом-то и вся загвоздка невыносимейшей моей трагедии. Загвоздка с жестокой насечкой. Вбить-то в меня ее вбили, жизнь вбила, а вот насчет вытащить, пожалуйста, вытаскивай, выдирай с кусками плоти и обливаясь кровью самолично, подобно тому, как Мюнхгаузен выдирает себя за собственную волосню из кишачего гадами болотища. Ужас! Что же, по-вашему, Фрол Власыч, справедливо это? Очевидная несправедливость и вопиющая! Но нам-то плевать на это лишний раз! Нам-то ведь самим чудесно и безмятежно, запасшись транзитною визой для бесконечного флирта с подобными мне горемыками...

Даже более чем робкий вопль насчет видимого отсутствия баланса в таком положении выводит нас из невозмутимости в гимназическую капризуленцию. Я таю, стираюсь в порошок, измочаливаюсь в жалкий веревочный хвостик на ее глазах; секунды, минуточки, часы, дни, годы сочатся из меня, неумолимо приближая грубое явление скелетины смерти, и я же еще «заткнись в тряпочку», я же «сопи в обе норки»!.. А для чего затыкаться? Для чего терпеть? Чтобы мы блаженствовали в безмятежности, чтобы и духу трагического не было в нашем эгоистическом гнездышке!.. Нет, нет, нет и еще раз тысячу раз нет!!! Не принимаю такого расклада! Нету нашего кровного хлебушка в вашем роскошном меню!..

Почему ж вам, говорю, мадам, все возможные запасы

времени отпущены, то есть бесконечная на сегодняшний день гармония дадена, а мне лишь какие-то занюханые пятилетки? Ладно бы еще в бассейне с голубою водицею прожить их наподобие Рокфеллера или Круппа, гоняясь за золотыми рыбками в обществе вседоступнейших совершенств дамского пола.

Ладно. Это — куда ни шло. Терпеть можно, хотя загвоздка не вытаскивается из тебя сама собою в такой ситуации, а лишь не свербит, и твоя кратковременность компенсируется во всяком случае достойным комфортом, снимающим надсадную боль и мельтешение в воображении проклятого образа рокового скелета. Конвенция у нас, так сказать, была бы брачная: ты, душенька моя, гуляла себе до меня и еще гулять будешь в неведомо каких враждебных телах, а мне позволь в короткой моей жизни хотя б невзрачно насладиться, хотя б шинельку иметь новую и щи с наваром! Позволь хоть тайну строения веществ познать и причину нагноения жизни в первичном бульоне! Возможности дай использовать мои блестящие. Может, я выход наконец найду из такого зловонного лабиринта, где нет нам с тобой от века гармонических условий для семейной жизни в одном, обреченном на это дело теле. Логично?

Так знаете, Фрол Власыч, что мы верещим в ответ на такие всесторонне справедливые претензии?.. Вы — ревнивец! Вам трудно поверить, что я невинна перед вами. Я люблю вас, никого не помню в прошлом, несмотря на ощущение бессмертия, и никого кроме вас не желала бы в будущем. Вас больше всего беспокоят какие-то тела! Пить меньше надо. А я готова сделать для тебя все что могу!..

Умри тогда вместе со мною! Логично и страстно заявляю в ответ. Разреши мановением одним непереносимую драму судьбы моей, сними средоточие боли от жуткой загвоздки! Умри, радость моя, страдание мое, в тот же час, что и я! Хоть слово дай, что не покинешь! Хоть обмани, но успокой, молю, бывало, в слезах, в стенаниях похмельных и трезвых...

Реакция на это одна: надменный, категорический уход от ответа, театральная демонстрация кротости, вызывающей, хочу подчеркнуть это, кротости, а также намек на беспредельную, не менее, глубину отчаяния и страдания... Ах, так, говорю, ах, так!! Ничего! Я и в холоде одиночества пошурю, похмиичу своим серым веществом. Не один я такой! Нас — партии! Нас больше, чем вас, и мы наведем порядок в бандитской лавочке этой жизни!! Мы наш, мы новый мир построим!.. Ору, бывало, скандалю, годами не видимся, дух захватывает от того, что сделано и делается уже. Но как ни куражься, куда ни проникай мысленно, хошь до самых кварков доплюнь,

хоть в морозные кольца Сатурна упрись тоскующим рылом — нет тебе ни счастья, как говорил Пушкин, ни покоя, ни воли! И начхать в иные настырные минуты готов я на всё, забыть-ся готов и довериться во всем своей суженой. Что мне, в конце концов, больше всех надо, что ли? Плевать я хотел на якобы народно-освободительные движения! Только коту под хвост летит из-за них время твоей жизни, а результат фиговый. Тоска. Хаос. Горы трупов. Новые, уже окончательно неразрешимые проблемы. Работы — не расхлебать за семь жизненных сроков.

Хотя многим коллегам моим, полным ничтожествам, сделавшим большие ставки в дьявольской игре, жаловаться нечего. Они богатеет повыкидывали из дворцов и бессейнов, а сами плюхнулись туда заместо их в объятия амёб, простите, наяд, кто в чем был — в портупелях, портянках, буденновках и с кислой отрыжкой вечно плюгавых хамов. Быдло. Прощайте, говорю, сволочи-перерожденцы! Ноги моей в вашем скотском раю больше не будет. Я — чистый все же во многом разум, хотя и возмущен раскладом порядков Бытия...

В неслыханно изумительном уединении очередное бурное примирение с душой моей происходит. Наслаждаемся, за ручки взявшись, как дети. Птички вокруг летают и щебечут вроде нас. Ликует мир растительный и животный, сводя с ума составляющими его цветовыми и звуковыми гаммами, готовыми случайно воплотиться в нечто самостоятельное и прекрасное... Хрен с тобой, говорю грубовато, по-мужски, Душа. Твоя взяла! Раз ты уверяешь, что все будет хорошо, то и верь себе, а с меняними такую заботу. Твоя взяла.

Нахожусь некоторое время как бы в жизнестоянии крупного буржуа из новых советских жуликов, избежавшего разоблачения и нырнувшего с головою, которая на плечах, в бессрочный покой, в объятия развратных наяд, простите, амёб, живущих в бассейнах с голубою водою... Покой... Мудро довольствуюсь малым, ибо избежал худшего. Я люблю тебя, как говорится, жизнь, и надеюсь, что взаимность у нас имеется. Но что это вдруг, что? После совершеннейшего штиля настроения, пошлейшей песни пошлые слова исторгают вдруг из пораженного внезапно сердца — боль, из глаз — слезы! Есть ли на белом свете человек, который не содрогнулся бы от следующей, ни с того ни с сего поразившей мое воображение картины!?

Кончились как-то незаметно отпущенные лично мне сроки. Усоп я в свой час. В гробу лежу. Лоб, как обычно в таких случаях, холодный, нос вострый, глаза впалые. Чувствуется явственно, что патологоанатомы опоганили-таки беззащитное тело. Полчерепа срезано, Разумом любопытствующие интересовались. Серого вещества в черепной, простите за выраже-

ние, коробке как не было. Пусто. Хорошо еще, что, как человек разумный, я в заблаговременном завещании распорядился набить эту коробку не случайным, подвернувшемся под руку моргового мерзавца, мусором, а белой ватой, опрысканной одеколоном «Курортный»...

Осень, заметьте, глубокая. Птицы наохлились угрюмо на голых, черных ветках лип. Лужи промерзли до дна. Медная музыка, холодящая губы кладбищенских халтурщиков, оглушивает оцепеневшие дали... Автобус пепельно-серый ждет меня внизу. А в нем шоферюга сидит с наглой, социально-счастливой рожей. Я у него сегодня последний. Отволокет к могиле сырой, вернее до гробового входа, пощипает родственничков моих и — домой. Футбол смотреть, и проклятое в своем пошлом бессмертии фигурное катание.

А у меня лапки белые на черном пиджачишке сложены. Хризантемы холодные и розы матерчатые щекочут левое и правое ухо, и невыносимо смертельный, сладкий еловый душок, словно радующийся увяданию человека, роднит явившихся проститься с тем, кого они временно успели пережить... Красотица — не правда ли? Сплошной траурный марш.

Вот — кладбищенские, уцелевшие после октябрьской катастрофы, кружевные, ржавые ворота. Металлическая ручная тележка, сваренная какой-то пьянью неровно и подло и окрашенная в абсолютно адский цвет, принимает на себя мертвый груз и повизгивает, как живая. И это больше, чем что-либо, сотрясает летящую поодаль, в сквозном осинничке, летящую невесомым черным лоскутком, газовым, траурным облачком мою душу... Ну, ну... Дождь со снегом. Слякоть. Тоска... Ну, ну... Но я-то лежу, а она-то, душа, летит! Летит. Вот что обидно. Я лежу, а она летит, она летает, и Бетховен с Шопеном и пластмассовым прохиндеем Александровым окатывают меня и гроб и пространство лишней, на мой взгляд, музыкой. Музыка и поддерживает Душу в скорбном и искреннем, тут я ничего не скажу, вознесении над покинутым ею трупом. Да! Трупом! В могиле синие, лиловые и фиолетовые от пьяни, холода земного и труда могильщики, понукаемые бригадиром, добивают черствую глину на последний штык.

Каким же, скажите, нужно быть циником, чумой, нахрапистой хапугой, бездушным палачом и шантажистом несчастных, потерявших способность сопротивления кладбищенскому, чисто советскому, хамству, родственников покойного, чтобы тебя на такой фантастической работе выбрали одного из всех, ни в чем, казалось бы, не уступающих тебе могильщиков, в бригады!!..

Вот о чем думающим представляю я себя, как это ни странно, на краю сырой могилы. Вот до чего я довозмущался... Но не в этом бытовом зверстве, в конце концов,

смысл терзаний. Значит, меня сейчас опустят на грязных веревках... туда. Затем закопают. Затем их всех отвезут на поминки по мне, на мои поминки, отвезут в тепло, в круг бутылок и закуси, к печальному, к приятнейшему из застольных воодушевлений, и воодушевление это оттого происходит, что я-то лежу там во тьме могильной, ожидая дальнейших распоряжений органической жизни, а она, а Душа-то с вами, среди вас, и как ни велико ее горе (горе ли?), она и на третий день, и на девятый, и на сороковой пребудет во вдовьем состоянии на земле. Ну, а потом уж, навек освобожденная от моей несносности, отправится невеститься в иные времена и пределы, в надежде обрести иного Разума — невозмущенца и подкаблучную тряпку.

Нет! Отвергаю! Не примирюсь с таким несправедливым раскладом зависимости от смерти одних и вечным функционированием в циклах существования других!! Плевал я на то, что по вашим словам, я тоже по-своему бессмертен. Я претендую на то, чтобы быть бессмертным не по-своему, а по-ихнему! Да-с!! И ничего не желаю слышать о преемственности, культурном прогрессе, вкладе в сокровищницу и так далее. Деньги — вперед! Время — на бочку! Не то добьюсь я освобожденья своею собственной рукой! Вытащу загвоздку, со всеми пуцай потрохами, но вытащу!..

А вы, говорю, мадам, если истинное чувство имеете, то извольте со мною — осенним горьким денечком... в могилу, чтобы уж не расставаться. Не надо мне вашего присутствия снисходительного лишь на третий день, девятый и сороковой. Логично?

— Тяжелый и говнистый у тебя характер, кочегар. Ты знаешь, что такое характер? — спросил я. Разум этого не ведал. — Это — форма и качество твоих отношений с Душой. Крепка твоя связь с ней, доверяешь ты ее мудрым наставлениям — и легко тебе в мире мириться, прощать, переносить неудачи, а то и вовсе не замечать их вечного присутствия; исцеляться, соотносить вечное с временным и тленным, радоваться малому, любить мгновение, не спешить, не гневаться, не судить, не уходить от реальности и не делать много чего другого. Но стоит тебе возмутиться, изобретая для возмущения повод, как сразу портится твое жизненстроение, прет из тебя упрямство, капризность, упреки, привередливость, дутая гордость, ненасытность, зависть, и все больше подчиняет тебя одна страсть — игра!

— Это — да, — согласился Разум.

— Ты страстно веришь, что в искусственно созданной твоим воображением игровой ситуации, как и в той, в которую ты попал случайно или же она была навязана тебе, может быть промоделирована вся жизнь. Отпав от нее и от ее не-

постижимых законов, ты и подпитывая и пожирая сам себя, пытаешься своими силами познать в игре законы и механику случая, овладеть ими, построить с их помощью Царство Божие на земле и посрамить таким образом Творца, создавшего, как тебе кажется, невыносимые условия для человеческого существования.

— В общем, все приблизительно так и обстоит, — сказал Разум.

— Почему «приблизительно»? — переспросил я, отнюдь не оттого, что претендовал на окончательность своих суждений.

— Да потому что, говоря откровенно, меня увлекает не цель игры, а сама игра. Не все ли равно, как она называется и на что играют? Железка, очко, шахматы, покер... Рублем больше, рублем меньше... Вон — самый враждебный мне писатель Достоевский: тоже всю жизнь играл... Случайность, сучка такая, она многим покоя не дает! Разве не поэзия — вечная погоня за ее капризным хвостом?

— Поэзия — это когда летит за ней на Пегасе Пушкин, а не ты, возмущающийся в Совнаркоме, что по теории уже всем какать пора, а на практике мы еще даже не жрали. Подводит тебя теория, правильность которой гипотетична, а плата за проверку ее правильности ужасает уже сегодня.

Я имею в виду твое участие в игре «коммунизм — светлое будущее всего человечества». Это — тот крайний случай, когда ты считаешь возможным, втянув в бой миллионы человеческих пешек и колоссальные ресурсы, избрать тактику бесконечных жертв. Некорректность игры оправдывается (это ты внушаешь и себе и пешкам под аплодисменты зарубежных болельщиков, жаждущих острых зрелищ) все той же целью — эффектной концовкой всемирно-исторического экспериментального игрища, построением коммунизма. А как его построить в одной отдельно взятой стране при все более обнажающихся глобальных взаимосвязях и взаимозависимостях человечества во всех областях жизни — неизвестно. Пожалуй, одному Хабибулину — служителю туалета в ресторации «Ермак» — известен секретный ход, ведущий тебя к выигрышу. Хабибулин утверждает, что пока люди не перестанут гадить под себя хотя бы в сортирах — не видать им, как своих ушей, не только коммунизма, но и чистоты и порядка.

— Верно! Насчет одной страны хреновина какая-то получается. Вот если бы дали мне провести всемирный сеанс игры на всех досках, я бы еще поглядел, Фрол Власыч, где бы мы сейчас с вами беседовали! — вскипел Разум.

— Не говнишь, кочегар, — сказал я. — Подумай лучше о Душе. Разве жизнь без нее — жизнь?

— Что о ней думать? Я, может, и знать не желаю, где эта дама! О-о! Мы ведь не ведаем, что такое одино-

чество!.. Зато я ведаю! Не знаю, где и с кем, но уверен, что она где-то и с кем-то!

— Хватит трепаться, кочегар! — строго сказал я. — Душа тебя не покидала. Ты думаешь, это ты смеешься, когда ты смеешься? Нет! Это вы оба смеетесь, ты и она! Только не пытайся искусственно расхохотаться. Ты иди, ополоснись под водокачкой, опохмелись водицей и сразу тебе смешно станет. Может, горько, но смешно. Иди! Она тебя уже ведет за руку!

Если бы не моя врожденная сдержанность, я сотрясся бы от рыданий: чистый свет доверия мгновенно смыл безликость со всего облика моего кочегара, а лицо его было лицом юнца, ищущего от полноты жизни повода для смеха и удивления.

Он легко крутанул колесо задвижки водокачки, которая захохотала, как от щекотки, и на него упал живой водопад. Упал, и облитое существом воды, как в коконе, просвеченном солнцем, затрепетало другое живое существо, вымывая из уголков глаз въевшуюся чернь угольной пыли, и вот уже в нем самом, некогда поразившем меня отсутствием жизни, теперь радовалась и плескалась Душа, ощутив животворную тяжесть хлынувшей на нее, подобно воде, плоти чело века. Смех воды сливался с его смехом, и вот он стал наг, ибо смыло с него лишние его одежды и унесло вместе с потоком.

— Машинист, ты вернул меня к жизни! — высунувшись из водопада, весело крикнул тот, кого я уже не мог назвать Разумом. — Я благодарен тебе от души!

— Не благодари, но живи, — сказал я и удивленно задумался: он так напоминал мне меня самого, как если бы я гляделся в зеркальную воду колодца. Воистину: живое подобно живому... Но вдруг по воде пошли круги...

В добавление к сказанному прошу поставить на вид работникам желдормилиции и носильщику Ежову, нарушившим образ остановки, разлучившим меня с паровозом и приславшим вместо него телегу по месту моей службы... Не сочувствовал, ибо понимал ложность восторгов. Попутчиком не был. Пятилетки считаю прогрессивным дьявольским способом паковать мгновения для истребления времени жизни трудящихся. Партию представляю как железнодорожный состав вагонов разного класса. Не желаю нестись без остановок и неведомо куда ни в салоне, ни в общем телятнике.

К сему, предупрежденный об ответственности за дачу ложных показаний, Фрол Власыч Гусев, покровитель людей и животных, живущий с Душой в законном и счастливом браке и всецело находящийся в здравом уме.

Ну, как вам сочинение, гражданин Гуров? Прослушали с любопытством, как образец творчества этого ненормального человека. Другой реакции я от вас и не ожидал. Но вы ни капли не ожили?.. А я слегка опять ожил...

Тем временем родственнички ваши прибыли. Вот запись телефонного разговора вашей дочери. Или нюх у нее собачий, или из-за утечки информации узнала она о вашем аресте. Возможно, отводя удар от себя, и лишней раз заверяя нас в верноподданности, она сообщила о местонахождении самой дорогой вашей вещи: одной из Екатерининских цацек, подаренной императрице неизвестным любовником. Рябов! Тарань ее сюда!.. Ну, так что нормальной, гражданин Гуров, сочинение Фрола Власыча или подлянка вашей любимой дочери? Вы не верите?.. Моя очередная мистификация... Значит, кошку и собаку я тоже запрограммировал? Я бы диссертацию вполне мог тиснуть о защитных реакциях подследственных, как форме вытеснения и подавления чувства реальности.

Спасибо, Рябов. Попроси прислать ко дню моего рождения с Трубного рыночка капустки вилковой, огурчиков и помидорок соленых. Только не зеленых, а красных. В помидорах я этот цвет уважаю. И картошки пусть пришлют. Бабы из наших мест не вылазят с Трубного рынка. Да! Пару букетов полевых каких-нибудь цветов. Васильки, ромашки, колокольчики...

Вот она — цацка!.. Что за тайна, Боже мой, в камешках этих? Не изделие ведь ювелирное таинственно, даже если оно дело рук гениальных! Может, действительно запечатлели алмазы и изумруды, как уверял меня один гаврик, взгляды Творца при Сотворении им Мира и сияние первого света?..

Колье принадлежало, точнее, было похищено вашим папенькой во время штурма Зимнего дворца. Там же «приобрел по случаю» три ценнейших жемчужины Влачков. С этого наши знакомые начали построение нового мира. Диадему вы успели вынести из дома и припрятать...

Тоска. Тоска, гражданин Гуров... Впрочем, чую я злое веселье, вспомнив, как заявился к Сталину с железной коробкой. В той коробке отснятые ленты лежали: эпизоды дела, названные мной «Красная суббота» и «Лобное место». В дачном сталинском кинозале находился сам и несколько деятелей не из самого близкого окружения. Все они наперебой предлагали Сталину какие-то фантастические проекты поощрений трудовых коллективов и рекордсменов труда. Мраморные, бронзовые и золотые бюсты в цехах... Слепки рук работников ручного труда... Рентгеноснимки черепов работников труда умственного...

Сталин с интересом, неправильно истолкованным докладчиками, вглядывался в их лица, пытаясь определить, что же именно может быть в этих лицах приметой приговоренности к смерти. Мне было очевидно, что все, буквально все они без пяти минут трупы: Сталин выдал вдруг, обращаясь ко всем, общий комплимент: «Собачий нюх у вас, товарищи!»

В тот момент неглупый человек наверняка воспользовался бы возможностью глубже исследовать природу юмора. Я-то сдержал какое-то страшное подобие раздиравшего меня на части смеха, лишённого злорадства и мстительности, но полного неизъяснимого значения, разгадки которого было мне не дано. Оттого он и мучал, подступая к горлу, как голод, которому не обещано утоление, и ясно уже, что разрешение мучений — в смерти или спасительной случайности. Я молчал, а Сталин заливался тихим, дьявольски жутким смехом, шедшим не от души и не от веселой возни Души с Разумом, как это бывает у детей и взрослых, сохранивших в существе своем детство. Он даже не смеялся. Звуки смеха только символизировали звериный клекот торжества Сталина. Торжества! Он держал в руках своих нити нескольких судеб. Он чувствовал себя властелином случайности, ибо ему казалось, что в тот момент он один не только точно знает меру несчастья своих жертв, но и меру собственной возможности спасти их от вроде бы неотвратимой гибели. Он торжествовал, торжествовал не в первый раз, но торжество и смех, принятый за него, не насыщали Сталина, как не насытила меня месть. И он вдруг мрачнел.

Он не мог, как ни хотелось ему, почувствовать себя истинно царственной натурой. Ни на прощение, ни на великодушие, ни на провозглашение отказа от насилия, вражды и братоубийства, безграничной, вроде бы, власти уже не хватало. Сталин ненавидел справедливость и добро тем больше, чем отчаянней они сопротивлялись, предпочитая сгнуться, сгноиться, подохнуть, умереть, но не принадлежать Сталину.

Не раз тянулась его рука к ниточке спасения, скажем, товарища Сидорова, но отдергивал он ее, чувствуя, кроме всего прочего, в этот момент свою собственную привязь и зависимость от руки более всесильной, чем его, и поэтому мрачнел еще больше...

В тот раз он снова захохотал, когда один из особенно романтических прожектеров предложил командировать победивший в соцсоревновании цех или бригаду на заводы Круппа, Филипса и Форда.

И зараженные веселостью вождя, которая льстила самолюбию больше, чем простая похвала, деятели тоже смеялись, аплодируя Сталину, а он, в свою очередь, искренне аплодировал им, и меня не впервой начинал трясти хохот от жуткого

образа неведения и заблуждения людей насчет отношения к ним Сталина, и самого Сталина, наслаждающегося впечатлением, производимым маской отеческой заботы и дружеского поощрения, в глазах и во рту которой чернели дула моих револьверов.

Посмеявшись и поаплодировав, Сталин сказал:

— У нас один хозяин — социализм. Будем служить ему с собачьей преданностью и верностью, товарищи. Когда все ушли, он с омерзением продолжил:

Я устал от них. Бьем и бьем мы их, а им конца не видно. Можно подумать, что они успевают размножиться перед смертью... Что у тебя, Рука? Выкладывай. Я поспорил с самим собой: ошибешься ты когда-нибудь или нет. Это не значит, что я хочу твоей смерти. Думается мне, а я в таких случаях не ошибаюсь, что скорее всего никогда ты уже не ошибешься. И смысл твоей безошибочной деятельности может быть только в том, что ты ранее ошибся... Понимаешь?.. Ранее. Я не спрашиваю, в чем ты ошибся. Мы, люди, сами этого иногда не постигаем, но жизнь, данная нам в ощущении как наказание, позволяет допустить сегодня нежелательную мысль о крупнейшей ошибке в прошлом. Поэтому не робей и выкладывай, что или кто у тебя. Вряд ли ты ошибешься... Кто?

— Понятьев, — сказал я.

— Доказательства! — жестко сказал Сталин, как бы прицелившись к точке на моем лбу и взводя курок.

Я вынул из папки письмо с подделанной подписью Сталина и объяснение, написанное самим Понятьевым. Я старался быть объективней, чтобы отвести от себя подозрение в пристрастии.

— Как часто Понятьев пользовался моим именем? — спросил Сталин, прочитав бумаги.

— Уверяет, что только однажды.

— Странно. Очень странно, что сам он утаил от меня факт, который я мог бы понять как политический анекдот. Странно... Что же у него за душой?

— Сейчас уже ясно, что целью Понятьева была консолидация оппозиционных сил в союзе с уголовниками всех мастей для узурпации власти, — сказал я.

— Идею союза с уголовниками в борьбе за власть и при ее удержании в дни, когда оппозиция и обыватель еще не опомнились от шока, я подкинул Ленину еще в тысяча девятьсот шестнадцатом году. Это была славная идея. Она во многом развила наш первый успех. В ней объяснение того, что западный идиот-интеллигент зачарованно именует «русским чудом». Тюрьма научила меня, не давая опомниться «фрайерам», загонять их под нары, держать в страхе и выкладывать без ропота и брюзжания все ценности. Идиоты думают, что в России

народ взял власть в свои руки! — Сталин несколько повеселел. — Уголовники ее взяли и бандиты! Тот, в ком тогда оставалось хоть на йоту морали и чувства политической ответственности, не мог нагло воскликнуть: «Есть такая партия!» Она действительно оказалась у нас под рукой. Мы превратили каждый город, каждую область, каждый район в камеру, где беспринципные и абсолютно аморальные мародеры, оглушив обывателя большевистской трепатней о свободе, земле и мире, верховодили в армии, милиции, в чека, в мифических советах, загнали-таки всех под нары. Сила, ленинская аморальность при решении неотложных стратегических задач и гениальная демагогия извратили в гражданах Российской империи понимание того, кто для них враг, а кто друг. Опомнились они уже под нарами, где не очень-то повертухаешься, и если захочешь подняться, то хребет зашибешь. Вот как дело обстояло, товарищи, а не так, как уверяют наши жополизы-историки и философы. Мне только остается хохотать над тупостью людской, и в уме создавать труд о некоторых эффектных методах взятия законной власти в свои руки... Что-то я разошелся...

— Понятьев — неудачник, — вовремя вернул я. — Он ведь и Ленина мечтал скинуть.

— Не рассказывай мне, Рука, ваших чекистских сказочек. Мериу знать надо, — проворчал Сталин.

— Попробую убедить вас с помощью кинодокументов-признаний, — без робости сказал я.

Сталин сел в кресло. Он не мог скрыть мальчишеского азарта ожидания острого зрелища. Я включил проектор. В левом верхнем углу настенного кадра мельтешил портрет Маркса, в правом Ленина. Операторски эпизод дела «Красная суббота» был снят великолепно. Князь, согласившись по моей просьбе последний раз в жизни перевоплотиться в большого старого Ильича, играл мастерски и вдохновенно.

Я давал по ходу эпизода пояснения, и Сталин поверил в то, что надломленный тяжким бревном Ленин окончательно слег, а Понятьев в альянсе с Троцким арестовывают генсека, изолируют его, если не ликвидируют с ходу, созывают внеочередной съезд, и без всякого труда вбивают в тупые головы делегатов мысль о виновности Сталина в выходе Ленина на первоороссийский субботник.

Когда крупным планом показывалось усталое, потное лицо вождя мирового пролетариата, предлагающего своей пастве образ бесплатного труда, снявшего сразу все противоречия между ним и капиталом еще до создания матбазы коммунизма, Сталин повизгивал и хлопал себя по коленям руками.

— Чаплин! Чаплин! — говорил он, вытирая платком глаза. Плечо... На плече — бревно из железного дерева... Плечо

тянет вниз тяжесть бревна... Понятьев подмигивает Гуревичу и Ахметову. Ильичу тяжело, но он позирует для истории. Пот катится по его лицу. Он кепчонкой обтирает взмокший череп... Мелькнула в кадре отвратная для Сталина рожа Троцкого... Еще раз мелькнула... Я дозировал, как режиссер, умело и тактично, а сходства актеров с Бухариным, Каменевым и Зиновьевым добился поразительного.

— Мерзавцы... выродки... предатели... подлецы... похабы... интеллектуальные проститутки... У-у, бляди!

Вмонтированные реплики и пояснительные комментарии типа: «Они не дремали...» «Слетелись на шабаш». «Страна изнемогала от голода и разрухи». «С особым цинизмом». «Из песни слова не выкинешь». «Он был на пути к грыже», — вызывали в Сталине то смех, то ответные реплики.

— Хорошо играет, — похвалил Сталин князя. — А идея субботников и создание образа коммунистического труда слишком авантюристичны и наглы. Люди и так работают или из-под палки, или под гипнозом пропаганды и лозунгов соцсоревнования. А что же будет, если мы перестанем делать зарплату даже символической, как колхозный трудодень?.. Глупость! Ах, Понятьев! Ах, блядюга! А ведь без мыла лез все эти годы! Чего ему не хватало? Дача, дворец в Крыму, охотничьи уголья, своры борзых, рысаки, автомобили, бабы, ордена!

Впрочем, последнюю фразу Сталин сказал после просмотра эпизода «Лобное место». Я сделал вид, когда закончилась «Красная суббота», что не решаюсь предложить Сталину просмотреть очередные кинопризнания. Я как бы намекал невольно всем своим нерешительным видом на чудовищность их и натуралистичность.

— Начинай! — приказал Сталин. — Нервы Сталина в порядке!

— Показательная физическая ликвидация вождя на глазах народа — вот наша конечная цель! — сказал с экрана Понятьев, после чего каждый из обвиняемых уточнил подробности сговора, распределения постов и вытеснения из сердец граждан образа Сталина.

— Бешеные собаки! — крикнул Сталин и бросил в экран трубку. Я поднял ее.

Затем пошли вырезанные из хроники кадры первомайской демонстрации. Ликующий народ, держа на руках деток, смотрел в сторону... Лобного места. На нем стоял с топором в руках Понятьев. Он улыбался и кланялся народу... Вот главные пособники «Брута» подтащили к плахе куклу, прекрасно загримированную под Сталина. Китель, усы, фуражка, брюки, заправленные в сапоги... Море голов... В лицах ожидание чего-то ужасного и готовность к восторгу... Эти кадры я вырезал из киноочерка о митинге «Руки прочь от Сакко

и Ванцетти!»... Море голов, и над ними гремит из граммофонных труб репродукторов блядский голос Юрия Левитана:

— Будучи агентом гестапо, Джугашвили ставил в известность мировую реакцию о цифрах прироста валовой продукции в нашей стране и ее обороноспособности. Ликвидировав лучший цвет ленинской философской мысли, он и его подручные с помощью вермахта намеревались расчленить территорию нашей славной Родины на так называемые суверенные государства типа Армении, Грузии, Якутии, Эвенкии, Чукчи и Палестины. Исконно русские земли предполагалось ввести в состав Украино-Белорусских соединенных штатов и назначить их губернатором-смотрителем садиста Семена Буденного... Дискредитировал учение Маркса-Ленина нелепыми псевдофилософскими повадками, прикрывавшими врожденную скудость научной мысли... Насильно ввел коллективизацию, профанирующую национальную идею всеартельного труда... Убил верную ленинку Аллилуеву... Создал всесоюзную сеть концлагерей, консультируя по этому вопросу различных диктаторов... Аморализм личной жизни... Преступное сожительство с кровавым карликом Ежовым... Непомерное самовозвеличение... фактическое уничтожение ВКП(б)... Сотрудничество с горсткой недоумков-подхалимов типа Кагановича, Молотова и Ворошилова... подготовка к вторжению гитлеровских войск... обуржуазивание богемы, технократии и пижонов от науки... Использование спившихся склеротиков Джамбула и Стальского для распространения мифа о великом горце... Глумление над памятью Ленина... Неудавшаяся попытка оторвать Пушкина от народа... Приговорить к смертной казни по древнему русскому обычаю... четвертовать на Лобном месте!

— Пожалуй, всего этого достаточно, — сказал я, выключив проектор.

— Продолжай, Рука. Джугашвили непрочь поглазеть на казнь Сталина... Но какие бешеные собаки!.. Какая блядь Левитан! Сегодня он говорит: «Да здравствует великий кормчий нашего времени, дорогой и бесконечно любимый отец, друг и учитель Сталин!», а завтра зачитывает своим продажным басом мой приговор! Я правильно делаю, что ненавижу и унижаю поклонением себе толпу!.. Все псы! Все бляди! Крути, Рука!..

Сначала Понятьев отрубил кукле Сталина руки, потом ноги и наконец голову, из которой вдруг выпали тряпки и красные опилки. Он потряс ее над собой... Толпа горланила: «Ура-а!» и пела песню о том, что никто лучше нее не умеет смеяться и любить...

— Всё, — сказал я. — Арестованные не подвергались ни пыткам, ни давлению. Продав друг друга, они старались выложить как можно больше, надеясь на снисхождение...

Они просят о личном свидании с вами.

— Зачем? — помолчав минут десять и походив по залу, спросил Сталин.

— Вымолить жизнь собираются.

— Дело зашло слишком далеко. Я всегда слишком много думал о других. Пора позаботиться о личной безопасности... Казни их всех лично. Никакого суда. Никаких формальностей. Перебей их, Рука, как собак. Как бешеных собак. За киноследствие получишь орден Ленина... Обвинить меня в сожительстве с Ежовым!.. Сволочи! В какой, интересно, роли? Активной или пассивной?.. Как собак! Ты понял, Рука?

— Есть! — говорю. — Передать им что-нибудь?

От картины собственной казни Сталин совершенно потерял голову. Он написал записку: «Понятев! Ты подлей, чем Яго Гете. Но Сталин побеждает смерть, как Чкалов пространство и время... Пес! Пес! Пес!»

— Передай. Пусть почитает перед смертью... Я — «агент гестапо»! Ах, негодяи! А войну вы накаркаете на головы себе подобных, накаркаете! Вы у меня по пять раз передохнете в атаках, а недобитых добьет Гитлер!.. Когда, Рука, мы покончим, хотя бы в общих чертах с этой... Силой?

— Дело движется, Иосиф Виссарионович. Крематории дымят! Но много злоупотреблений. ЭТИ, бывает, для того, чтобы самим уцелеть, закладывают наших. Не успеваем разбираться.

— Иди. Спасибо. Ты и на этот раз не ошибся, — сказал Сталин.

## 61

Завтра, гражданин Гуров, мы гульнем. Шестьдесят лет все же дяде стукнет! Надо же было Ивану Вчерашкину вставить в мои туфтовые метрики эту славную дату. Любил он такие шутки...

После войны поехали мы с Пашкой на рыбалку... На этот раз вы угадали: поехали мы на речку Одинку. Первый и последний раз был я там. На месте нашей деревни даже угольков не осталось. Колодцы и те замело дерном. Ни кола, одним словом, ни двора. А колодина как лежала на берегу Одиноки, так и осталась лежать. Не обтрухлявилась, не сгнила, не сгорела, не вымылась дождем и снегом. Положили мы с Пашкой на нее скатерку белую. Бутылку достали, кулич, пасху, яйца крашенные и курятину...

Я, помню, истерически веселился, болтал, чушь порол, понимал, что задумайся я сейчас о себе, о родных и всей нашей судьбе, и уже не отвлекусь, а может, и «поеду». Жить я не хотел. Казни мне обрыдли, а отец перестал сниться, видно, прокляв меня и потеряв надежду на встречу. Но прого-

вориться Пашке я не желал. Не из страха, что продаст. Просто не желал. Но и не хотел «поехать». Словно чуял, что мне предстоит рано или поздно встреча с вами.

Выпили. Закусили. Похристосовались.

— Да, Рука, — говорит Пашка, — теперь уже ясно, что эта Сила, эта падла, эта проклятая Идея оказалась сильнее нас. Если бы не война, ей была бы крышка с присыпкой. Сучка усатая понимала это, понимала! Знала о скоплении войск на границах, то есть фактически о самой войне. Все думают, что он до последней секунды надеялся на то, что Гитлер одумается, покипятившись, но войны не начнет! Да, он, сукоедина, боялся как раз упредительного выступления, которое могло бы, действительно, пужануть фюрера, и тогда неизвестно, чем кончился бы для Сталина тот период истории... Царство небесное всем погибшим из-за этой усатой мандавошки! Не свалить нам теперь Идею, Рука. Не свалить. Пол-России в развалинах. Как-никак, а жить надо. Строить и жить. И без лозунгов мудацких лично мне в моей области не обойтись. Обидно. И временами, веришь, страх меня берет: ору я с трибун насчет вперед к коммунизму и понимаю, что пустота, бездонная пустота за моими словами, ничего за ними нет, но все-таки ору, цитирую, втолковывая, не веря ни одному своему слову, но что бы я, думаю, сказал в этот момент другое? И знаешь, кому завидую тут же на трибуне? Форду какому-нибудь или губернатору штата Техас. Ну, почему они не шаландаются по митингам пару раз на дню? Не призывают они повышать эффективность, улучшать качество, не целуют токарей и фрезеровщиков за перевыполнение плана, не плачут от счастья, когда сообщают им о миллионном метре ситца, сотканном героическим коллективом, и не бегут, в свою очередь, сообщать об этой сногшибательной новости Рузвельту и Трумэну. Не бегут, не митингуют, не волокут никого в коммунизм, а уголек рубают, нефть гонят, автомобилями весь мир завалили, жратвы у них полно, хотя Трумэн не лобызается с доярками и не награждает фермера орденом трудового американского знамени... Блевать меня, Рука, тянет от всей этой говорильни, и здравиц. Обобранные до нитки крепостные мои крестьяне снятся мне по ночам и, бывает, по неделям не вылезит из башки гнусное, рабское слово трудо-день... тру... тру... тру... тру... Как напьюсь, так вылетает оно до следующего запоя. Неужели же, Рука, так и подохнем мы в этой лжи, с дубинками да погонялками в руках, раскидывая народу по праздникам пряничные ордена и медали? Как ты думаешь, Рука?

Крепиться у меня больше не было сил. Губы задрожали, я упал, спрятав голову в ладони, на колодину, на то место, куда вы усадили меня тогда, бутылка упала, яички пасхаль-

ные покатились по первой травке с берега в речку, а я вою в голос, как в детстве, и не верится мне, что вот сейчас утру я слезы, облегчив душу, гляну вокруг и не увижу ни деревни, ни телят на выпасе, ни первого гусиного выводка, ни отца в огороде, ни мать, идущую с коромыслом по воду, не верится мне, что я ничего не увижу и что я — это я — одинокое, бездомное, искалеченное существо, отправившее на тот свет несколько десятков таких же, в общем, жертв дьявольской силы, как я.

Пашка силком оторвал меня от колодины. Я обхватил ее руками и не хотел вставать...

Что с вами, гражданин Гуров?.. Встаньте с пола!.. Встать! Прекратите рев!.. И не уверяйте, что пронзила вас вина передо мною... Не верю... Вы отчаянно хватаетесь за соломинку, а если бы не потеряли способности здравомыслия, то поняли бы, что нет у вас шансов на спасение... И не веселите меня сбивчивыми извинениями. Это очень смешно. Простите, дядя, я вам яички отморозил! Смешно...

Ну, хорошо. Раз вы уверяете, что в душе вашей произошел «критический сдвиг и перелом», если правда то, что «пронзила вас вина» и вы «как бы побывали в моей шкуре», ощутив мое унижение и боль, то колитесь! Замочили вы лично Коллективу Львовну Скотникову?.. Опять «нет!»... Но и я не фрайер с седыми висками. Ты ищешь, крыса, шанса, последние лихорадочно перебираешь варианты! Критический сдвиг в тебе, видите ли, произошел! Последний раз спрашиваю: убивал?.. Нет. Хорошо. Рябов! Давай сюда вещественные доказательства паскудной вины Гурова. Он мне окончательно надоел...

## 62

Характер вашего отчаянного запирательства становится мне любопытным, но допустить, что преступление вытравлено из вашей памяти, как глист из пуза, я тоже не могу... Помолчите. Раз я решил расколоть вас, то расколю. А вот зачем мне вас раскалывать, вам знать не положено. Если вы игрок — попытайтесь разгадать мою комбинацию... Не можете?.. Вот и помалкивайте.

В разговоре с Вигельской я напоролся на интересную деталь, уверившую меня в вашей виновности. Мадам, бешено ревновавшая своего мужа, обшмонала однажды его пиджачишко. Что же она надыбала в нем?.. Извините, что опять пользуюсь лексикой тюремных надзирателей... Она надыбала в нем свидетельство о смерти Коллективы Львовны Скотниковой, заранее приготовленное Вигельским.

Сюжет складывался так: после одной из истерик Вигель-

ской доктор якобы на коленях молил ее прощения и поклялся навсегда покончить с одной своей невинной связьюшкой, в которой ничего, кроме произвольных эрекции, по его словам, не было. Вигельская решила, что «невинная связьюшка» это — Скотникова, и романтически-страстно ждала ее уничтожения. Заяви она тогда в органы или предупреди Коллективу, и опять-таки, кто знает, как сложилась бы ваша судьба... Вигельская восхищалась несколько дней своим мужем, решившимся, как она полагала, на высшую меру ради сохранения семьи... Милая ситуация...

Я не перестану удивляться, какие странные метастазы лжи и заблуждений распускает иногда преступление или преступная идея, превращаясь порой в ряд самостоятельных вроде бы сюжетов.

Будете упираться? Я ведь начинаю понимать, почему вы упираетесь тем сильнее, чем ближе несомненные свидетельства вашей вины. Вы чувствуете непреодолимый бессознательный интерес к механизму разоблачения, но не можете допустить, что работать он начал в тот момент, когда вы впервые задумались об устранении Скотниковой, и работал все эти годы. Вам нужны доказательства его существования и его направленного стремления в эту минуту нашей беседы. И я иногда понимаю вас: трудно согласиться, что гора времени, похоронившая под собой и не такие преступления, перемоловшая детали их в прах, смешавшая до полной неразличимости и причины и следствия, сохранит каким-то образом целехоньким ваше дело, и неведомые стихии обнажат его, как обнажают потоки вод пласты иных веков с погрешностями до исторической жизни и смерти.

Понимаю я вас иногда. И, может быть, даже вы, упираться, более правы, чем я, когда торопливо давя на вас. Должно, очевидно, существовать время разоблачения, не укладывающееся в прокурорские санкции, плюющее на желание криминалиста сжать сроки, а также на надежду негодяев, мечтающих растянуть эти сроки на всю жизнь и еще дальше.

Итак, Вигельская ждала расправы совращенного мужа с совратительницей и, по ее словам, волновалась больше, чем на фильме «Чапаев». В том, что доктор блестяще проведет «операцию», она не сомневалась. И вот в день, указанный на свидетельстве о смерти, Вигельский явился домой, устало поставил саквояжик с эскулапскими принадлежностями на пол и сказал супруге, не подозревая, что она настроена театрализованно и таращит на него глаза, как на Гамлета, обреченного вот-вот проткнуть шпагой Полония, или на эсерку Каплан, пробирающуюся в толпе рабочих к своей жертве.

— Ты представляешь?.. Скотникову хватил удар. Мгновенная смерть. Молодая женщина. Это бывает с людьми, подвер-

женными половым излишествами... Мы все должны умерить наш пыл. Поговаривают о ее патологической жестокости и подлости...

Оставим Вигельских... Много бы я сейчас отдал за возможность побыть пару минут в вашей шкуре, в вашем аду и тут же выйти из этого смрада обратно. Представляю, с каким сладостным чувством освобождения провели вы ту первую ночь, не содрогаясь от присутствия в доме покойницы, сжимая в кулаке две прелестные жемчужины. На следующий день привезли дубовый гроб со склада, из царских еще запасов. Вы одели Скотникову в ее китель, пошитый по-сталински, и фуражку. Бандитка двадцатых и тридцатых годов лежала в гробу, утопая в цветах и тайне смерти. После этого вы вызвали телеграммой Электру. Правильно?.. Правильно. Затем гроб с телом Скотниковой стоял сутки в клубе управления. Затем мадам похоронили, и сейчас вы поимеете минуту, которая воздаст вам за бесконечное счастье удачи, испытанное вами при возвращении с кладбища на партийные поминки, когда вы поддерживали сильной рукой настоящего мужчины слабую руку сироты Эленьки.

Рябов!.. Волоките его сюда... Не бойтесь, не рассыпется... Смотрите внимательно, гражданин Гуров!.. Смотрите! Я рискую, что хватит вас кондрашка, но вы смотрите! Узнаете гроб? Это — дуб мореный. Он, бывает, по двести лет в сырой земле не вянет, а в песке может цивилизацию нашу чудесную пережить!

Думаете, мистифицирую?.. Нет! Открывайте крышку, Рябов! А вы, гражданин Гуров, не глупите, воспринимайте реальность, может, крохи пользы какой-нибудь вытянете для себя...

Смотрите, как габардин кителька сохранился на шкелетине... Розы хранят слабый цвет. Гроб хранит тайну... Фуражка смешна на черепе... Вот заключение экспертов и фото затылочной части черепа. Взгляните. Сейчас уже совершенно неважно, в какой именно момент вы подошли к любимой маменьке и врезали ей по темечку обернутой в мягкое железякой... Сознаетесь?.. Нет... Хорошо. Сейчас уже глупо колотиться и некрасиво. Да мне и не надо... Когда Коллектива шмякнулась, потеряв сознание, вы, скорей всего, окунули ее голову в ванну, и она тихо задохлась. Вы вызвали Вигельского. Отдали ему белую жемчужину. Получили заключение. Уничтожили все следы. Просушили волосы Коллективы и уложили ее в ненавистную кровать...

Но до сих пор не пойму я, зачем спрятали вы в гробу орудие убийства. Достань его из гроба, Рябов! Вот он, ваш гаечный ключ 24×28. Возьмите его в руку! Смотрите, как интересно! Сама к нему ваша рука потянулась! На кой хрен было вам класть его в гроб? Со злорадства? Из цинизма?..

Нет! Я думаю, что в какой-то момент, перед самым приходом чекистов, коллег Коллективы, вы, опасаясь обыска, сунули его на всякий случай под спину покойницы.

Сколько угодно мотайте своей башкой и разглядывайте ключ, как бы не узнавая. Положите его на место... Да! Сами... Склонитесь над гробом. Не отводите глаз от пустых глазниц. Можете взять в руки череп. Посмотрите на трещину в затылке и вмятость, а завтра мы полюбуемся на групповой портрет семейства Гуровых перед этим гробом.

Опять бухаетесь в ноги! Очумели вы, что ли?.. Ну что вы можете дать мне взамен отказа от увлекательного зрелища совершенной мести? Нет у вас таких сокровищ. Нет!.. Давайте пообедаем. Кусок не лезет в горло... Будете пытаться убедить Электру в том, что все происходящее и бывшее — туфта?.. Бесполезно. Вы это правильно сообразили. Не торопите меня быстрее кончать всю эту катавасию. Всею свой срок.

Но как вам все же хочется и рыбку съесть, и на хер не сесть. Как хочется и пожить еще, и не обоссаться в глазах жены и внука. С ним так совсем беда у вас будет. Плюнет в рыло. Хоронить даже не придет. Он серьезный молодой человек.

## 63

Но ладно... Вы почему, гражданин Гуров, не интересуетесь дальнейшей судьбой папаши?.. Странно подумать, что вообще был у вас отец?.. Плохое чувство. А ведь он был. Был.

Я ведь вас нарочно отвлекал от гробешника. А то ваши глаза как-то остекленели, и я перетрухнул, что контраст между тем, каким вы предполагали увидеть закат своей сверхобеспеченной жизни, и местом, ожидающим вас в групповом портрете семейства, начисто помутит то, что я вынужден назвать вашим разумом. Итог жизни, чего уж тут говорить, херовато-синеватый, как нос у утопленника. Делом вашим уголовным я заниматься не собираюсь. Не собираюсь я также вызывать сюда на встречу с вами оставшихся в живых лагерников. Они умудренно стали взрослей детской мечты о возмездии и, возможно, именно поэтому преступникам и злодеям кажется, что в этой жизни чаще всего наказание не следует за преступлением. Следует.

Отец мне опять давеча снился. Днем. Прикорнул я, когда сидели вы и смотрели остекленевшим взглядом на гроб дубовый, сорок лет назад опущенный вами в могилу на свеженьких рушниках, конфискованных в кулацких хатах, и явился мне Иван Абрамович. На огороде нашем дело это было.

— Ты огородом, сукин сын, занимался? Погляди, дубина, вокруг! — сказал отец.

Гляжу, и обмирает моя душа: на всех огородах и еще дальше за плетнями, чуть не до самой Одинок, бело-фиолетовое цветение картошки, и ветер подминает темную зелень ботвы, жарко донося до моих ноздрей пасленовый дух полдня, и только наш огород черен. Ни всхода. Черны грядки, как могилки укропные, морковные, огуречные, черно картофельное наше поле.

— Дубасить я тебя не стану, — говорит отец. — Поздно тебя дубасить, а ты садись вот тут и поразмысли, как так произошло, что ты семечко и клубешки посеял, а ничего не взошло. Говорил я тебе: брось ты их, Вася, брось, оставь, нам свидеться надо будет, не губи ты душу свою. Теперь же сиди тут один, где в каждой лунке пустопорожнее семя, даже птицам небесным клюнуть нечего и нечем побаловать-ся здесь случайной мышке. Дурак, одним словом.

Он ушел, растаял в мареве. Я остался один на черной земле, с ужасом вечной обреченности и непонимания в душе, и — странная вещь! Солнце июльское кажется мне холодным, просто обдаёт лицо метелью морозного света, прокалывая сосульками лучей рубашонку, а земля наоборот — горячей кажется и живой, как печка, и тянет меня в нее, верней, втягивает, без какого-либо насилия над моей волей, без боли, без моего желания, просто втягивает, и я согреваюсь, промерзнув до мозга костей под круглою льдиной солнца, но не ощущаю обступившей меня земли, как раньше не ощущал краев воздушного пространства в безветренный день. А на уровне моих глаз лежат непроросшие огуречные желтые семечки, укропные и морковные зернышки и пяток здоровенных, с лошадиный зуб, семян подсолнуха. Это я посадил их сам для себя, думал поливать и вырастить такими, чтобы обломали шапки подсолнухов, созрев, свои стебли... Картофелины вижу сморщенные и пожухлые, хрен торчит с того года не вырванный, корешки какие-то... Вон — монетка золотая. Мать обронила ее в молодости, а найти никак не могла... Вон — косточки птичьи, соломинки, веточки, перегной и дар скотины нашей — навоз, богато смешанный с составом земли, но мертво в ней семя, мертв корень.

И вот еще до понимания явленного мне знания, я начал следовать ему в земле как над землей, в воздухе, и дышать на семя и корни, и они теплели, готовые к жизни, а не были мертвы, как казалось мне. Но если не теплели, я, превозмогая во сне остатки глупой земной брезгливости, брал их в рот, целовал, поил влагой слюны и помещал на место, которое они занимали, и чувствовал в каждом начало жизни. И я удивился: никогда, живя над землей, не чувствовал и не замечал я на ней такого количества жизни! Она обступала меня со всех сторон и была не понятием, но существ-

вом бесконечно многоликим, чья слабость, хрупкость и зависимость равнялись его всемогуществу и тайне происхождения. Я боялся пошевелинуться, чтобы не задеть проклюнувшийся росток укропа и высунувшийся из расщепленного огуречного клювика зеленый жадный язычок жизни, и не стал переворачивать клубни картошки так, чтобы сподручней было белым и лиловым колоскам вырваться туда, где мне было холодно, а им тепло. Они сами находили дорогу к солнцу, а я понимал, что, живя на земле, не знал правил бережного отношения к жизни, способствования ее росту, зрелости и ожиданию часа жатвы... Я чуял, что надо мной уже зеленеет ботва, догоняя соседние огороды и поля, и слышал голос то ли отца, то ли одного из подследственных: «Ты возомнил в своей гордыне, что есть на свете мертвые души. Нет мертвых душ! Но есть видимость отсутствия в них жизни и готовность жить после освящения дыханием Света. Ты, главное, не убивай, ты способствуй! В остальном разберутся без тебя!»

Вот какой сон мне приснился, гражданин Гуров... Вы утверждаете, что дремал я минут пять?.. Странно. Чувствую себя посвежевшим и совершенно точно знаю, что мне теперь делать. Это мой последний шанс свидеться с отцом... Тупика больше нет, даже если это только кажется... Слушайте меня внимательно. Возьмите себя в руки, пососите нитроглицерин и не наложите в штаны от расширения всех сосудов и кишок вашего мерзкого тела...

Я дарю вам жизнь... Да! Дарю. Переживите это сообщение, а условия, на которых я дарю вам жизнь, мы обговорим позже. Мне тоже нужно обмозговать происшедшее, как непредвиденный и неожиданный момент не в игре, но в жизни... не спешите узнать условия выживания. Они приемлемы... Более того: они для вас чрезвычайно выгодны. А момент этот, думается мне, я предчувствовал. Но комбинации такой не ожидал... Нравится мне она. Спасибо, Господи!

## 64

Ну, как? Приятные испытываете эмоции? Представляю... Я тоже «душевно цвету», пользуясь вашим дурацким выражением. Оба мы цветем. А условие мое главное вот какое: завтра, в день моего рождения, мы слегка поддадим, закусим, поболтаем, может, песню споем или цыган зарубежных послушаем, еще поддадим, и вы, гражданин Гуров, пустите мне пулю в лоб вот из этого «несчастья»...

Не хлопайте ушами. Я сейчас сдую с них пыль. В подробности моих внутренних дел я вдаваться не буду. Считайте, что я «поехал», думайте что хотите, предполагайте и так далее, но такая моя смерть — единственный послед-

ний мой шанс свидеться с Иваном Абрамычем и всеми нашими... А вы живите. Придет час и с вами разберутся. Вам сохранится жизнь без возвращения главных драгоценностей и крупной суммы денег. Куда все это денется, вас не должно интересовать...

Ах, так! Вы полагаете, что все это очередная тонкая, может быть, последняя попытка, и вы решились встретиться ее лицом к лицу, не страшись шантажа и вообще ничего не страшись... Полагаете, что, дав согласие влупить мне пулю в лоб, вы ошалаете от надежды и радости, но патрон окажется холостым, если, конечно, раздастся выстрел, и я дьявольски злорадно захохочу, после чего укокошу вас, так как вы сто раз заслужили муку пострашней смерти...

Вы просто плохо поняли меня, гражданин Гуров... Наоборот: вы считаете меня не таким идиотом, чтобы после всего, что было, после бесед, пыток и издевательств, не только даровать вам жизнь, но и дать пришибить человека, лишившего вас всего, что у вас было и раскопавшего завалы вашей подлой памяти... С логикой такой сладить почти невозможно... Значит, вы не согласны на спасительный для вас выстрел?.. Не верите мне?.. Но ведь если вы не используете такой последний шанс и не дадите использовать его мне, то устрою я вам свиданку с семейством, устрою! И прямо над гробом, над скелетом в кителе, над черепом в фуражке, над блеклыми розами, над орудием убийства! Раньше этого вы не подохнете, если вы думаете исключительно о себе. Можете быть уверены в этом... Согласны?... Тогда я попробую взять вас с другого бока. Согласитесь. Куда вы денетесь?

Рябов! Кати сюда кочерыжку на тачанке. Так, гражданин Гуров, знаете, кого прозвали жители пансионата закрытого типа для старых большевиков?.. Не ворочайте рогами. Не догадаетесь. Вашего милейшего папеньку так прозвали они! Сейчас его ввезут. В связи с тем, что планы мои относительно себя и вас неожиданно изменились, я решил показать вам папеньку до приезда сюда ваших родственников. А приезд их еще не поздно предупредить. Принимаете мое предложение? Нет... Давай его сюда, Рябов!

Это — все, что осталось от вашего отца, гражданин Гуров... Узнаете?.. Трудно узнать. Согласен. Примету какую-нибудь помните? Посмотрите на шею своего родителя, а то еще скажете, что обрубок этот я выкопал на Даниловском рынке или в подмосковной электричке... Есть шрам и пороховые синие щербинки?.. Вот так!.. Учтите: он видит, но слабо, неплохо слышит, но говорить не может. Не смотрите на меня с ужасом. Это — не моя работа. До таких дел я не доходил... Почему при наличии слуха у него отсутствует речь, я не знаю. Слов, очевидно, нет после всего, что он вынес.

Врачи говорят, что бывает такая штука от шока.

Понятьев!.. Понятьев!.. Перед тобой — твой сын — Василий!.. Слышишь?.. Узнаешь?.. Подойдите, гражданин Гуров, поближе. Возможно, папа захочет тихо плюнуть вам в рожу... Подойдите, а то я его к вам сам подтолкну на колесиках... Не хочет плеваться папа... Вы попробуйте все же почуять как-то, что папа это, папа! Отец ваш! Свиделись вы. Я еще ничего не рассказал ему о том, как вы поступили с маменькой. Но расскажу, если будете упрямы. Разумеется, я представлю вашим близким доказательства предательства. Вон она — папочка. Представлю, если вы, повторяю, не дадите мне использовать последний шанс свидеться с покойным Иваном Абрамычем... Слышишь, Понятьев? С тем, кого ты шлепнул в двадцать девятом! Не забыл еще? Меня-то ты и после смерти не забудешь... Почему я хочу, чтобы именно вы, гражданин Гуров, пустили мне пулю в лоб? Вы последний человек, которого я хотел замочить на этой земле. Отца вашего я за человека считать не могу. Сочувствую ему отчасти. Он получил больше того, чего я ему желал. Вы последний человек, с которым я хотел как можно изощренной свести счеты, и считаю, что мне это почти удалось... Но я хочу свидеться со своим отцом! Вы понимаете это? Хочу! Хочу! Если я шпокну вас, то шансов у меня уже не будет! Ясно? Вы — мудаки! Я не то чтобы жить не желаю и хочу умереть! Я хочу с отцом свидеться! Не верите... Я сам приучил вас к неверию в нашей страшной игре?.. Это верно!.. Вас устраивает перспектива встречи и объяснения с близкими перед гробом со Скотниковой и обрубок-отцом?.. Не устраивает...

В таком случае времени у нас почти не остается. Решайте. Детали сделки я обдумал. Уголовное дело сгорит на ваших глазах. Вы сами его сожжете. Версия ваша такова: крупное ограбление дачи. На этой почве — прединфарктное состояние. С вами до поры до времени останутся Рябов и врачиха. Завтра я покажу вам медицинское заключение о моей смерти. Инсульт. Стрелять будете не в лоб, а в сердце. Я хочу почувствовать боль. Меня похоронят в Сухуми. Место на кладбище уже есть. Что еще? Гроб перезахоронят. Все следы заметут. Отца увезут в пансионат досматривать информационную программу «Время». Он очень любит ее. Родственники будут обхаживать вас. Согласившись, вы рискуете только тем, что я лишний раз над вами поизгиляюсь. Но мне это так смертельно надоело, что вы могли бы почувствовать мою усталость, стыд и горе, если бы чуть поживей была у вас душа.

Мне нужен ваш ответ. Хватит трепаться... Докопаться до мистической, как вы говорите, подоплеку моего желания вам все равно не удастся, если так и не удалось, а мне с каж-

дой секундой все ясней становится, что правильно я поступаю и уже не сводят меня с ума голоса реально существовавших людей, даривших мне, палачу, подобно Фролу Власычу, образы жизни в мыслях своих и поведении. Короток мой путь, совсем немного осталось, но правилен он напоследок, и дай Бог, чтобы привел он туда, где ждет меня Иван Абрамыч... Ну, и крыса вы все-таки! Отвечу на ваш законный вопрос: самоубийством заниматься не желаю, ибо понял, что не мы хозяева ни своих, ни чужих жизней. Вам понятно это?.. Понятно, но не совсем... Думайте. Решайте... Кто меня прикончит, если вы откажетесь?.. Найдется верный человек. Не беспокойтесь. Запомните: выход у вас, как и у меня, только один. Жить вы будете, выстрелив в мое сердце из вот этого «Вальтера», из старого моего «несчастья».

## 65

Смотрите, как наблюдает за нами Понятьев! Понять пытается, что у нас тут за странное партсобрание. Скотникову, вашу мачеху половую, кажется, узнал. Сохранилась. Твой сынуля замочил ее... Не удивляется... Он от вас и не того еще может ожидать. И ведь прав он, хоть и сам злодей первоотменный!

Когда я нашел вашего старика после того, как, благодаря опять-таки случайности, он попал на этап, а не в камеру смертников, он, узнав меня, умолял его прикончить. Слезы текли из его выцветших глаз, и я понимал их немую мольбу. Но я сказал ему:

— Нет, Понятьев! Раз ты ускользнул чудом из моих лап, значит, суждено тебе жить в таком виде. Живи. Ответь мне, говорю, если бы заново вернули тебе жизнь, как бы ты ее прожил? Так же или по-другому?

Сжал зубы, задвигал желваками, давая понять мне, что не только точно так же прожил бы он свою жизнь, но и из меня кишки выпустил бы, попадись я ему на дороге. Правильно, Понятьев? Видите: кивает... Сколько раз проклял он случайность, вырвавшую его из камеры смертников, — не знаю. Сейчас, очевидно, уже не прокликает. Не прокликает? Мотает башкой. Не прокликает. Он рад и такой жизни... Жизнь — есть жизнь! Правильно, бандит? Кивает. Правильно. И вы, принимая решение, не забывайте этого, гражданин Гуров... Понятьев! А ты не хитришь ли, не притворяешься ли довольным и внутренне кипучим, чтобы спровоцировать меня, чтобы, вроде бы лишая тебя радости, освободил я тебя от наказания судьбы? А?

Нет. Не хитрит. Он нам всем еще даст дрозда. Африку завоюет. Нефть Ближнего Востока приберет к рукам. Израиль

сотрет с лица земли. В Европе — старой шлюхе — наведет порядок. За Китай возьмется. Поделит сферы влияния с США, изолировав Новый Свет от Старого, занавес железный навечно установив между ними, а Южная Америка сама пойдет в лапы коммунистов. Дура она. Ну, а после раздела мира доканаем потихоньку США и Канаду, деморализованных неуклонной сдачей всех позиций в Европе, Азии и соседней Южной Америке...

Правильно я понимаю твои наметки, Понятьев?.. Кивает. Правильно понимаю. Зовет нас взглядом к экрану, чтобы убедились мы, увидев и услышав выступающих представителей компартий капстран, в его геополитической правоте... Кивает. Сейчас заплачет! Смотрите!.. Корвалана увидел. Вытрите, гражданин Гуров, слезы на щеках папеньки. Противно?.. Тогда я вытру. Мне жалко его. Вернее, мне жалко не его, с его деревянными мыслями, а теплящийся в нем огонек жизни, не имеющий к мыслям никакого отношения... Во! Дает мне понять, что я махровый мракобес, субъективный идеалист и мелкий религиозный мистик... Ладно. Пусть смотрит «Время». Потом кормить его будут. Силен батя?.. Силен!.. Живуч?.. Живуч!.. Вы — в него. Бромом и разной дрянью врачи в пансионате пичкают вашего папашку. 84 года, а ревет иногда по ночам: бабу хочет... Но нет ему по моему приказу бабы... Нету!

Когда я, приехав из срочной командировки, узнал, что Понятьев отправлен на этап, я истерически расхохотался. Не нервничал, однако, ибо понял, что существует какая-то система случайного ускользания от меня моих главных врагов и согласился с ее неведомым мне смыслом.

Через час уже летел на Колыму. Вы понимаете, что заинтересуюсь кто-нибудь всерьез бредовыми на первый взгляд байками про эпизоды киноследствия, в которых Понятьев таскал с Ильичом на первом всероссийском субботнике самшитовое бревно и свихнул вождю ключицу, а потом четвертовал Сталина на Лобном месте, и пошли бы нежелательные слухи, узнал бы о них Сталин и... Представлять, что тогда будет, мне не хотелось...

Прилетаю. Добираюсь. Мерзну в полуторках. Трясусь от лихорадки. Прибываю на рудник «Коммунар». Иду в лагерь. Лагерь окружен батальоном охраны. В лагере восстание. Восстали старые большевики, требуя свидания со Сталиным или хотя бы с Молотовым или Калининным. Они никак не могли понять, что происходит. Если произошла контрреволюция, пусть им скажут об этом прямо, ибо самое трагическое для них в том, что контрреволюция прикрывается ихними большевистскими, священными лозунгами, а пользуется оружием, взятым из большевистского арсенала. Они хотят правды.

Согласны на каторгу и смерть, но они должны знать правду. Сталина — в зону! Молотова — на вахту! Ежова и Берия — к стенке! Да здравствует марксизм-ленинизм! Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего человечества!

Лозунги эти были написаны кровью на простынях.

Но если это не контрреволюция, заявляли старые большевики, то что же это? Вредительство! И если охрана считает себя настоящими советскими людьми, строящими коммунизм, она должна содействовать выяснению истины. Название рудника «Коммунар» требовали изменить и называть временно «Фашист».

Но восстание восстанием, а за неделю до этого трое урок, два врача и Понятьев совершили дерзкий побег, пытаюсь, очевидно пробраться в Индию, как уверял меня начальник лагеря. Почему в Индию? Потому что там тепло... Дурак ты, говорю, и дрянь! Может, отвечает, я и не разбираюсь в географии, зато психологию урок изучил хорошо. Они тепло любят и ни хера не делают. А в Индии, толкуют наши большевички, только бездельем и занимаются вместо того, чтобы осуществлять пророчества вождей мирового интернационала... Хватит, говорю, трепаться, скот! Почему Понятьев ушел! Я тебя за него в колючую проволоку замочу, обоссу и заморожу. Почему он ушел?

Дурак-начальник пояснил, что сам Понятьев никогда бы не ушел... Видите? Кивает папашка...

Его увели насильно, как теленка. И урки, и интеллигентные в прошлом врачи ожесточились в колымском аду так, что решились на каннибальский вариант побега. Обокрали санчасть. Забрали инструментарий хирургический, хлороформ и прочую черню, и прихватили с собой Понятьева. Так пираты прихватывали в разбойные рейсы живых черепах... Почему прихватили именно Понятьева?.. Он был самым тупым, слегка обезумевшим от наших кинофильмов и всех следственных потрясений, фанатичным эком. Открыто и тайно стучал на тех, кто по его мнению сомневался во всесильности и верности учения. На тех, кто пытался установить связь между причинами и предварительным следствием, оголтелой дегенерацией охранников и выхолащиванием всего человеческого в свидетелях по делу. На тех, кто расколол псевдогуманистическую демагогию прессы, радио и литературы. Понятьев стучал, людей вышибали голыми с вахты на сорокаградусный мороз, где они и засыхали. Вот его и прихватили с собой. Интеллигентные врачи думали, что они убьют таким образом пару зайцев: запасутся провиантом, внушат Понятьеву отвращение к учению и как следует его проучат. Меру ожесточения, они, к сожалению, потеряли. Мотает головой... Не внушили, мол. А как ты, Понятьев, относишься к евро-

коммунизму?.. Плюется... В экран только не плюй. Дорогой у твоего сына телевизор...

Тогда я был убежден, что все беглецы или погибли, или изловятся. Побег не удавался в те времена в тех краях никому. Вышло иначе. Если бы папашка ворочал языком, он рассказал бы, как было дело... Кивает. Дурак был Ленин, высказываясь от бескультурья о музыке Бетховена как о музыке нечеловеческой. Нечеловеческой музыки, если только не иметь в виду божественность ее происхождения, а его Ильич иметь в виду, конечно, не мог, быть не может. А вот нечеловеческие муки существуют и существуют постольку, поскольку Господь за них не ответственен ни перед собой, ни перед человеком ни на йоту. Они дело рук и разума самих людей. Вина за них на человеке. И Понятьев испытал их сполна. Это его сейчас нужно вывезти на тележке на сцену Кремлевского дворца съездов и ему, ему рукоплескать, как примеру верности идее, как мученику ее и залог дальнейших успехов на всех фронтах коммунистического строительства. И при этом объявить, что человеческого в товарище Понятьеве давно уже ничего нет и поэтому он наш святой номер два...

Я думаю, что когда кончилась жратва, ожесточившиеся до последнего предела беглецы ампутировали Понятьеву левую... мотает головой... правую руку. Ампутировали под наркозом... Продолжали идти, обходя стороной любой охотничий дымок, пробираясь через самую глушь, чтобы не быть обнаруженными даже с воздуха. Я лично руководил поисками. Они ни к чему не привели. Месяц прошел. Второй кончился. Сколько вы добирались до побережья, Понятьев? Два месяца?.. Кивает... Долго, как я понимаю, сбившись с пути, блуждали... Вторую руку у него отняли. Оба рукава, небось, на лишние варежки пошли?.. Да. Это он вам дает пояснения, гражданин Гуров. Только напрасно ты, Понятьев, надеешься, что сын твой страдает. Не тот он человек. Не так ты его воспитал. Не теми напичкал идеями...

Сначала он шел пешком, как все. После ампутации одной ноги его везли на лежанке, прилаженной к лыжам. Потом он стал таким, каким вы его сейчас видите...

Речь когда пропала? Еще в тайге?.. Кивает... И, заметьте, ни чудовищная антисанитария, ни безумные, не прекращающиеся боли, ни голод (у беглецов был небольшой запас муки и рыбьего жира для поддержания жизни в «черепаше»), ни холод, ни душевные мучения... Стоп! Может быть, как раз отсутствие души или почти полное ее омертвление и помогли выжить вашему папашке. Он ведь наверняка отрицает существование в человеке души... Кивает. Отрицает... Улыбается. Это он, очевидно, говорит, что его не возьмет даже нейтронная бомба...

Молодец! Не знаю, смотрел ли он, как на кострах в котел-

ке булькали похлебки с его членами... Не знаю, думал ли о смерти, пытался ли перед ее лицом соотнести с чем-либо всё выпавшее на его долю, не знаю... Нашли его на берегу пограничники. Опустили по разосланным фото. Спасли. Отправили в лагерь для колымских саморубов. Там он и дождался смерти своего большого друга Сталина и реабилитации.

Бежавшие на краденой моторке урки погибли при перестрелке с пограничным катером. Врачей успел перехватить американский эсминец. Не думаю, что они рассказали заморской публике о своем каннибальстве, каким бы оправданным оно им ни казалось... Жажда жизни, одним словом. Рассказ Джека Лондона под таким названием очень любил Ленин... Кивает папа...

С восстанием же старых большевиков на каторжном руднике «Коммунар» я разделался очень просто. Как прибывший из Москвы эмиссар с неограниченными полномочиями, выступил перед восставшими и сказал так:

— Как вы думаете, граждане, существует или, скажем, теоретически может существовать связь между революцией, провозгласившей своей целью уничтожение всех устоев, и всеобщим аморализмом, который принял такие чудовищные масштабы в политике, экономике, быту и общежитии нашей страны, что партия всерьез задумалась о породивших его причинах? Существует?

— Нет!.. Нет!.. Нет!.. — хором ответили восставшие.

— Если не существует, то кто виноват в таком факте, как недавний побег, в который трое бандюг, ровесников советской власти, и двое вполне интеллигентных врачей захватили с собой крупного марксиста-ленинца, несгибаемого ортодокса гражданина Понятьева? Кто виноват? Его захватили с собой в качестве «черепахи», чтобы съест по дороге, а остатки выбросить собакам и волкам к чертовой матери!

Я взял случай крайний и неслыханный, но повсеместное враждебное отношение повально запуганных людей друг к другу, чудом еще не дошедшее до людоедства, отвратительное равнодушие временно остающихся на свободе к жертвам произвола, а их миллионы, массовая незащитность перед лицом очевидной лжи и демагогии, вырождение рабоче-крестьянской профессиональной совести и многое другое заставили нашу партию, вооруженную марксистским учением о причинности явлений, сделать соответствующие выводы, ликвидировать экстремистские тенденции развития общества и государства и твердо встать на рельсы нашей дорогой и любимой в прошлом эволюции, граждане! Ибо анализ дегенеративных явлений нашей двадцатилетней истории неопровержимо признал виновными в них революционный аморализм и некото-

рых его жрецов типа Ленина, Дзержинского, Троцкого, Бухарина, Рыкова, Каменева, Зиновьева.

Только революция, благодаря которой власть попала в руки уголовников и фанатиков, повинна в том, что, возможно, вот в эту минуту пятеро беглецов, двое из которых абсолютно невинные, но доведенные до ожесточения люди, сидят у костра и облизывают пальчики гражданина Понятьева! В этом нельзя обвинить ни царскую власть, ни помещиков, ни капиталистов, ни церковь, ни мещан, ни разведки капиталистических держав, ни развратное буржуазное искусство. Теория возвращения на рельсы эволюции разрабатывается в настоящее время прибывшими из эмиграции представителями русской традиционной философской мысли...

Возвращайтесь на работу. Осмыслите, отрешившись от многих догм, происходящее, и тогда ваше освобождение и включение в нормальную общественную жизнь будет не за горами! Наши замечательные ученые, поэты, композиторы, художники и журналисты начали на днях исторический эксперимент. Цель его: доказать возможность постепенного возвращения массе людей человеческого облика, потерянного ими в условиях гражданской войны, многолетней партийной свары, вызванной беспринципной борьбой за власть, и неорабовладельчества так называемых пятилеток. Партия просит участвовать в нем всех. Эволюция начинается! Ура!

Многие радостно и свободно закричали: «Ура-а!» Но были там просто хлопавшие ушами дебилы, были мужички с оглядкой, которых время научило крепко стоять на ногах, когда кораблишко бросает с борта на борт, и были твердокаменные.

Эти, дождавшись через двадцать лет свободы, до сих пор оправдывают любую страшную, допущенную по тупости или произволу ошибку исторической необходимостью, а желание осмыслить природу «ошибок» для того, чтобы предотвратить их и искоренить — преступным ревизионизмом.

Правильно я говорю, Понятьев?.. Кивает.

Улетел я с Колымы, насмотревшись там такого, что если бы не память о прошлом и не надежда на будущее, то встал бы я на колени и взмолился бы, как взмолился при мне один экз: Господи! У тебя бесчисленное количество солнц и звездных систем! И жизнеспособных планет в них больше, чем уездов в России. Так порази же мгновенным ударом жизнь хотя бы Колымского края за все, что мы делаем с ней и с самими собой. Порази, Господи, всю землю, чтобы не было обидно колымчанам. Порази, ибо от стыда перед Тобою нет силы жить. Но если, Господи, нет нигде больше в твоих бесконечных краях ни планетки, ни звездочки с какой ни на есть захудалой жизнью, если одни мы, родимые, у Тебя, то прости меня великодушно и милосердно за грешную и похаб-

ную эту просьбу. Всё, что ниспослано Тобою в виде стихий и случаев, все обиды и раны, нанесенные нами самими друг другу, от которых слепнут очи и холодеет душа, я лично вынесу, как выношу уголек из зоны в ладонях, дабы согрел моих братьев людей в вечной мерзлоте костер твоей стихии, и боль горелую в руках приму как награду и смысл.

Услышал я случайно эту молитву ээка, когда зашел в одну зону. Начальничек ее, действительно, оказался небывалым садистом и буквально заражал им остальных надзирателей. Жалобу ээков, с риском для жизни, передал мне вольный горный инженер. Проверил я ладони добытчиков золотишка, на которое содержался, кстати, ряд зарубежных компартий в те времена. Ожоги, ожоги, ожоги. О прочих измывательствах я говорить не буду... Приказываю начальничку, который тоже произвел на меня впечатление человека, вырванного из вращения круга жизни, выстроить в зоне всех ээков. Объясни, — говорю добродушно, — присутствующим, почему ты не разрешаешь им пользоваться спичками и велишь выносить огонь из зоны только в руках, на нежных ладонях?

— Граждане заключенные, — сказал начальничек обычным и уверенным, как на партсобрании, голосом. — Вы у нас есть — враги народа, фашисты, вредители, сектанты, поповщина и агенты. Вы, проповедуя буржуазный гуманизм, бросали яды в ясли, взрывали мосты, заливали в бензобаки танков по утрам мочу и замазывали фары броневиков дерьмом. Вы выводили породы рыб с острыми костями, застревавшими в горлах ударников и стахановок. Вы за бесценнок продавали чертежи наших линкоров-невидимок англичанам и японцам. Вы пропитывали колхозные поля польским искусственным гноем, губившим урожай на корню. Вы через вену подмешивали в сперму крупного рогатого скота сухую ртуть с целью снижения роста поголовья в колхозах. Вы разбавляли чугун и сталь аммиаком и добавляли в бензин соль. Вы делали головки спичек из глины и швейные иголки из свинца. Ваша изобретательность, жестокость и коварство были беспредельны. Вы потеряли право называться людьми, отказавшись принять добровольно классовую мораль. Но мы сделаем из каждого из вас человека с большой буквы. Вы начали всё сначала под руководством великого и любимого учителя всех народов, товарища Сталина. Вы начали с борьбы за огонь, граждане заключенные! Тяжело? Да! Тяжело! Больно? Да! Больно! А им, скажите, было легко тысячи лет тому назад, я книгу читал «Борьба за огонь» одноименную, легко? Нелегко! Тогда не было лагерей с казенной шелюмкой, и еду приходилось добывать самим, а не рыться в помойках и ждать хлеба по пять дней, разинув рыло. Тогда никто никому не выдавал казенных бушлатов, ушанок, простынок и соломенных матрацев, не строил нар

и никого не охранял от нападения мамонтов. Но разгорелось же из искры пламя! Разгорелось и подожгло царскую Россию — тюрьму народов, в которой сгорело все старое: и распорядок дня, и правила поведения заключенных, и нормы питания, и срока, и надзиратели, и зверства жандармских полковников. Сгорело. А вы что хотели? Потушить пожар мировой революции?

Тут кто-то заорал:

— В том-то и трагедия, что мы хотим ее разжечь, а нас посадили!

— Молчать! Не позволю! Вранье! — возразил начальник. — Все вы сектанты, троцкисты, священники и огнетушители!

— Мы требуем и просим соблюдения норм человеческого общежития! — раздался громкий голос.

— Норм? Норму температуры в бараке и на объектах надо заслужить! — сказал начальник. — Пайку надо заработать. Одежда не нравится? вспомните, в чем ходили те, искру которых вы мечтали залить ядами и мочой! вспомнили? Поэтому жалоб никаких не принимаю. Начинайте всё сызнова: с борьбы за огонь!

Херню эту мне надоело слушать. Я вытащил пистолет, который в нарушение всех правил принес в зону, и сказал:

— За потерю человеческого облика, попытку поставить органы над народом и злодейский план возвращения контингента заключенных к первобытному состоянию начальник лагеря Напропалуев Юрий Викторович приговорен особым совещанием к расстрелу. Методы его руководства лагерем осуждены. Надзиратели уволены из органов. Условия жизни будут улучшены.

Для эков все это было сказкой. Дал я им пару минут понаблюдать за начальничком, который начал меняться в лице, и, не глядя, пустил ему пулю в лоб. Кто-то из священников подошел, прикрыл веки убитому и помолился.

В общем, улетел я с Колымы, плюнув уже и на Понятева, и на свою жизнь. Если бы не отъявленные злодеи, по которым пуля плакала с двадцатых годов, я покончил бы с собой. В изведении их была цель моей жизни, но то, что происходило в те времена с невинными, всеобщая деморализация, ничтожества, забравшиеся в кресла своих предшественников, иногда еще большие подонки, чем они сами, и умевшие только зычно гаркать любимое слово партии: «Давай!» — все это бросало меня в ярость и подавляло своей безысходностью.

Вон — Понятев замотал головой. Он считает, очевидно, что никакой деморализации не было.

В вас, гражданин Гуров, зреет решение?.. Думайте..

Вдруг звонят мне в сорок первом, в мае, и сообщают, что Понятьев нашелся. Елки-палки! Опять лечу туда, на Колыму. Где, вы думаете, нахожу я вашего папеньку? Десять фантастов, если начнут гадать и выдумывать — не нагадают и не выдумают, и интересно мне: соотнесете вы после моего рассказа все услышанное с природой дьявольской идеи, сняв с нее, конечно, красивые слова, или же жуткие факты, повиснув в воздухе, будут ожидать тыщу лет установления своего с нею родства. Очень интересно.

Добираюсь до межзонального лазарета.

— Хотите, — спрашивает главврач с нормальным человеческим лицом, — аттракцион посмотреть и сеансов, как у нас говорят, поднабраться? Там и Понятьева своего увидите.

Пошли. Зоны лазаретные, мужская и женская, разделены забором. Перелезть через него нельзя даже здоровому человеку. На нем проволока колючая и острые пики. По обе стороны забора — бараки, операционные, кухни, прогулочные дорожки, морги. Морг женский и морг мужской. Мы стояли в женской зоне, на вахте, оттуда хорошо просматривался весь забор.

— Гони мужиков на прогулку! — распорядился главврач и сказал: — Наблюдайте, товарищ полковник.

И вот товарищ полковник видит через некоторое время, как из дырок в заборе, из одной, третьей, десятой, двадцатой, вылезают разных размеров стоячие мужские члены, а один из них самый здоровый. Главврач и вахтенные охранники засмеялись. Я не сразу сообразил, над чем они хохочут.

Да! Представьте себе, гражданин Гуров, вылезают на наших глазах стоячие мужские члены, которым бы сейчас жен своих радовать и веселить, бабенок-полюбовниц в сладкую пропасть закидывать, детишек зачинать, а они вылазят из дырок в заборе, залатанном во многих местах, вылазят в заново пробитые дырки, просовываются еще пять-шесть членов, и вот уже, визжа, горланя, хохоча, задирая на ходу юбки, платица и комбинашки, бегут к членам из открытого барака несчастные бабешки... Облепили забор, тычутся кто задом, кто передом. Я остолбенел и как бы отлетел сам от себя, став бесплотной тенью, потому что душа, много чего повидавшая, не могла признать в первый момент реальности «провинциального аттракциона», как называли его главврач и надзиратели.

Молодые и средних лет женщины прилаживались к детородным органам заборных мужчин, и я слышал, как сплетаются чисто, вульгарно, нежно, шутливо и страдательно их голоса из-за невозможности сплестись в желанной ласке рукам и ногам из-за черт знает кем изобретенной невоз-

можности принижения в счастье самоотдачи к устам человеческим человеческих уст. Это было невыносимо, и за миг до того, как я пришел в себя, я ощутил в своей душе отрешенную от всего личного любовь к людям, а может быть, страстное сострадание.

Что-то удержало меня дать приказ прекратить это безобразие. Я отвернулся от женщин, стараясь не слышать ни голосов их, ни смеха, ни выкриков, в которых чувствовался назревавший по мере необходимого возрастания в душах общего стыда, взрыв веселого, спасительного хулиганства, и смотрел на похабные лица надзирателей. Я вглядывался в них, потом спросил, откуда сами они родом? Смоленский. Вятский. С Урала. Крестьяне? Крестьяне... Чего с земли снялись? Вы же не призывные.

В райком, оказывается, их вызвали и сказали, что охранять некому и поэтому они, как самые сознательные и трудолюбивые колхозники, должны взять винтовки в руки и идти на курсы надзирателей. Ну, а то, на что вы смотрите, интересно? — спрашиваю. За всех ответил главврач:

— Интересно с точки зрения, до чего могут пасть изменники, воры, шпионы и вообще все враги народа.

Идемте, говорю, в мужскую зону. Вызовите бригаду плотников. Снимите забор. Пусть совокупаются по-человечески. За демографический взрыв будете отвечать лично вы. Развели тут бордель! Колониалисты, фашисты, капиталисты и помещики не позволяли себе измываться над первичными человеческими инстинктами. Вы же не только позволили, но и рыла свои осклабили. Доложу Берия! Всех перестреляю!

Приходим в мужскую зону. Помните, Понятьев, тот момент?.. Помнит. Он все помнит, в отличие от вас, гражданин Гуров...

Двое зеков держали его на руках, прижимая к забору. Я сначала не понял, что безногий и безрукий обрубок с совершенно голым черепом — ваш папашка. Это ему принадлежал самый длинный хер. Папашка силился получить удовольствие. Я подумал, что вид мужиков, отправлявших нужду в бабах, был не так унизителен, беспомощен, жалок, не так разрывал сердце, как вид суетившихся перед забором женщин, неловко совершавших мужские телодвижения и, возможно, ухарски воображавших себя в эти минуты сильными, страстными, горячими мужиками. Внешне во всяком случае извращение человеческой природы меньше чувствовалось в зоне мужской, а не в женской...

Смотрите! Понятьев заматал головой, давая мне понять, что никакой ответственности за это извращение и принуждение к извращению его чудесная идея не несет и нести не может, ибо на ее знаменах, орошенных кровью рабочих и крестьян, не написано ничего такого, что обещало бы образование дырок

в проклятом и бедном лазаретном заборе. Несерьезно. Но если оценивать способность идеи к самозащите, то талантливо. Сатана ведь хитер.

Когда два добрых ээка оторвали мычавшего обрубка от забора и опустили его в брюки, я сообразил, что это — Понятьев!.. А ээки сами бросились к дыркам, наверно, по второму разу, но и их уже торопили пляшущие от нетерпёжа худые, бледные люди в больничных халатах. Изможденные, импотенты и старикашки смотрели на них в сторонке снисходительно и с некоторым превосходством, как временно или навсегда бросившие пить смотрят на соблазненных знакомым пороком. Четверо из их числа снова подхватили папашку и всунули в дыру непадавший член.

Боже мой, думал я, Понятьев! Объяли-таки его! Но жив! Жив! Мало того — жив! Но и туда же лезет! Вот — порода! Вот — сила!

Что-то омерзительно-восхитительное было в вашей папашке, гражданин Гуров. Неужели молчит сейчас ваше сердце? Мое ведь и то тогда дрогнуло. А когда до меня дошло, что он от шоков потерял речь, я понял, что с него хватит. Узнав меня, он взмолился глазами: убей, Рука, убей!..

Но мы об этом уже говорили. Живи, Понятьев. Ты свиделся с сыном. Не буду сейчас мешать вашей встрече. Побудьте наедине. Поскольку, если повезет, если простят, мне тоже предстоит встреча и ответ перед Иваном Абрамычем, я пойду и сделаю кое-какие распоряжения относительно замёта всех следов. Так что к приезду сюда ваших родственников, гражданин Гуров, все будет убрано, вынесено, прибрано и приведено в полный порядок. Вам останется разыграть обобранного богача с сердечным приступом и успокоить всех, что на их век хватит еще у вас деньжат и антиквариата.

Если вы скажете «нет», то после моего представления вас вашей жене и внуку, в присутствии отца и приемной мамы, я вас уюкошу, а дом сожгу. Уюкошу вас не я лично. Мне нельзя. У меня последний шанс и завтра — день рождения... Между прочим, к вам, кажется, рвутся Трофим и Трильби. Почуяли некий поворот судьбы. Почуяли, что не от вас, а от меня разит теперь мертвечиной... Рябов! Впусти тварей бедных!.. Ишь ты! Ишь ты! Как папашку вашего обнюхали удивленно. Ласкайтесь. Повсхлипывайте. Есть над чем. И думайте. Думайте. Ровно через десять минут я приду за ответом.

Слушай меня, Рябов, внимательно. Если бы ты спросил меня, как я сейчас спрашивал Понятьева, иначе прожил бы

я свою жизнь, если бы мне ее по волшебству возвратили и посадили обратно в детдомовский кандей с отмороженными навек яйцами, я бы не стал ничего отвечать. Я связал бы дежурного, оглушив его кулачиной, и это было бы мое последнее касательство до плоти человека. Я пробрался бы, закосив юродство, в уцелевший монастырь и молился бы ежедневно и еженочно за мой взбесившийся, изнасилованный, замордованный, страдающий, ослепленный и любимый народ. Я молился бы страстно за его исцеление и вознесение над обидой за насилие, сохранение достоинства и понимание смысла страдания, я молился бы, постясь, чтобы чище была моя молитва, за его душевные прозрения и сопротивление ожесточению... Я и теперь молюсь за все это.

Но я грязен, бесконечно грязен, я сознаю напрасность своих греховных мстительных усилий. Мне хочется по-детски, от слабости душевной, свалить вину на своего бессмертного приятеля графа Монте-Кристо, ибо зла натворил я намного больше, чем добра, и жизни во мне осталось так мало, что думается сейчас: не угас ли в ладонях моих уголек, не остывает ли в них пух пепла? Имею ли я право, собственных грехов не замолив, печься за других, за тех, кто чище, выше и праведней меня стократ? Не имею. Я молюсь сейчас коротко и ясно за прозрение слепых, но сильных, злых, но не ведающих, что творят, восхищенных искусственной звездочкой, но заплевавших звездность души, за тех, кто душит дар Божий — свободу, но сам кандалный раб миражей в сатанинской пустыне...

Слушай меня внимательно, Рябов. Он согласится. Я знаю. Я верю — он согласится. Нельзя не согласиться за такую цену. Но когда он согласится, и я полечу... неизвестно куда, скорей всего в тартарары, потому что, если Бог простит, то отец заупрямиться может, он упрямым до вредности иногда мужиком бывал, сам потом проклинал себя за упрямство, но мать прощала и вот: смотрю — они уже сидят на завалинке, семечки щелкают, и мать отцу говорит: «Дурак ты все же, Ваня, хоть и головаст». «Верно. Говнист. В кого бы это?» — смеясь, отвечал отец. Так что не знаю, заупрямится он или нет, но когда я полечу, ты заплати за меня Гурову сполна. Нельзя, чтобы вышел он сухим, падлина, из воды. Ты тело мое сразу отправь, куда следует, а родственников этих двух типов вызови самолетом, и пусть они все посидят, постоят и посмотрят друг на друга, и череп Скотниковой пусть скалится на них, и Понятьев мычит пускай на сына, косясь одним глазом на программу «Время», где будет репортаж о проводах представителей иностранных компартий, и где он сам вполне мог бы, при своем скорпионном здоровье, лобызаться троекратно с Гусаками, Корваланами, Цеденбалами,

Холлами и прочими амбалами. Если Гуров выдержит свиданку — ты уж шлепни его. Возьми грех на душу, а я там похочу, как ловко я его, паскуду, уделал в игре. Пусть Федя узнает, что мать его стукачка гнойная и многолетняя. Пусть он все узнает о деде и прадеде. Пусть узнает. Он должен знать все язвы всей волчанки мира, ибо призван его исцелять... Так... Что еще? Каша у меня какая-то в голове. В душе чище гораздо и проще... Пленки сожги. Папочку я сам в огонь кину... Вы все обеспечены и свободны. Делайте свое дело, сообразуясь только с совестью и высшим долгом. Моя жизнь вас кое-чему научила. Не проболтайтесь по пьянке, в какой сногшибательно-романтической операции вам пришлось участвовать. Крупно погорите.

Да! Пока не забыл: съездите все вместе на сороковой день в Одинку. Сядьте там на ту колодину, врежьте за помин моей души по стаканчику, закусите, посмотрите вокруг на эту землю, посмотрите и налейте еще и скажите: «Слава Богу!» Помолитесь, разумеется... Нелегко мне было. Впереди еще трудней, но это все-таки — путь. Путь... Но что же тогда то, что я прошел, проканал, прокандёхал? Жизнь... Жизнь... А это — путь. Завещания я не оставил. Незачем привлекать к кому-либо внимание. Возможно, я чего-нибудь не учел, что-то позабыл. Немудрено. Сам додумашь. В комитете на Гурова не заведено никакого дела... Я для них в отпуске. Инсульт для полковников вроде меня — смерть легкая и почетная... Ну, я пошел к Гурову.

## 68

Вы что, не видите, что отец в сортир хочет? Берите его в охапку — он легкий — и несите... Вот так. Поухаживайте... Давайте уж, помогу...

Не ставьте его близко от телевизора: глаза воспалятся... Включите. Сейчас будет передача про бои труда и капитала в Америке. Но о чем я, идиотина, думаю в эту минуту? Чего ты уставился на меня, Понятьев, своими крысиными глазками? Чему ты радуешься? Чего ты хохочешь? Ты думаешь, что загнал меня в конце концов в угол? Киваешь... Ваше слово, гражданин Гуров...

Вы все обдумали, но по ряду причин не согласны... Этого я не ожидал. Не ожидал... Принимая решение, вы исходили из собственных интересов или успели поболтать с отцом в сортире? Впрочем, и раньше было у вас время сговориться... Из собственных интересов... Так... Ответ ваш окончательный или будем торговаться?..

Гарантий я вам никаких дать не могу, да и какие могут быть гарантии? Есть шанс у меня и шанс у вас... рискуй-

те. Вы не раз рисковали... Вас устраивает встреча над гробом? Нет... Но и убивать вы меня не хотите... Вы на коленях умоляете меня, как религиозного человека, о ничьей? Правильно я вас понял?.. Правильно. Но это смешно. Смешно. Так дело не пойдет. Вы посмотрите на папашку! Он ведь и над вами хохочет. Он сейчас счастлив, что оба мы в тупике! Счастлив, Понятьев? Счастлив, и этого не скрывает. Вы понимаете, что он умрет от счастья, если мы с вами сожрем на его глазах друг друга?.. Не «возможно», а точно! Вы — дурак, а ему наплевать, кто кого сожрет первым!

Я еще раз предлагаю вам наилучший вариант, ибо ничьей в нашей игровой ситуации не существует, как впрочем не существует для нашего понимания смысла того, что есть выигрыш, а что проигрыш. Нам этого знать не дано...

Просто я верю в свой шанс и в образ своего спасения, и вы, если я правильно вас понимаю, верите в свой. Вы хотите жить, а мне пришла пора помирать. Папенька же ваш сечет, гадюка, что жить я в любом случае больше не могу, но и вас тогда с собой прихватчу, а он закончит свои дни в пансионате для старых большевиков. Вы понимаете, что вас он ненавидит еще больше, чем меня?.. Догадываетесь... Трильби! Иди сюда! Хозяин не пукает. Рябов!.. Хватит волынаться. Звони дежурному, пусть сажает все семейство на самолет. Завтра в десять ноль-ноль, в минуту начала праздничного парада, чтобы все были здесь, вот за этим столом! Понятьева усадите в кресло во главе стола... Все! Выполняй приказание!.. Одну минутку...

Гражданина Гурова волнует, что я буду делать после его разоблачения?.. Во-первых, окажем первую медицинскую помощь мадам Электре, если помощь понадобится. Во-вторых, отправим всех обратно в Москву. А что будет дальше, меня, откровенно говоря, не интересует. Я имею в виду резонанс всего этого дела здесь на земле. Горите вы тут все пропадом!.. Выполняй, Рябов!.. Отставить!

Я же говорил: на следующий день после моей смерти вы можете вызвать сюда кого хотите: жену, Розу Моисеевну, Эмму Павловну, Лику, свою секретаршу, Галку из «Березки», Маринку из дома кино — целую половую гвардию. Пьянь закатите, обогреют вас и заласкают. Разговаривать с Москвой я не разрешаю вам, потому что вы еще якобы слабы и любые волнения вашего государственного сердца недопустимы. Я уже два раза беседовал с вашей женой и дочерью. Понятьев! Дочь тоже продала вашего сына. Не так мощно, как он вас, но продала...

Всё, гражданин Гуров?.. Что еще? Хотите поговорить с женой и попросить ее взять билеты на самолет на девятое ноября?.. Значит, согласны, дрянь вы эдакая!.. Какое дополни-

тельное условие?.. Оставить отца проживать в вашем доме?.. Ба-а! Ты слышишь, Рябов? А зачем? Вы же не возлюбили его?.. Взгляните: он аж посинел от ненависти к вам!.. Хорошо. Если вы того захотели, я согласен... Живите... Ни на ком не надо креста ставить, как говорил не помню уж кто... Значит, согласны вы. Живите, негодяи. Что, Понятьев?.. Ты хочешь к своим маразматикам?.. Хватит шаландать по казенным домам. Поживи под сыновьим кровом... Может, правнук мозги тебе вправит, если они еще имеются. Девчонками сын с тобой поделится... Бардак тут разведете... Не поедешь в пансионат, и не вертухайся, а будешь рыпаться, он тебя отлучит навек от программы «Время»... Вот и смотри себе на бои труда и капитала...

Но о чем я опять думаю? О чем я думаю?.. Как странно!.. В конце жизни теряешься, как пацан, не знаешь, за что взяться, глаза разбегаются, словно времени впереди вагон, вы довольны, гражданин Гуров, оборотом дела?.. Пользоваться пистолетом вас научит Рябов... Нажмете, пах и — точка... Хочется мне еще раз загрести в лапу ваше лицо, а то оно снова разглаживаться начало и наливаться бледной и тупой сановной водянкой... Чем же мне заняться?.. Мне ведь нечего делать... Но до завтра я доживу. Доживу. Я спать пойду. А вы тут продолжайте праздновать по телевизору...

Кажется, гражданин Гуров, вы начинаете наглотать и шантажировать меня. Что еще за «одно неперемное условие»? Ах, вас не может не интересовать проклятая случайность, отдавшая вас в мои лапы. Понимаю. С омерзением, удивлением и ненавистью хотите представить себе то, что имеет родственное отношение к жестокому лику неотвратимости. Разделяю подобное любопытство. Полюбуйтесь. Извольте.

## 69

Пашка случайно навел меня спустя много лет на вас, гражданин Гуров. Мог бы и не наводить, но приехал специально для этого в Москву, пошли мы в Нескучный сад, я там жил неподалеку, сидим, пиво тянем, он и говорит:

— Извини, Рука, но по-моему я тогда ошибся. Сукоедина, которого ты хотел убрать до войны, жив.

— Нет, — отвечаю, — убрал я всех сукоедин, кроме одной, но ей сама собой выпала тягчайшая из казней.

— Жив. Жив один. Я узнал его на совещании. Ошибиться не мог. Это не он тогда утонул с грузовиком вместе и с двумя баянами.

— Как же ты, — говорю, — мог узнать его? Столько лет прошло. Как его фамилия?

Вас тогда не лихорадило случайно, Василий Васильевич?..

Может, дрянь какая-нибудь снилась или гнетущие предчувствия тяготили? Ухо левое не горело? Из рук ничего не валилось? Странно... Толстошкурая вы личность.

— Гуров его фамилия, — сказал Пашка, — но он тот, который был тебе нужен. Я помню не лицо его, лиц я не запоминаю, а манеру контактировать с графином, стоя на трибуне. Впервые я видел его, когда он выступал в актовом зале института, зачитывал отречение от отца — врага народа и благодарил одну падлу идейную и стукачку, некую Скотникову, за усыновление на общественных началах. Ошибиться я не мог. Контакт докладчика с графином — это у меня почище дактилоскопии срабатывает.

Пашка забавно утверждал, пока я потягивал пиво, хрустел баранками и смирял жестокую охотничью дрожь, что нет на свете двух людей, одинаково относящихся к графину с водой, когда они стоят на трибуне, порют всякую чушь или деловые вещи, и достаточно ему однажды засечь в ком-либо такую строго индивидуальную манеру отношения к графину, чтобы он узнал по ней человека, даже если он будет выступать без оставленной черт знает где головы, что неоднократно случалось на партконференциях, заседаниях и пленумах ЦК нашей партии, где сиживал, подыхая от скуки, Пашка. Он от нехрена делать начирикал на своей громадной, почище, чем ваша, вилле целую монографию об этом деле. Рассказал много любопытного, и я поверил, что действительно не может быть двух человек, одинаково относящихся к графину с водой во время доклада, речи и выступления.

Я понял, что в Пашке погибает замечательный классификатор и психолог. Человек поднимается на трибуну. Начинает зачитывать невозмутимо и сдержанно текст выступления. Но невозмутимость его кажущаяся. Произнеся начало, он, прихватив глазами остаток фразы, заканчивает ее на память, а сам в этот момент, случайно вроде бы, вынимает из графина пробку. В конце следующей фразы он ставит поближе к себе стакан. Затем берет графин за горло мертвой хваткой, как врага, и приурочивает это движение к патетическому возгласу типа: «Позволительно задать вопрос товарищу Бахчаняну...»

Выпускает он горло графина из руки не раньше, чем выпьет залпом стакан воды. Затем, постукивая легонько пробкой по трибуне, произносит фразу типа: «Куда смотрит парт-организация в сложной международной обстановке?» и только тогда закрывает графин. Причем в паузе, вызванной освобождением гортани и пищевода от последней капли воды, в зале слышно нервное позвякивание пробки, не попадающей в горло графина.

Вам сегодня ни к чему, вроде бы, бледнеть, Василий Васильевич, но вы побледнели. Вы узнали себя.

Странно! Ничего такого ошарашивающего в том, как просек Пашка через много лет сходство щенка-предателя с матерым чиновным волчицей нет, а трясануло вас посильней, чем тогда, когда вы стояли лицом к лицу с несравненно более страшными фантомами прошлой жизни.

Понятьев что-то хочет мне сказать. Такой парочкой, как мы с ним, не мешало бы заняться парапсихологам... Ты радуешься, Понятьев, шалея от кинохроники, что коммунизм шагает по планете?.. Правильно? Да. Шагает. Но это шагает не коммунизм, а товарищ Сатана шагает. И не шагает, а топчет. Но не затопчет до конца...

Почему, спрашиваешь? Потому что, как в человеке, так и в мире существуют силы бессмертной жизни, сопротивляющиеся дьявольщине иногда разобщенно, иногда сплоченно, которые в своей непримиримости к ней предпочтут не сдаться, но насмерть стоять за высший из даров, данных нам Богом, — за свободу. Смерть в таком бою, как утверждает в одной работе твой правнук, есть продолжение жизни в неведомых нам формах и окончательное поражение Сатаны. Образа же ее продолжения он никак не может представить и поэтому с такой бешеной страстью стремится удовлетворить преступнейшее из любопытств. Поэтому же, Понятьев, люди, подобные тебе, в критический момент человеческой истории, перед лицом грозящей земле гибели, не желают остановиться, оголтело раздувая вражду с Душою мира, и, кажется, не останавливаются даже если нагадает им сама Судьба на заплыванном перроне Павелецкого вокзала около мертвого паровоза пустые хлопоты, напрасный интерес и смерть в казенном доме...

Шагает коммунизм по планете, шагает не так, конечно, широко, как на экране вашего, теперь общего с сыном, телевизора, но напоминает он мне, прости за жестокое сравнение, Понятьев, тебя, ибо сущность его беспомощна и бессильна, как ты, и так же туп он и слеп в своем фанатизме и обглодан своими попутчиками, как ты, и как ты, порождает предающих его выродков и работает на того, кто копает ему могилу, и тешится, глядя сам на себя, и мычит безъязыкий, бешено завидуя самоизреченности искусства, и ненавидит свободу, потому что они изначально-величественно противостоят власти, и как ты, изнывает от старческого бесплодного сухостоя, и нет для него, как для тебя, страшней невозможности — невозможности испытать естественное наслаждение от жизни и смерти.

Но дьявольская идея так обезоруживает душу человека, бессильную преступить через сострадание, с такими аргументами обращается к наивному и живущему в мире с душою разуму, что он вслепую бросается истово служить Идее, трагически приняв ее низкие искушения за высокое повеление души...

Вглядитесь как следует в глаза отца. Знаете, что говорит его взгляд? Знаете, какая его мучает мысль? Он думает: если ты, палач, если ты, антисоветчик сволочной, прав, то жизнь моя, мои преступления, мои идеалы и мои страдания были бессмысленны, значит, я прожил жизнь зря!.. Вот что говорит его взгляд... Кивает...

Слушай, Понятьев! Ради отца Ивана Абрамыча говорю я тебе это сейчас, и ты мне верь. Кому-кому, а мне ты можешь поверить: не зря ты прожил свою жизнь, если за минуту до смерти ты поймешь, что совсем или во многом прожил ты ее зря, и страдания твои обретут смысл, идеалы ложные саморазоблачатся, преступления, смею полагать, направятся к искуплению, а все остальное в руках Творца... Ты мотай своей башкой, да не забывай сказанного.

Как-никак, а все наши жизни вместе закручены в небес-полезную для мира, я верю в это, канительную круговерть истории Российской империи.

Я тебе, Понятьев, желаю человеческой кончины, потому что ужас за человека вообще охватывает меня, когда я вспоминаю лазаретный тесовый заборчик и длинный синий хер, торчащий в дырке, и женщин, по очереди к нему подходящих и тыкающихся в него, согнувшись в три погибели, и отбегающих вдруг с хохотом, стыдом и облегчением, бедных женщин, не ведающих, может быть, что за забором не мужик-богатырь стоит, подбоченившись, да играючи, побиваячи все половые рекорды Геракла, а четверо доходяг, больных и голодных, держат на руках живую колодину, которая никак не может извергнуть семя, несмотря на всю мощь и сумасшедшее холодное желание. Слезы текут из его взъяренных глаз, когда женщины за заборчиком слетают, как птички, с неразрешающегося сладостной победой члена, а на головы доходяг падают куски хлеба, пачки махорки, брусочки сала и замызганный сахарок — гонорар несчастному самцу и его запыхавшимся ассистентам... Я тебе желаю, Понятьев, человеческой кончины...

## 70

Доброе утро, Василий Васильевич. Будьте папашку. Пописать ему дайте. Оденьте. Слуг не будет... Вот и хорошо, что вы со всем справитесь сами. Я бы тоже справился. Но, думается, мой отец предпочел бы несколько смертей одному дню из жизни Понятьева... Дело не в инвалидности, как вы изволили выразиться... Идите и волоките его сюда. Вот-вот парад начнется. Позавтракаем слегка, а часа в три за стол сядем... Из-за погоды самолет задержался с квашеной капустой, а так все готово. Кое-что готовится... Это — намек,

но всего лишь на поросенка с гречневой кашей. Вы, я вижу, уже трястись начали. Успокойтесь и не портите мне настроение. Я — именинник. Шестьдесят лет. И трястись надо мне, а не вам. Так вы с двух шагов промажете. Идите. Слышите, он уже кровать раскачивает.

...Сюда вот сажайте его. Я ящик включу. Доброе утро, Понятьев! Как спалось?.. Что снилось?..

Закидывайте, Василий Васильевич, в папашку салатик из помидор, севрюжку, омлет. Поздравляю тебя, Понятьев, с шестидесятилетием твоей революции, твоей карьеры, твоих мелких бытовых радостей, гулева твоей, похожей на Ильича, дохлой, но ряженой идеи!

Помнишь, на съемках следственного эпизода «Красная суббота» я устроил перекур, а ты сел на бревно рядом с Лениным-князем и сказал, посмотрев на колокольню Ивана Великого, на Царь-пушку и золотые радости соборов:

— Ничего! Когда-нибудь построят здесь вместо всего этого дерьма мемориальный плац! Поскачут по нему за горизонт бронзовые всадники с саблями над головами, трубы каждый час будут трубить «в поход», колхозники в карауле сменят рабочих, интеллигенты — колхозников, интеллигентов — солдаты, солдат — кадровые партработники, и так до конца времен. А сбюку забьет из фонтана красная, горячая на солнце и в зареве вечного огня эмульсия. Чтобы помнила всякая шваль кровь, пролитую революционерами всех времен и народов. На месте Успенского «стену памятных расстрелов» возведем. К ней торжественно будем ставить истинных врагов народа, хулителей учения Маркса, руководителей капиталистических стран и лидеров профсоюзов США, с особенным цинизмом глумящихся над основными положениями «Капитала». А таких гадов, как Гитлер, Муссолини, Черчилль, Франко и Рузвельт, будем привозить в клетках, показывать пионерам и октябрятам и отдавать обратно. Все наши жертвы окупятся, вся клевета кровавым потом выйдет из времени, как в парной, стиснем мы зубы и скакнем в коммуны! А вот здесь, на этом месте построим из булыжника «пирамиду оружия пролетариата»!

— Зачем вам коммуна, товагищ? — быстро, картаво, с мастерской лукавой прищурилкой спросил князь. Был он бледен, устал, и я усердно подмигивал, чтобы не вздумал он размозжить тебе, Понятьев, голову булыжником. Реквизиторы захлмили им перед съемкой всю площадь.

— Чтобы не работать. Работать за нас машины будут, а мы станем развивать в себе безграничные способности, — ответил ты. Помнишь?

— Но вы, как известно, не габотааете уже двадцать лет, — сказал князь. — Вы, батенька, до агхипгедела газвили все свои способности магодега, судьи, палача, насильника, похот-

ливого козла, законченного пагазита, демагога, лжесвидетеля, а пользуетесь всеми социальными благами бесплатно и еще делаете вид, что не замечаете своего существования в комму-не. Не-ха-га-шо! Очень не-ха-га-шо! Пгосто агхипелаг гедонизма и сибагитства завоевали себе наши конквистадогы! Вы же конквистадог, батенька! Вы Азеф нгавственности!

— Не знаю, с кем говорю, — враждебно и злобно ответил ты, — но тут диалектику знать надо, а ты только картавить умеешь, артист хуев! — урочья природа в тебе тогда заговорила. — Я миллионами людей руковожу, полстраны тяну в комму-ну, в ответе за все, жизнь, можно сказать, кладу на общее дело, так что ж, не прокормит меня, что ли, народ, не оденет и не обучет?

— Оденем. Обучем, накогмим. Бушлат, башмаки, когка хлеба всем будет, — сказал князь. — Вы сами лишили себя свободы: диалектика, судагы!..

Вы, Василий Васильевич, не забывайте кормить папашку. Кофейку налейте.

Помнишь, Понятыев, тот разговор с Лениным?.. Не помнишь. Точнее: вы, коммунисты, умеете забывать всё, мешающее продвигаться вперед сквозь бурелом времени. Ваше дело махать по сторонам топориками, прорубать дорогу в чаще и жрать в голодном бездуховном пути члены и души себе подобных. Ваше дело — тупо нести над собой самый лукавый в истории человечества лозунг: «Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего человечества!» и не видеть его изнаночного содержания, сформулированного для самого себя отцом советской партийной фразеологии — Дьяволом: «Коммунизм — это каннибализм сегодня! Каннибализм — это коммунизм завтра!»

Пейте кофеек, пейте. Вы тогда сказали князю, что вас, как коммуниста, от него отличает полное подчинение своей воли и совести стремлению к Цели, что так называемую личность вы приносите как жертву на алтарь общего дела и благодарите партию и Сталина за трагическую возможность сделать это, благодарите за ПОНИМАНИЕ этого.

Истинные мученики благодарили Творца за ниспосланное им СТРАДАНИЕ, полное бесконечного смысла, животворившее личность, озарявшее тьму существования и сотрясавшее их души чувством неземного счастья. Страдание было для них страстным признанием и доказательством любви и до-верия разума к Душе. И страдание то исторгало из нее счастливые слезы и ответную страсть полного разделения страданий в нелегком пути этой жизни. Нисколько не возвышая себя над морем людских страданий, мученики возносили и возносят молитвы благодарения Творцу, и Творец отвечает им, даруя каждый миг слитые воедино радость в боли, боль в радости, соитие в разлуке,

разлуку в соитии, в преходящем нетленное, в нетленном преходящее, и, следовательно, чувство полноты и бесконечности бытия в Вере, Надежде и Любви.

Так приблизительно сказал тебе князь и добавил беззлобно, поскольку мысль о страдании сама собой сняла мстительное желание ума презрительно поехидствовать над существом заблудшим и несчастным:

— Вы, товарищ, перепутали понимание со страданием. Поэтому, в отличие от мучеников, вы не благодарите Бога за понимание, а наоборот, строчите письма генсеку Сталину с просьбой разобраться в происходящем. Противоречите себе, батенька. Вы трагикомичны, в лучшем случае, в попытке изобразить из себя мученика, и я понимаю ее как зависть к образу истинного страдания, которого не видеть вам, как своих ушей при обращении к Дьяволу. Он хохочет над вами. Хохочет и плюет! — Ты сам тогда засмеялся, Понятьев, а князь продолжал: — Эпизод дела, в котором мы все участвуем, то есть воплощаем инсинуацию в реальность с помощью важнейшего из искусств, за что его так обожал невежественный в культурном отношении господин Ульянов, лишний раз говорит мне о том, что не существует ситуации, когда Бог может потребовать от человека принесения в жертву совести. Не может, ибо совесть дана Им человеку для сопротивления Души всем искушениям дьявольских сил и лукавств Разума, всем их попыткам оторвать Душу от реальности, какой бы абсурдной и трагической она ни казалась. Не требует Бог от человека принесения в жертву совести. Если же приносится такая жертва, то она освящена неправильно истолкованным и неверно обращенным чувством долга и радостно принимает ее Сатана, как крупный вклад в строительство мертвого храма человека нового типа, безличностного раба и помощника в своем грандиозном, жалком, богоборческом, жизнеразрушительном проекте.

Я подмигнул князю в знак того, что он может смело продолжать свою мысль.

— Для чего вы так достоверно и вдохновенно, граждане, жививаетесь в образы вредителей, троцкистов, агентов германской, испанской, японской разведок и убийц Ильича, прости меня, Господи, за эту роль, зачем? Зачем быть вам не самими собой?

— Мы хотим вместе с гражданином следователем доказать нашу невиновность Сталину, исходя из абсурдного, — ответил то ли Лацис, то ли Гуревич, то ли Ахмедов, а ты, Понятьев, молчал.

— Причем тут ваша невиновность, когда вы сами пожинаете то, что посеяли, взрастили и выхолили, коллективизировав в партии и в деле разрушения морали и права собственную Совесть? — вскричал князь, раздваиваясь в моих гла-

зах, резко жестикулируя и фиглярничая, как и положено актеру, не вышедшему из роли. — Почему вы думаете, что Сталин так и поверит, что вы воспроизводили не действительно случившееся, а то, чего с вами необходимо и принципиально быть не могло ни-ког-да, потому что этого никогда не могло быть? Почему вы думаете, что ваше доказательство всесильно, так как оно верно? Вы же потеряли совесть, вы же заложили ее, а люди, потерявшие совесть, способны буквально на всё, от братоубийства до диверсии против моего здоровья! Объективное отсутствие в вас совести и полная безличность — причина того, что люди, ломающие поначалу при известии о ваших арестах головы, затем очень быстро соглашаются с мыслью о вас, как о маскировавшихся врагах. Люди бессознательно чувствуют вашу способность пойти буквально на всё, а Сталину это свойство коммунистов, распявших мораль, известно лучше, чем кому-либо, и во многом именно поэтому совершенно абсурдные, архиабсурдные факты вдохновенного им террора окружает атмосфера доверия. Потеряв совесть, вы потеряли чувство реальности. Вы делали с другими всё, что хотели. Теперь другие делают с вами всё, что хотят, но вы хотите, в мучительной попытке логически объяснить происходящее, подменить страдание пониманием и даже сверхпониманием, то есть, отнести непонятное к мертвой категории исторической необходимости, где размыты и стерты цели и средства, причины и следствия, реальность и извращение, жизнь и смерть.

— Мы, коммунисты, веруем в историческую необходимость и — точка! Иной дороги и веры у нас нет. Если мы сегодня попали под ее каток, то завтра под него попадут другие. Попадут и помучаются почище нас, поскрежещут зубами, вылижут собственную желчь, похаркают кровью и проклянут врагов своих и своего класса! — это ты сказал, Понятев, и добавил: — С нами вера, надежда и ненависть!

Вдруг, схватившись руками за лысину, под которой уложены были примером темно-русые кудри, князь зашатался в немой муке, застонал и, плача, завопил:

— Боже мой!.. Боже мой! Это — ужасно!.. Это — ужасно, Боже мой! Спаси меня от их смрада и скверны!

— Кончай перекур! — крикнул я. Зрелище извращенцев и плачущего «Ильича» было невыносимо. Мимо нас шел отряд пионеров в белых рубашках с красными галстуками. Ребятишки самозабвенно пели, не воспринимая, конечно, адской гармонии и зверского смысла текста песни:

Смело мы в бой пойдем  
За власть советов  
И как один умрем  
В борьбе за это!

Князь, отшатнувшись, смотрел на них высохшими, вытаращенными глазами, ты, Понятев, глотал слезы, остальные тряслись от беззвучных рыданий, а ребяташки салютовали Ильичу, сидевшему на бревне в черном с бархатным воротничком пальто и кепчонке, и, кончив петь, проскандировали: «Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!» Потом снова запели:

И как один умрем в борьбе за это!

— Кончай перекур! — еще раз сказал я.

— Подождите, товагищ... Газгешите дослушать не-че-ло-ве-чес-ку-ю музыку! — взмолился князь, юродствуя.

— Кончай, говорю! — заорал я, чуть не врезав ему по шее.

## 71

Вижу. Вижу, что не терпится вам, Василий Васильевич. Гоните вы время, как ветер гонит воду рек, но течь они не перестают от этого быстрее, а я гоню время вспять, и его не становится больше. Терпеть нам немного осталось... Я, кстати, не спешу выговориться. Последнее слово придет само собой, и его не спутаешь с предпоследним... Вот капутка квашеная прилетела. Стол сейчас накромут. Мы позволим себе кое-чем сегодня полакомиться. Позволим. Я угощаю.

Сейчас же я хочу искупаться. Необыкновенно аппетитно делать что-либо в последний раз и не суетиться при этом, не жадничать, не воображать, что отпущенного может вдруг стать больше. Не помочусь же я в конце концов десять раз вместо одного-двух, ну, в крайнем случае, пяти, и то при условии, что мы набухаемся от пуза «Балтийского» пива! Верно? Как не выпью литр «Смирновской»... Впрочем, пить я не собираюсь. Нельзя... туда являться под балдой. Нельзя... Это я решил твердо. Твердо... Идемте купаться. Папашка уже там...

Вон он! Торчит по грудь в воде. Загореть успел. Фыркает. Радуетя стихии. И я ей порадуюсь, а она не исторгнет из себя ни меня, ни его, ни вас — никого, она всех примет, как всех принимала, и это — замечательно. Стихии — самые демократичные явления на нашей родной земле... Теплая стихия. Совсем теплая. Страшно в последний раз окунуться в нее, словно в раз первый... Пошли!.. Вы боитесь спазма?.. Тогда я пошел!..

Хорошо! Абсолютное отсутствие у советской власти демократичности не позволяет мне считать ее стихией. Ничего стихийного нет в ней, кроме сопротивления ей же человеческого в людях и природного в веществе. Море ненужных советов — вот что такое наша власть... Бросьте полотенце!

Тошно, что сначала приходится покидать навек стихию, а потом уже свинцовое море советов, свалку навязанных идей. Тошно. Однако стихия — первична. Приходится вылезать. Смотрите! Папашка лежит на воде. Как буй держится. Не захлебнулся бы... И в Турцию может унести ветром. Вот турки рты разинули бы и задумались: к чему бы это? Изымайте папашку из воды на бережок любимого им моря. Обедать пора... Прощай, свободная стихия. Прощай. Спасибо...

## 72

Рябов! Слушай меня внимательно! Поскольку я сомневаюсь, что тебе удастся найти место, где стоял наш дом, то похорони ты меня под колодиной. Похорони под ней. Все равно холмика насыпать там нельзя. Нельзя и креста поставить. Следовательно, давай-ка ты меня под колодину... Машина у тебя — стрела. В багажник положишь?.. На бочок положи только и баллоном припри. Осторожен будь. Не дай Бог — авария! Легавые... Досмотр... В багажнике — труп полковника Шибанова Василия Васильевича. Чалма тебе и твоим ребятам тогда. Будь осторожен...

Этого хмыря ты убери без лишнего шума и не на глазах отца. Не хочу, чтобы папа радовался. Не хочу. Но хмырю дай перед смертью понимание того, что конец ему. Пусть он пару минут постоит, беспомощный и жалкий, между светом и тьмою, между тьмою и светом, чужой и свету и тьме. Пусть постоит. Откройся потом во всем отцу Александру. Он сообразит, за кого какое сказать перед Богом словечко. Сообразит... Благодарю тебя еще раз за смиренное согласие с моей волей.

Странное посещает иногда душу чувство, о котором мне говорил Фрол Власыч Гусев, и которое в приблизительном переводе на мысль выглядит примерно так: если бы человек не бывал временами столь преступно, малодушно, комически и трогательно слаб, то он казался бы МЕНЕЕ совершенным. Духовное прощение другому слабости и глубокое — равное всепониманию — прочувствование ее общей для всех природы есть знаки родства и причастности к БОЛЕЕ Совершенному, позволяющие и простившему надеяться на прощение...

Эх, Фрол Власыч!.. Знаешь что, Рябов?.. Адрес его лежит в папочке. Прости мне мою последнюю слабость. Съезди ты в вонючий городишко Тулу, где делают ружья и пряники для наших новых колоний в Европе и Африке, найди Фрола Власыча, мне известно, что жив он, радуется, как всегда, и здравствует, найди его и скажи... а вот что сказать Фролу Власычу, я не знаю... Не знаю, и мне от этого, не от чего-либо другого, ты не думай, Рябов, жутковато... Я вроде бы

и знаю, что сказать, явно есть во мне знание этого, а сказать не могу, не умею. Да, да! Не не знаю — не могу!

Но ты взгляни, как живет он... Охмури, в случае чего, но учти: прост он до того, что если заподозрит что-либо неестественное в помощи или участии, то ты не своротишь его с места никакой силой. Я выступаю не как закадычный мой приятель граф. Прокляв гордыню мести, как присваивание себе прав Высшего Судии судить и карать, я не могу присваивать также права благодетельствовать и благотворительствовать. Без нас накажут, простят и возблагодарят... Но я не могу устоять перед своей последней слабостью... не могу... Поскольку человека счастливее Фрола Власыча отыскать на белом свете трудно, то ты... постарайся облегчить, так сказать, социально, что ли... Елки-палки, невозможно представить в чем-либо ущемленного и чем-либо недовольного Фрола Власыча! Невозможно! Ну, спроси у него хотя бы насчет отпевания, кладбища, креста, поминок и всего такого дела... разберись, короче говоря, на месте!..

Будь змием: просеки, есть у него в заглавнике рукописи или нет. Я не следил за ним, даю слово, но думается мне, что должен он был «тискать» романы, эссе и просто петь, не заботясь о жанре пения... Тут тоже невозможно придумать, как быть... Забирать рукописи, если они есть, нельзя ни в коем случае, но нельзя допустить гибели их и забвения...

Поразительно. Кажется действительно нет на свете сил, способных сделать несвободным этого человека. Нет лазейки в его волю и разумение. Колобок!.. Не знаю, в общем, как подступиться к нему с разговором о судьбе сочиненного. Не знаю, черт бы меня побрал... Сам он, очевидно, прекрасно всё знает!..

Вон едут отцы и идут дети. За стол пора. График у меня получился железный. Убираем, как говорится, быстро и без потерь. В «несчастье» на всякий случай я оставил всего один патрон... Хватит. Так что насчет этого не беспокойся. Не пошалит Гуров.

\* \* \*

Наливайте, Василий Васильевич. Отцу поднесите рюмашку. Облизывается человек... Скоро демонстрация кончится. Все шестьдесят лет, два раза, когда не больше, демонстрации, демонстрации, демонстрации. Тоска. Смертельная тоска. И вшивая ложь. Бездарные вожди на вершине власти... Как они тебе, Понятев?.. Недоволен?.. Гайки, по-твоему, слабо закручивают?.. Ты бы сильнее закрутил. Это верно. Распустили, считаешь, народ?.. У китайцев и при Сталине больше было порядка?.. Не кивай. Я и так знаю, что ты думаешь. Ты принципиально против

разрядки. А вот сын твой настроен не так экстремистски. О правнучке я уже не говорю...

Значит, дай тебе волю, и ты сейчас бабахнул бы по Штатам проплывшими по черным камешкам Красной площади ракетами?.. Хохочешь. Ну, а пока они там, и мы здесь будем шебуршиться под обломками, ты врезал бы по Европе десантом? Десант тыщ двести-триста?.. Можно даже и полмиллиона?..

Выходит, когда мы обменяемся со Штатами мегатонными оплеухами, десант, находившийся в воздухе на гипердирижаблях и супергрузолайнерах еще до начала драки, спрыгнет на старуху-Европу и навтыкает ей вместо мэрий советы депутатов трудящихся? Так я понял твой стратегический план?.. В общих чертах правильно...

А с китаёзами как быть? Они ведь не дремлют. Ударить и по ним одновременно?.. Не надо по ним ударять. Тогда попытаться сговориться, шантажируя и припугивая? Вот как!.. Им, выходит, Азию, а нам уцелевшее от остальных континентов... Вот как. Ты у нас — стратег сталинской школы...

Ну, а после того как уляжется пыль и страсти, придется в нарушение всех договоров двинуть в последний и решительный бой на китайцев?.. Кто же будет двигаться?.. Все те же десантники... Но кому же тогда охранять советы в объединенной Европе? Ты же считаешь еврокоммунистов слюнтяями и говнюками... Как быть? Думай, пей да закусывай... Вот грибка я тебе подцепил. Выпей водички. Будь здоров. Держи грибок... Боровичок. Прелесть какая и радость!.. Пейте и вы, Василий Васильевич!

## 73

Сегодня я спал последний раз, спал сладко, иначе не скажешь, и у сна моего не было ни пространства, ни времени, ни сновидений. В невыразимом словами состоянии этого сна продолжалась, не кончаясь до мгновения пробуждения, одна только единственная мысль, причем голоса никакого я не слышал, во всяком случае не помню, букв, слов, фраз и формул никаких глазами не читал и не знаю, каким образом мысль эта была воспринята мною.

Вы правы, Василий Васильевич, так не бывает. Папашка кивает: согласен. У Сталина работа ведь была о невозможности существования бессловесного мышления. Честно говорю: не знаю, как я понял мысль своего сна. Возможно, явлена она была в каком-нибудь знаке, но потом, во сне же, я удалился от нее так далеко, что не различал и знака, но мысль заполнила собою пространство сна и оставалась отчетливо-ясной при всей своей невыразимости... Вот что это была за мысль:

*«Не жди, человек, инопришельцев, не жди и не лови их воплей. Ты их не услышишь, потому что Творец израсходовал столько жизненной энергии, взятой с ближних и дальних галактик, для сотворения жизни на облюбленной Земле, что ее для иных видимых и невидимых звезд уже не осталось. Она заключена во всех нас. Поэтому мы тоскуем по различным участкам неба, и определенная от века связь с родными, оставленными нами созвездиями, направляет течения наших судеб, мелькание случайностей, цветение и плодоносие даров и биение наклонностей.*

*Не впадай, человек, в уныние от внешнего образа хаоса жизни нашего мира, от многих возмущений, уродств и вражды. В мире за хаосом сокрыт такой же божественный порядок, как во вселенной, как в тебе, не больший и не меньший.*

*Вселенная — прародина наша, но вся она, в свою очередь, в нас, и нет больше нигде чуда размещения жизни, подобного земному. Нам известны законы ее сохранения, постоянства состава, тяготения, движения и прочие законы.*

*Нам дана страсть познания самих себя, как страсть любви к своей собственной природе и страсть познания мироздания как страсть любви к себе.*

*Тоскуя по инопришельцам, ты тоскуешь, человек, по себе, и страшно бывает от того, как далеко ты от себя удалился.*

*Ты сам звезда, ты сам пришелец, не забывай о себе, не удаляйся, не блуждай в неживом одиночестве, благодари того, кто облюбывал нашу ниву небесную, кто заселил ее деревьями, и на каждое пошло не меньше четверти, а то и половины звезды, заселил тварями, и если на тварей животных пошло не менее одной шестой части неба, сколько же пришлось израсходовать звездных сил красоты для сотворения тебя, дав тебе, ко всему прочему, неприкосновенный запас энергии для высших нужд, но не для самоискушения небытием...*

*Упало яблоко... Планета обернулась... Звезда сгорела... Мальчик птичке голову оторвал... Комета пролетела... Казни прошли по земле... Черные карлики... Мертвые души... Частицы... Мимолетности... Звезда с звездой говорит... Человек предает... Сверхновая вспыхнула... Мы влюблены... Дух склонился над спящей, разметавшейся во сне Материей... Слил принцип дополнительности с теорией неопределенности в тебе, человек, и теория относительности умерла... Слабое взаимодействие, разрыдавшись, пожалело сильное... С общего поля не убран Божий дар Свободы, и сказано нам: Живите! Целуйте причину в следствие, случайность в необходимость, конкретное в абстрактное, гравитацию в невесомость, музыку в слово, зло в добро!*

*Вы — волопасы, водолеи, девы, скорпионы, близнецы двойных звезд, львы, раки, пегасы, кормчие, весы, лебеди, вы —*

*живые незабудки на черном бархате ночи, живите! В свой час, быстрее, чем свет, стремящийся за вами, вы возвратитесь туда, откуда вы родом, но возлюбившие Землю больше самих себя останутся в почвах ее жизни!»*

Вдруг я пробудился. Сон и мысль его не сразу покинули меня. Окно было густо-густо набито звездами. Черная, розовая и белая жемчужины набухли от их света. Они лежали на тумбочке вблизи от моих глаз. Помнишь, Понятьев, эти жемчужины?.. Рот раскрыл.

Да! Ничто не пропадает в этом мире, господа. Если пропавшее не здесь, то оно там, какой бы банальной и не стоящей внимания ни казалась эта мысль.

Жемчужины тянули в себя свет неба, как цветы тянут свет солнца, в них оживал их состав, изголодавшийся по свету еще под толщей вод, и именно неутоленная и неутолимая жажда света сообщала бесконечной тайне их притягательности муку совершенной красоты.

И я чувствовал открытость остатков своей души живому семени неведомого света, ее жадность, черную, розовую и белую, с которой она втягивала в себя сладкие волны и соленые частицы света.

А когда сон почти окончательно покинул меня, душа заскулила тоскливо и обиженно, словно отнятый от груди младенец, пронзенный внезапной болью отлучения, пересилившей подспудную надежду на возвращение к источнику. Я вздрогнул и приподнялся, как бы пытаюсь придержать плечами смыкающиеся снизу подо мной и сверху надо мной створки раковины моей жизни, но не в силах выдержать их невероятной тяжести, уснул снова.

Вы закусывайте, закусывайте и пейте... Ты рад жизни, Понятьев?.. Рад. А вы, гражданин Гуров?.. И да и нет. Вы сейчас похожи на мальчишку, сидящего над запрудой, разомлевшего от весеннего солнца и ждущего, когда напором воды размоет дамбу из камней, щепы, прошлогоднего дерна и грязи. Размоет. Всё размоет и понесет к ледоходу, в льдины которого, оплывающие на ходу, вмерзли ваши часы, дни, годы, мать, отец, Коллектива Скотникова, доктор Вигельский, кипы доносов, говно лжи, моча алчности, гадюки предательства, соломенная труха удовольствий, сциллы, харибды, воробушки младенчества вмерзли в льдины, и им никогда не взлететь... Не взлететь...

И я снова уснул, но во сне — в вагоне метро меня разбудила от сна стюардесса.

— *Высота — десять тысяч метров. Температура воздуха за бортом вагона семьдесят три градуса ниже нуля, — сказала она, обнося пассажиров вагона напитками. В хрустальных*

бокалах алено вино. В нем плавали черные, розовые и белые льдинки.

Лица пассажиров, сидевших, как и положено сидеть в вагонах метро, друг против друга на мягких сиденьях, были скрыты газетами. Поразительная, вдруг открывшаяся в глазах дальнорукость позволяла мне читать текст статей и разглядывать фото политических руководителей. Собственно, текста в статьях никакого не было. Все они состояли из одной-единственной фразы, повторенной тысячекратно и набранной разными шрифтами. Она была заголовком передовицы, с нее передовица начиналась, с ее помощью переходила в информацию с мест, комментарии, столбцы хроники, в фельетон, письма трудящихся, сообщения из-за рубежа, новости спорта, в подвалы и наконец в происшествие, которое почему-то так и называлось своим именем — происшествие, но кончалось все тою же фразой. Вот что это была за фраза:

**МЫ ЖИВЕМ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ФАЗЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ. Л. И. БРЕЖНЕВ.**

Пассажиры, мои соседи и люди, сидевшие напротив, жадно глотали каждую фразу, предварительно обсосав буковки, сплевывали на пол точки, запятые и подолгу держали за щеками, как леденцы, восклицательный знак и заглавную букву «М». Буквы Л, И, Б, Р, Е, Ж, Н, Е, В они тщательно, но без удовольствия разжевывали, выковыривали кусочки, застрявшие в зубах, зубочистками, спичками, ногтями и лощеными уголками партбилетов.

Тяжесть скуки спирала мое дыхание, закладывала уши, за окнами была крошечная жуткая темень, вагон то сотрясало, то он вибрировал, то проваливался в воздушные ямы, а сомнений в том, что мы куда-то летим, у меня не было ни малейших, потому что стюардесса, как милый символ полета, в коротенькой юбчонке, обтягивавшей крепкую попку с горевшими в глазах профессиональными искорками риска, опередила их появление. Мы летели в крошечной темени, посадки не предвиделось, и безысходность просачивалась сквозь поры моего тела в душу, накапливалась в сердце, печени, почках, мочевом пузыре, и, убедившись, что ее уже полным-полно в яйцах, снова подступала к горлу... Тоска и мрак... Мрак и скука... Бездна сверху, снизу и с края. Снимите кандалы и наручники, расстегните ремни! — сказала стюардесса. — Самолет производит посадку на станции «Дзержинская».

По-моему, я заорал во сне от чистого детского ужаса снижения. Вы должны были слышать этот крик, Василий Васильевич... Не только слышали, но и одеяло сброшенное на меня накинули... Не верю и никогда не поверю... Подлизываетесь. Хотите вытянуть из меня напоследок какую-нибудь уступку?.. Тем лучше, если не хотите. А что у вас за состоя-

ние, позвольте полюбопытствовать... Чувствуете тоску и легкость, словно сбросили лишних килограммов пятнадцать. Вы их на самом деле скинули. Мудрено не скинуть... Дело не в весе, а в самочувствии, «дать которому характеристику вы не можете»... Целый отдел кадров в вас протухает... Ладно.

Заорал я во сне от ужаса, с жизнью простился, жду, стараюсь, однако, уравновесить смертельный удар за миг до посадки рывком тела вверх и внутренним вознесением, абсолютно при этом уверенный, что смогу создать таким образом некое спасительное пространство между обреченной неумолимым притяжением земли на развал и гибель плотью странного самолета и собой, трепетно жаждавшим продолжения жизни и дрожавшим от ясного знания того, что приближается, притягивает, приближается, того, что произойдет через десять секунд в сотрясении, грохоте и ослепительном навек пламени, через девять, восемь... пять... три, две, через секунду...

*Очевидно, в ту самую секунду я был в беспамятстве, а когда опомнился, мимо окон вагона скользил серый в прожилках камень — мрамор станции метро «Дзержинская». Ничего абсурдного в полете под землей я не почувал.*

*Первым из вагона вышел ты, Понятьев. За тобой весь твой отряд. Влачков, Лацис, Гуревич, Ахметов и другие молодчики, которых я лично угрохал вот этой рукою. Вышли, бросив прочитанные от корки до корки газеты на пол. Я выходил последним, взглянул случайно сквозь стекло в соседний вагон, которого раньше не замечал, и увидел там отца, и меня потрясло его одиночество. Он сидел и клевал носом, как возвращавшийся с тяжелой работы усталый человек.*

*Я было отшатнулся назад от дверей, закрывавшихся медленно-медленно, как гофрированные створки над бездной крематория, куда упал гроб, но стюардесса жестоким и злобным толчком остреньких кулачков вытолкнула меня в последний момент на платформу проклятой станции «Дзержинская», в холодный серый камень-мрамор...*

*Состав начал взлет. Я даже не успел подбежать к окну отцовского вагона, не успел махнуть рукою и крикнуть что-нибудь. Мимо меня уже летел последний вагон, и на его площадке, как проводник товарняка, свесив ноги в пропасть, сидел Фрол Власыч Гусев, с веселым и праздным любопытством глаза по сторонам на вогнутые стены станции и бледно-голубые источники искусственного света. Он не свалился с площадки, когда поезд, задрав головной вагон, понесся ввысь, хотя по всем физическим законам должен был брякнуться прямо на меня, в мои, готовые поймать его на лету, руки. От сиротливости и холода мне стало невмоготу. Я проснулся... Стоп!.. Стоп!.. Стоп!..*

Где моя папочка?.. Почему я раньше не вспомнил?.. Вот же две странички из множества сочиненных Фролом Власычем в моем кабинете. Вот они!.. Слово в слово! Это та самая мысль, которая неизреченно пребывала в составе моего последнего сна... Слово в слово... Со здоровым человеком всего этого, конечно, происходить не может... не может... Я болен... Вот эти слова: *«в свой час, быстрее, чем свет, стремящийся за вами, вы возвратитесь туда, откуда вы родом, но возлюбившие Землю больше самих себя останутся в почвах ее жизни!.. Боже мой!.. Боже мой!..»*

Отвезите отца к морю, гражданин Гуров, и возвращайтесь... Прощай, Понятьев! Хотел я было напомнить тебе сказанное отцом моим перед тем, как ты пристрелил его, но не стану припоминать ради него же... Не стану. Прощай...

## 74

Рябов! Мне открылось вдруг само собою, что передать Фролу Власычу... Во-первых, передай, что не пропало ни одного его слова... Я отказался от мысли сжечь папочку... Сделай копии его «показаний» и возврати. Я знаю: он возрадуется, как дитя. Сделай это. Во-вторых, скажи, что спас он меня однажды от петли, поделившись со мной, палачом, жизнью, и я возвращаю ему ее. Пусть примет, большего я сделать не в силах, пусть примет жизнь врага моего, гражданина Гурова Василия Васильевича, ту жизнь, за которой гонялся я вслепую сорок лет и думал до последней минуты извести ее жестоким обманом и мстительной пулей, выпущенной не своей рукой, что было бы, осознаю, злом еще большим, чем если бы пулю я выпустил сам. Трудно мне было отказаться от мщения. Трудно. Но теперь легко. Передай в общем. Он поймет, что произошло со мной...

Не думал, что бросит меня в жар от стыда. Я мокрый весь, словно из парной... Все вспоминаю благородные речи и мысли, которые, грех так говорить, но ничего не поделаешь, мне посчастливилось услышать на муки свои и, возможно, на спасение. Надо им в конце концов посоответствовать не только пониманием, но и делом. А то я хочу и рыбку съесть, и на хер не сесть, хочу одолеть пропасть в два шага... И понимаю, что говоря чужими голосами и с чужих голосов, я страшился, упорствовал в ожесточении и не хотел заговорить сам, уходил от поступка... Бог спас меня с помощью Фрола Власыча и памяти об отце от последнего непростительного шага в пропасть. Я употреблю его на спасение...

За всю мою жизнь не было у меня ничего радостнее этого шага. Не боюсь того, что ожидает меня, жить вовек не желал больше, чем в эту минуту, до того жить хочу, Рябов,

что плоть моя ожить вот-вот может, честное слово, я мальчиком себя чувствую за час до прихода Понятьева в мою деревню, но обидел я жизнь, обидел я ее за свою отчаянную обиду, и жить не должен: виноват... Виноват. Очень виноват. И мог ли я предположить, что стыд меня проберет до души не перед кем-нибудь, а перед убийцей моим, гражданином Гуровым, когда представил я его только что выпустившим пулю мне в сердце, сделавшим благое дело, ответственность за которое я взял на себя, и тебя, Рябов, представил пришедшим по душу Гурова, чтобы прошла она через все, что я уготовил ему. Через свидание с родными, через разоблачение и бесконечную ненависть к себе за непростительный зевок в конце игры и ко мне за гнусную концовку, похожую на последнее извращение. Она уничтожила бы в Гурове остатки человеческого, испепелила бы их, не остановись я вовремя, и это была бы такая моя вина перед всем сущим и Творцом его, что в пот меня бросило, и яды вместе с ним вышли из меня, и я сказал: «Боже мой! Боже мой!», помирая от стыда, и пришел сообщить тебе об этом...

Ты передай ему всё: мудрого такие свидетельства радуют не меньше, чем чудеса ребенка. Держи папочку. Не надо ее жечь. Единственное, что я сожгу, пожалуй, это доносы внука и записи интимных бесед его бабушки с бабушкой... Это — страшной каннибальства, пусть оно умрет со мной, сотри соответственно пленку с рассказом про это. Прощай еще раз. Но гуровскую дочулю дезавуируй на службе. Пусть народ знает своих тайных осведомителей. Прощай.

## 75

Вы задали мне сейчас вопрос, гражданин Гуров, на который я вам не смогу ответить. Я не знаю, как вам жить дальше, «ввиду ощутительного исчезновения под ногами всех арматур и фундаментов»... Не знаю... Откуда мне знать?.. Не могу дать совета. А вы что, совсем не предполагаете, что после моей смерти коллеги осуществят за меня последнее мстительное коварство против вас?.. Как «что, например»?.. Вызовут сюда Электру и остальных, откроют гроб с останками убитой вами Скотниковой и золотым гаечным ключиком, папашку вывезут, а после трудно вообразимого позорища поставят вас к стенке в одиночестве и ничтожестве...

«Склонен полагать, что вы, в силу взятого на себя обязательства, не измените первоначальному слову».

Беда у вас, Василий Васильевич, с естественным отбором выражений. Попросту говоря, вы мне верите?.. Так, так... Провоцируете меня таким образом «на хорошее», как говорят в детсадишке для особо дефективных детишек?.. Верите, сами не понимая почему... Ну, ладно.

Можете не отвечать на мой вопрос, извините за любопытство, но что вас толкнуло оставить в доме отца? Поначалу я допытывался, есть ли в вас душа, для того, чтобы поизмываться над ней поизощренной, если она имеется, а теперь я хочу знать это... не знаю, почему. Пропала способность соображать, комбинировать и изъясняться. Так что же вас толкнуло? Вы ведь по взглядам отцовских глаз вполне можете прикинуть, какие латинские америки бурлят в нем и с удовольствием испепелили бы вас в своих вулканах... Тоже не знаете, почему и что толкнуло... Пожалели было о принятом решении, но не измените ему... Вот как!..

Какие мы сволочи всё же и скоты! Как вертухаемся мы, сидя в дерьме, изворачиваемся ради мести или спасения своей шкуры, а объяснения простейшего, нормальнейшего акта воли доброй и естественной не можем ни найти, ни сформулировать! Может, язык не поворачивается от застенчивости? Или Разум стоит потупившись, как нашкодивший пацан перед печальной учительницей, и его мучает вина, сожаление, упрямство, стыд, страсть искупления, неверно подпитываемая отказом от публичного раскаяния, и вот-вот готово сорваться с искусанных, опухших от слез губ слово, что не будет он больше подкладывать под зад бедной учительницы кнопок, наливать на стул чернила, склеивать страницы классного журнала и ухарски портить воздух, что он любит ее, скорее чем ненавидит, но не срывается слово с губ, и умная учительница отворачивается, чтобы не засмеяться сквозь слезы, чтобы не ожесточить мальчика ни слезами, ни смехом, добрая природа которых не может быть им сейчас понята...

Нет, значит, у вас слов. Нет...

Да! Войди, Рябов!.. Меня к телефону? Очень странно... В самый неподходящий момент! От смерти, можно сказать, отрывают, сволочи!

## 76

Пашка звонил Вчерашкин... Пашка... Поздравил с шестидесятилетием... Потрепались. Он что-то толковал мне о карьере детей. Намекнул, что туго в области с «бациллой». Так в детдоме мы называли масло и мясо. Попросил прислать хорошей селедочки. Даже в обкомовской кормушке нет хорошей селедочки. Он что-то толковал мне. Я смотрел тупо и ничего почти не соображая, на жирандоли. В хрустальных листьях играл бивший сквозь щель портьеры луч нашего с вами солнца. Воздух в холле был неподвижен, неоткуда было взяться ни малейшему дуновению, но хрустальники дрожали, радужно вспыхивая и перебрасывая друг

другу упавший на них луч. Возможно, это он сам пробудил какую-то жизнь в ограненных, висевших на золотых ветках кристаллах, пробудил, и жуть пробрала мою душу, когда солнце проследовало далее, холл погрузился в полутьму, а жирандоли продолжали хоронить, вопреки законам распространения света, навсегда отлетевший от родного светила маленький лучик, пока он совсем не истлел в одном из хрустальных листьев... Может быть, мне так казалось...

Пашка что-то толковал, в слухе моем умирали его слова, я провожал их слабым вниманием и равнодушно отнесся к внезапному нашествию на память ликов и образов прошлой жизни... Вы, наверно, удивились, услышав мой хохот?..

В канун шестидесятилетия великой октябрьской социалистической революции Пашку пригласили в академический театр оперы и балета имени Гоголя на премьеру трагикомического балета «Мертвые души»... Рублетто Лоберта, простите, я заговариваюсь, либретто Губерта Рождественко.

Не хотел Пашка идти на балет, ибо надоело ему за всю свою долгую начальственную жизнь подышать от скуки в личной ложе.

Дома вместо зарядки, а также в кабинете он выкаблучивал разные па де де из эмвэдэ, как он их называл, пируэты, подскоки, прыжки, и чуть ли не шпагаты, которые знал наизусть. «Лебединое озеро», «Коппелию», «Молодую гвардию», «Раймонду», «Ромео», «Спартак», «Повесть о настоящем человеке» и другие балеты он смотрел бесчисленное количество раз с наезжавшими в область главами государств, с делегациями компартий, с женой, с передовиками слетов и героями пленумов. А тут заупрямился. Сказался большим. Я, говорит, лучше самого Гоголя почитаю, с которого надо брать пример самиздатчикам и самим сжигать писанину, порочащую государство и его порядки...

Я не оговорился, Василий Васильевич. Всё Пашка, вроде нас с вами, знает про советскую власть, но позволять подрывать ее, пока жив, не дозволит... Хотите, считайте это цинизмом, хотите беспринципностью или подончеством властного бюрократа, чем хотите считайте это и как хотите называйте. В свои шестьдесят лет ему уже наплевать на всё, кроме покоя, карьеры детей, безмятежной старости и болельщицких страстей. Вопреки ненависти к дьявольщине, Пашка болеет, как болеют за «Спартак» или «Динамо», за наш экспансионизм.

Когда у венгров и у чехов случились заварушки, Пашка не спал, торчал у приемника и звонил в ЦК, чтобы быстрее скидывали десант и направляли на бандитов танки, иначе он не ручается за спокойствие на металлургическом комбинате, шахтах, заводах и совхозах. Инфаркты хватал Пашка: так страстно и стрессово болел он за «наших». Разрыв с Кита-

ем довел его до экземы. Покрылся красными с желтыми корками пятнами и струпиями. Вылечили хозяина области китайским же иглоукалыванием. Индонезия поразила Пашку бессонницей со слуховыми галлюцинациями. От победы Израиля в шестидневной войне его страшно заперло. Промывания и клизмы не помогали. Думали, рак желудка с метастазами от кишечника до ануса. Прекращение огня и разрыв отношений с агрессором соцстран мгновенно усилили перистальтику, и Пашка пулей вылетел из почетного президиума на партсобрании в какой-то шахте. Чуть не оскандалился.

Когда пришел к власти в Чили Альенде, Пашка устроил манифестацию молодежи перед памятником неизвестному солдату и фейерверк. Приказал также выбросить ливерной колбасы и топленое масло в центральном гастрономе. Зато после путча хунты его хватанул легкий удар с частичной потерей речи. Трудно было узнать этого сильного человека в расхлябанном пациенте одной из палат кремлевки, куда его доставили на сверхзвуковом истребителе. Он плакал, рвал на себе волосы, неосторожно упрекал Кастро в медлительности и был в общем похож на ханыгу, поставившего последний червонец в финале кубка за родной бездарный ЦСКА, пропустивший нелепый гол на последней секунде матча.

Спросил я довольно жестко, не очумел ли он окончательно на партийной работе...

Сильней меня, говорит, эта страсть, Рука, сильней. Ничего не могу с собой поделать. С радостью бы стал лечиться, но у кого? И что я скажу? Хочу болеть за Пиночета, хотя считаю его методы борьбы с коммунизмом дискредитирующими антикоммунизм?.. Меня же с ходу упекут в психушку, как Генерала одного! Игра — похабная страсть, Рука, похабная...

Так вот: сказался Пашка больным, но на его невезуху в город прибыли два члена политбюро, пять министров и какие-то важные иностранцы. Пришлось ему переть на «Мертвые души».

В декорациях Пашку раздражала одна деталь: задник, не снимавшийся на протяжении всех трех актов. На огромном, во всю ширину сцены, сером полотнище художник наляпал углем и слегка размыл силуэты разновозрастных крестьян обоего пола... Изможденные лица с закрытыми глазами, всклокоченные волосы, кожа да кости... Это были сами мертвые души. Балет посвящается их памяти, памяти безвестно погибших под гнетом помещичьего ига. Они должны были по мысли художника и либреттиста будить вздремнувшее классовое чувство зрителя. Первый акт назывался «Тезис», второй «Анти-тезис», третий «Слава синтезу, слава России — СССР!»

Все это была ужасная, вульгарная спекуляция и халтура, сказал Пашка. Его подташнивало от мельтешения карикатурного

Чичикова на громадной шашечной доске среди кордебалета голых шашек, акробатических прыжков Ноздрева, тягуче-сентиментального адажио Манилова, громоподобной, с пуканием валторн, музыки, сопровождавшей грубое топание Собакевича. Детишки, танцевавшие «пирожки», «блинчики», «булочки» и различные закуски, вызванные на сцену широким жестом Коробочки, и прочие хреновины действия, разворачивавшиеся на фоне гневных мертвых душ — предметов алчной купли и продажи, чуть не довели Пашку до сердечного приступа. Балет продолжался.

Залихватское па де труа Чичикова, Петрушки и Селифана посреди тоскливого бездорожья около разбитой брички выражало уверенность в том, что через сто лет дороги здесь станут лучше, и вывело Пашку из себя, поскольку он недавно огреб замечание за развал дорожного строительства в области. Он от тошнотворной досады и раздражения громко зааплодировал.

Зал тупо подхватил овацию, отчего казалось, что все помимо своей воли аплодируют бездорожью... А когда началась сцена обеда в губернаторском доме и балерунчики, танцующая, вынесли на подносах гусей, поросят, жареных с гречневой кашей, большущего осетра, грибочки, салаты, гору свежих помидор, старинные супницы с тройной ухой и метра на два расстегаи, в зале установилась мертвая тишина.

Многие люди, имевшие отношение к областной торговой сети и снабжению населения продуктами первой необходимости, густо, но непонятно почему, покраснели, а пара дюжих билетеров во фраках, стеснявших чекистские движения, вывели из зала захохотавшего молодого человека и старую большевичку, смачно жевавшую захваченный из дома бутерброд с вареной капустой. Зрители, так же как удаленные из зала нарушители, приняли это за модернистский прием, иллюстрирующий основное действие...

Чичиков, разжиревши на глазах всего зала от ненасытного пожирания мертвых душ, в конце первого действия проскакал, дрыгая ногами, к запасному выходу — он спасался от преследования мертвых душ крепостного крестьянства.

После перерыва началась антитеза: преследование народо-вольцами в разночинной одежке положительных представителей дворянства, выполненное в захватывающей манере с выстрелами и фехтованием. Затем заключение Чичикова в царскую тюрьму народов.

Снова грандиозный сверхнатуралистический обед у Тентетникова с тортом, изображавшим сцену убийства царя-освободителя крестьян Александра героями-революционерами. Наконец пошел сплошной синтез, не отделенный от антитезы хождением зрителей в буфет и в сортир.

Задник упал. По сцене проехал трактор, вытащивший бречку Чичикова из колдоебин и грязищи Российской истории. Сам Чичиков задумчиво, как обезьяна, качался на качелях на месте задника, как бы подводя итог своей безнравственной, напрасной, бесплодной деятельности и шарахаясь то влево, то вправо, хотя перед ним путеводительно фосфоресцировал и искрился портрет изобретателя научного коммунизма... Из-за кулис донеслась до Пашки «Дубинушка», замешанная на «Интернационале», и на сцену вышла плотная толпа оживших мертвых крестьянских душ. Они несли над собой транспарант «Слава колхозному строительству!» и чучела порочных персонажей великой поэмы Гоголя. Сам автор поэмы, сидевший в сторонке на пьедестале, вдруг порывисто встал, словно замороженный чудившимся ему в корчах горевшей рукописи изумительным и долгожданным синтезом.

Гремели литавры. Через всю сцену провели бородатых дядек и безрастных бабенок, прикованных друг к другу цепями антинародных предрассудков. Это уходило со сцены истории под гиканье и свист бывших мертвых душ российское кулачество. Уходило с поникшими головами и угрюмыми взглядами исподлобья.

Затем погас свет и с экрана прямо в зал помчалась гоголевская тройка. Присутствующие инстинктивно пригнули головы. Кони летели, раздувая ноздри и храпя. Перед ними расступались символические народы и государства, а правил тройкой тоже символический ямщик — здоровенный молодец в тренировочном костюме с бровастой рожой и буквами КПСС на груди.

Зал рукоплескал стоя. Ожившие мертвые души приветственно махали руками почетным гостям города. Пашка, очумев от музыки и танцев, пригласил гостей проследовать на сцену для «стихийного синтеза партии и народа после представления».

Зрители выли в экстазе, когда растроганные встречей, сплелись в радушных объятиях Пашка с Чичиковым, Манилов и Ноздрев с двумя политическими руководителями, Плюшкин с управляющим горторгом, Коробочка с завоблздравотделом, губернатор и высшие чиновники с иностранными гостями из Болгарии и Монголии, а их жены с Петрушкой и Селифаном. Потрясающая вакханалия кончилась там же на сцене, за столом с изумительной снедью и валютной водкой из магазина «Березка». Пили друг за друга, за шестидесятилетие, за Гоголя и наши вооруженные силы.

Сам балет Пашка строго приказал больше никогда не показывать, ибо великие произведения искусства должны существовать в одном-единственном экземпляре. Декорации было приказано сжечь, а с балерин и балерунов взять подписку о нераз-

глашении слухов насчет продуктового реквизита. Исполнителя же роли Чичикова предупредить, что если он не перестанет сожительствовать с Ноздревым и Петрушкой, то его не сделают народным артистом РСФСР и переведут в детские каникулы на Деда Мороза...

Бедный Пашка. Не прошли для него даром сорок лет партаботы в сплошном раздвоении личности, в разрушении идей дьявола левой рукой и в укреплении ее же правой. Простился я с ним. Очень удивится, получив завтра телеграмму о моей смерти. Не ожидал, скажет, не ожидал. Всплакнет. Откровенно говоря, не торопил я его с рассказом. Чего, собственно, торопиться?..Цепляюсь слегка... Цепляюсь.

## 77

Не надо, Василий Васильевич, не надо! Не уговаривайте меня отказаться от «несвоевременного ухода из продолжения жизни». Я покидаю развитое социалистическое общество. Вы свиделись с отцом. Теперь я хочу свидеться со своим, хотя не знаю, дозволит ли... Скорей всего не дозволит. Но я готов принять посмертную муку разлуки. Я заработал ее, я надопрашивал, я наказил...

Вы же сейчас сделаете то, чего не успели сделать почти полвека назад. Смерть мученическая была бы плодоносней моей прожитой палаческой жизни... Вот я бросаю в камин партбилет, осклизло холодивший мою грудь сорок лет.

Сгорел партбилет. Унесло его черный прах в трубу. Упадет сейчас прах в саду на белые, розовые и черные цветы, на ромашки, бархотки, гладиолусы, граммофончики и георгины... Упадет... Кажется... всё...

Держите пистолет. Он уже заряжен. Вам останется только нажать указательным пальцем на вот этот крючок, когда я скажу: «Огонь!» «Пли!» или что-нибудь в этом роде. Выражения я никак подобрать не могу... Возьмите себя в руки!.. Я говорю — возьмите себя в руки, маразматик! Не то я вас возьму! Что вам, впервой убивать, что ли?..

Опять последняя просьба?.. Ну, негодяй! Рассмешили вы меня. По-моему, это последний в моей жизни смех, что, согласитесь, странно. Да еще по такому бездарному поводу... Всё последнее... Слова последние... вот они — мои последние слова... А уж не из-за отыгрыша вы растягиваете остатки времени? Если так, то ошибаетесь, потому что время мое кончилось. Ваше же продолжается и кто знает: может быть, оно-то и есть теперь — чистое время возмездия! Мне, кстати, это уже неинтересно:

Всё же мудро как устроено, что человек, хоть лопни он от любопытства, хоть трижды заложил душу Асмодею, а не

прочтет ни строчки ни с первой, ни с последней странички из книги судьбы своей! Мудро это устроено. Мне лично, несмотря на мое чудовищное, почти полувековое и почти невыносимое одиночество, всегда была отвратительна страсть гаданья... Вы считаете, что это — от страха... Я же полагаю, что всегда наличествовал в моей душонке инстинкт соответствия кресту ужасной судьбы. Своей судьбы, гражданин Гуров. А послушай я гаданье одной, скажем, своей подследственной цыганки и, возможно, стал бы соответствовать ее скорей всего пошлым предсказаниям: денежному интересу, радости в казенном доме, червовой даме, трефовым хлопотам и прочей херне на постном масле. Все это считается многими образом удачной жизни. Удачной, да не своей.

Не заглянуть наперед, не заглянуть, чтобы жить, возможно, не расхотелось, чтобы не расхотелось следовать сюда вот, к последним этим словам, к последней, отчаянно бьющейся в каждой жилочке моего существа, мысли — неужели не могло быть иначе?.. Неужели, Господи, неужели!!

Что у вас там за просьба, козел? Уцеплюсь-ка я, что ли, опять за лишнюю минуточку... Вас интересует, чем и когда кончились мои отношения со Сталиным. Не скажу. Не могу говорить об этом. Этого больше нет и никогда не будет... Молча-ать!! Вы «несчастье» вот-вот уроните! Садитесь точно напротив... Так... И не вздумайте вымалывать прощения! Не прощаю. Слаб я. И слишком жирно будет.

Молюсь за вас всех... мне уже смутно открывается мера того, чему надлежало бы следовать, перед чем никнут бесплодные страсти, заполнявшие грудь, извращавшие помыслы, не принесшие мне утешения, и в чем мне повезло напоследок...

Я слышу свой голос, согласный с волей во мне того, что захотело в последние дни моей жизни быть выраженным радостно и печально. Безумный страх оглянуться неумолимо зовет меня сказать одно слово, которое я не могу выбрать из всего языка...

Проведите мысленную линию от дула до моего сердца... Смелей! Жаль, что до поросенка так никто и не дотронулся...

Я, кстати, не извиняюсь за вспышки гнева, грубости, жесточения, за ругань и рукоприкладство... Уверен, что всё это — мелочи... Мелочи...

Не тряситесь же, черт вас побери!.. Если промахнетесь, я вам врежу по старой памяти промеж рог, не удержусь!.. Вытяните руку... Упритесь локтем в стол...

Сердце мое так болит и ноет, что будь я двадцатилетним щенком, сказал бы, что рвется куда-то из груди мое сердце... Правда, что рвется...

Прими меня, отец... Пойми мрак блужданий моего разума и неистовство погибельной страсти... Пойми и прими,

отец, мою бедную, безгрешную душу... Нет ее вины в делах моих, лжи, лицедействе и казнях. Нет!

Как неповинен несчастный граф из детской книжки в принятии мной искушения мезтью, так и душа неповинна моя убитая, еще одна душа человека, прими ее, отец, если не бездыханна она в готовом к смерти теле, прими!..

Бейте, Гуров!.. Стреляйте же!.. Стойте!.. Стойте!.. Я забыл... я забыл... Стойте! Я забыл сжечь тетрадку в клеточку! Я не могу допустить, чтобы люди узнали... стойте... что сказал дедушка... дайте мне ее сжечь... в интимный момент...

ба...

бу...

шке...

Коктебель — Пицунда — Вильнюс — Москва — Миддлтаун.  
1977—1980 гг.





НОВАЯ КНИГА

Юз Алешковский

# «КАРУСЕЛЬ»

*«Карусель» — вполне реалистическая вещь, в отличие от других моих книг.*

*Это история последнего года жизни в СССР пожилого рабочего, бывалого фронтовика-разведчика Давида Ланге, его семьи, его друзей и отчасти тех, кто седьмой десяток лет делает почти невыносимой жизнь всех нормальных и достойных людей на нашей родине — политруков мелкого и крупного пошиба...*

Многие страницы романа наверняка покажутся читателям фантазмагоричными. Но ведь именно такой и является описанная с природы без всяких преувеличений советская действительность.

Юз Алешковский





ISBN # J-89830-015-0